

УЧКУН НАЗАРОВ

Верность

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

*Авторизованный перевод с узбекского
С. Шевелева*

МОСКВА · СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ · 1987

ББК 84 Уз. 7

Н 19

НАЗАРОВ У.

Н19 Верность: Повести, рассказы. Пер. с узб.—М.: Советский писатель, 1987.— 296 с.

Герои повестей и рассказов узбекского прозаика Учкун Назарова — наши современники: хлопкоробы, рабочие, ученые, студенты. Произведения У. Назарова привлекают знанием жизни, умением искренне и просто говорить с читателем о сложных проблемах жизни и человеческих отношений.

Н $\frac{4702570200-271}{083(02)-87}$ 350—87

ББК 84.Уз7

© Перевод на русский язык.
Издательство «Советский писатель». 1987

7
Fotocju

The word "Fotocju" is written in a stylized, cursive script. Below the word are three horizontal lines: a solid top line, a middle line with a slight wavy pattern, and a solid bottom line.

УЧКУН НАЗАРОВ

НЕ ИЩИТЕ МЕНЯ

*Авторизованный перевод с узбекского
С. Шевелева*

1

Дверь в купе с шумом отодвинулась. Рустам очнулся от сна, потер кулаком глаза, посмотрел со своей верхней полки вниз. Белое перышко от его подушки, крутясь, опустилось вниз, к столику, — прямо на остатки вчерашнего ужина.

В проеме двери стоял проводник, форменная фуражка сдвинута на затылок — так носят тибетейку. Улыбаясь, ждал, пока Рустам проснется.

— Подъезжаем к Ташкенту. Уже постели собираю.

Рустам мельком глянул в окно, откинул одеяло. Проводник закрыл дверь.

В купе он был сейчас один, о присутствии попутчиков напоминали приготовленные на нижней полке чемоданы, сетки с апельсинами. Из коридора доносились голоса.

Одевшись и умывшись, Рустам вернулся в купе. Постель проводник уже забрал. Чемодан его был уложен с вечера.

Глянул на себя в дверное зеркало, поправил воротник рубашки, торчавший из-под пушистого светлого джемпера, пригладил ладонью бородку — отрастил в Ленинграде, как и многие его друзья по академии, молодые художники, — и вышел в коридор.

Сосед по купе стоял возле окна. Заметив Рустама, улыбнулся:

— Много на свете красивых мест, да. А запах родной земли все же особенный.

Рустам кивнул, приблизился к опущенному окну, смотрел, наслаждался бьющим в лицо теплым ветром.

Далеко протянулись поля хлопка, в междурядьях серебряными лентами поблескивала вода, ряды посадок словно бы кружили в медленном танце, обтекая темнеющую на горизонте гряду гор. Раскидистые вязы, далеко отстающие друг от друга, напоминали могучих и молчаливых стражей земли.

Безмятежные эти поля вызвали в душе Рустама острое ощущение родины — и почему-то напомнили ему молодых невест, хранящих грусть. Рустам легко вздохнул. Невольно перед его глазами ожили набережные Невы, белые ночи — заставшие сумерки, мощные пролеты разведенных мостов, воздетые к небу, светлячки огней, цепочкой отраженные в воде, — прекрасный Ленинград, где он провел пять лет, — и это воспоминание показалось ему далеким сном, оставившим в душе тревожную пустоту.

Поезд, не уставая, отсчитывал стыки, солнце плыло, не остывая, в синеве неба, а облака, как бы играя с ним, желая задержать, налетели на него стайками... Телеграфные провода покачивались от столба к столбу, будто пряжа в старушечьих руках.

Рустам подъезжал к городу, где родился и вырос, который очень много значил в его жизни, и в душе его возникло и усиливалось ожидание чего-то важного впереди, большой цели, большой и успешной работы. Ему уже исполнилось тридцать, однако вся прошедшая жизнь — и окончание театрально-художественного института, и работа художником-декоратором в оперном театре, и, наконец, окончательный выбор профессии и поступление в Ленинградскую академию художеств — все это казалось ему сейчас лишь подступом к настоящей жизни, настоящей работе, поиском собственного предназначения.

Не вскружил ему голову даже и явно обозначившийся успех: в Ленинграде, на выставке дипломантов академии, его портрет «Мать» получил высокую оценку, в московском журнале «Художник» была помещена репродукция, а в посвященной выставке статье особо отмечался тонкий психологизм молодого художника Рустама Ниязова. Рустам теперь ясно понимал, что стоит в начале долгой и, вероятно, тернистой дороги, что возможны и трудности, и неудачи и что необходим постоянный поиск.

Над портретом Рустам работал около двух лет — осталось множество вариантов, набросков, эскизов. В каждом из предварительных набросков было воплощено что-то из будущей картины, какие-то черты существовавшего в его душе образа: то слабость и беспомощность, то светлая радость, то минута гнева, то заботливость, нежность. Рустам пытался соединить, воплотить все эти черточки в одном лице, достичь такого единства и обобщения, чтобы каждый человек, остановившийся перед портретом, увидел бы в нем и черточки собственной матери.

Работать над портретом Рустам начал после смерти матери. Тогда, два года назад, Рустам, приехав срочно из Ленинграда, уже не застал мать живой; даже на похороны опоздал: хоронили по мусульманскому обычаю быстро, а он больше суток просидел в Ленинградском аэропорту — самолеты не летали. Он не видел последних дней матери, не слышал ее последних слов, и это отложилось в его душе тоскливым чувством неисполненного долга. Он представлял, как мать, уже знающая о подступившем конце, слабеющими глазами взглядывала с ожиданием на порог, как она надеялась до последних минут — и так и не рассталась с надеждой, все ушло, ушла жизнь, а надежда была с ней до конца... Думая об этом, Рустам мучил себя до сердечных болей. Видел он и душевное одиночество отца, поседевшего после случившегося, хотя до того в свои шестьдесят отец выглядел моложе лет на десять. Старшая сестра Рустама, Азада, — врач, живет с мужем и тремя детьми в Фергане, помощи от нее особенно ждать не приходится — своих забот выше головы... хорошо, если раз в месяц приедет на день-два в Ташкент навестить отца. Потом ей надо возвращаться к своим, а отец остается один в большом пустом доме, потерянный, одинокий. Конечно, он еще не стар, многим молодым не уступит энергией и силой, но сердце уже дает себя чувствовать — приходится быть осторожным. Конечно, он известный ученый, академик, люди не оставят его без внимания — и все же, все же... Взвесив все эти соображения, Рустам сказал отцу, что не вернется в Ленинград, в академию. Отец буквально заставил его поехать продолжать учебу.

И вот поезд, словно бы раздвигая, распугивая неожиданно слабым для своей железной мощи писклявым гудком сады и дома, прокладывает себе путь уже в пригороде — за окном мелькают улицы с пережидающими хвостами машин, здания все крупнее, людей все больше. А вот и новое здание Ташкентского вокзала. Скрип тормозов — все, путь завершен, в коридоре теснятся пассажиры с поклажей.

Рустам задержался в купе, решил переждать сутолоку. Торопиться ему некуда, никто не встречает — он специально не дал телеграммы, чтобы лишний раз не беспокоить отца.

В окно купе постучали, явно желая привлечь его внимание. Рустам обернулся — увидел за стеклом смуглое тонкое лицо Ульфат, высоко взбитые волосы; улыбаясь, она что-то говорила, неслышное ему, и показывала рукой

в сторону выхода. Обрадованный Рустам подхватил чемодан и мольберт и поспешил следом за соседями по вагону.

Ульфат, прорвавшись сквозь толчею, бросилась к Рустаму, крепко обняла, на миг даже повисла на нем — он не успел освободить руки, так и стоял с чемоданом и мольбертом. Конечно, столь искренний порыв не мог не обрадовать его, но и смутил порядком; он даже, ощущая неловкость, обвел глазами толпу на перроне — не смотрят ли на них.

Рустам и Ульфат учились в одной школе, вместе ходили еще во Дворец пионеров — Рустам в кружок рисования, Ульфат в драматический, и тогда они подружились — надолго. Сейчас Ульфат была уже известной молодой актрисой, работала в академическом театре и пользовалась успехом у зрителей.

— Вчера прилетел Шавкат.— Ульфат выпустила Рустама из объятий.— Он же видел тебя в Ленинграде.

2

Такси развернулось и уехало. Рустам шагнул к дому. Узкая калитка в одной из створок широких, свободно пропускающих «Волгу» зеленых ворот была приотворена, поэтому Рустам не стал звонить, а плечом открыл ее и, с чемоданом и мольбертом в руках, шагнул во двор. Сразу за воротами под навесом стояла отцовская «Волга». Дальше, за дорожкой, за клумбами, за плодовыми деревьями и кустами роз виднелся дом — просторный, на высоком фундаменте, с широкой, во весь фасад, застекленной верандой. Дверь, выводящая к ступенькам крыльца, была распахнута, словно приглашая войти. «Как будто дом ждал меня», — с удовлетворением отметил Рустам. Остановился, не доходя, посреди дорожки — черешни и яблоня бросали на землю причудливую прозрачную тень, — еще раз огляделся. Сорвал близко висевшую крупную черешню, положил в рот. Расстегнул ворот рубашки.

Вот он и дома.

Сейчас он увидит отца. Что лучше — подняться в дом или подождать, пока отец за чем-нибудь выйдет в сад?

Но тут за спиной скрипнула калитка — Рустам обернулся.

От ворот к нему шла молодая, лет двадцати пяти, красивая женщина. Улыбнулась в нерешительности, но большие черные глаза смотрели чуточку испуганно. Рустам почувствовал себя так, словно без спросу вошел

7

в чужой дом. И в то же время любовался идущей навстречу женщиной, скорее, девушкой — невысокая, тонкая, волосы стянуты сзади и болтаются хвостиком, простое белое платье и босоножки, каблочки цокают по бетону дорожки, стройные ноги... движется пластично... в Рустаме заговорил художник.

Девушка приближалась и на ходу старалась поправить платье из тонкого шифона, однако платье под ветерком выпукло обрисовывало груди, подобно двум завернутым в кисею гранатам, и низ живота.

— Добро пожаловать! — сказала наконец девушка, в последний раз обдернув платье и покраснев от смущения. Дрогнули густые ресницы.

— Вот я и пожаловал! — не очень остроумно скаламбурил Рустам и отступил к краю дорожки, чтобы пропустить гостью. При этом он оказался рядом со своим чемоданом.

Девушка заметила вещи:

— Вы... наверное, вы от Рустамджана?

Рустам невольно рассмеялся — ошибка девушки и сама ситуация показались ему комичными, и он, продолжая и поддерживая смешное, кивнул.

— А как Рустамджан, он здоров? Почему он не приехал с вами?

— Гм... у него еще дела в Ленинграде, но он скоро будет.

— Ну что ж, заходите в дом, вы, наверное, устали с дороги, — девушка пошла к веранде, указывая ему путь.

Рустам, улыбаясь, следовал за ней. Вот-вот покажется отец, и они посмеются все вместе над забавным недоразумением.

Миновав веранду, вошли в зал. Рустам поставил свои вещи к стене, а сам пребывал в некоторой растерянности. Кто эта девушка, что она делает в их доме? И почему не показывается отец?

А девушка между тем набросила поверх сверкающего лаком стола хрустящую белую скатерть, достала из буфета вазу с конфетами, фрукты, — вела она себя не как чужой человек, а скорее как гостеприимная и опытная хозяйка, и все это, вместе взятое, чем дальше, тем больше удивляло и смущало Рустама.

— Вы знаете... гм... здесь у вас в Ташкенте жарко... вы не разрешите мне снять джемпер? — обозначив так свою зависимость, спросив разрешения, Рустам уже окончательно почувствовал себя гостем перед хозяйкой-девушкой.

— Пожалуйста, конечно... Если хотите, пройдите в ванную, умойтесь. Я сейчас включу колонку — можете и душ принять.

— Как-то неловко... — совсем смутился Рустам.

— Почему — неловко? — искренне удивилась девушка. — Вы сразу почувствуете себя лучше. Я сейчас все приготовлю... — с этими словами она скрылась за дверью в коридор.

Глядя ей вслед, Рустам подумал, что нехорошо как-то получилось — он легкомысленно выдает себя за другого человека... но если начать сейчас объясняться с девушкой, она окажется в очень неловком положении. Ладно, пусть пока все идет как пошло, — появится отец, тогда, наверное, удастся разрядить ситуацию смехом, шуткой, не обижая гостеприимную незнакомую хозяйку.

Вернулась девушка:

— Пойдемте, я покажу, где ванная. Колонку я включила, а уж с кранами вы, наверное, сами справитесь.

— Конечно... — Рустам шагнул в сторону ванной комнаты, обернулся: — Простите, а почему не видно отца Рустама?

— Он уже три дня как уехал на совещание лингвистов в Алма-Ате, — девушка говорила мягко, словно извиняясь. — А вы что-то хотели сказать ему?

— Да... Рустам просил передать кое-что.

— Ну, если это не очень большой секрет, можете оставить мне.

— В общем-то, никакого секрета нет, но Рустам просил передать обязательно самому отцу... — Он, заметно было, сам смутился от своей неловкой лжи. Однако справился с собой: — Простите, как говорится, нет вины на том, кто спрашивает. Кто вы сами будете?

— Я... — девушка запнулась.

— Рустамджан рассказывал — у него есть сестра...

Девушка опустила глаза.

— Нет... я не сестра. Я была студенткой отца Рустамджана... Сейчас он мне поручил присматривать за домом — пока его нет.

— А вы не боитесь оставаться одна в большом и пустом доме? Ночью страшновато, а?

— Да нет, я уж привыкла. Смотрю телевизор или перепечатаваю рукопись учителя. Нарботаюсь вдоволь, устану — тогда бросаюсь в постель и быстро засыпаю. Простите, я пойду принесу свежие полотенца...

Рустам понял, что девушка не хочет больше говорить

на эту тему. Он пустил воду и, пока ванна наполнялась, продолжал размышлять над неожиданным появлением в доме незнакомой девушки. Отец в письмах не упоминал о ней. Теперь Рустам был несколько растерян и соображал, как же ему держать себя с девушкой дальше.

Тут в дверь постучали, Рустам ответил, и в открывшуюся щель просунулась белая, нежных очертаний девичья рука с махровым полотенцем. Рустам взял полотенце, поблагодарил, и рука исчезла.

Когда Рустам вышел, освеженный, девушка ждала его, покачивалась в кресле на гнутых полозьях, листала журнал. В руке держала еще и вилки и ножи — видно, шла к столу, да отвлеклась.

— Прощу за стол,— пригласила.— Чтобы не заставлять вас ждать, сделала пока что яичницу.

Когда они сели — лицом друг к другу,— девушка подвинула ближе к Рустаму бутылку с коньяком:

— Я не справлюсь, откройте, пожалуйста, сами.

Рустам откупорил, налил в маленькие хрустальные рюмочки.

Девушка, стараясь, чтобы гость не чувствовал себя стесненно, первой подняла свою рюмку:

— За ваш приезд!

Рустам усмехнулся, легонько чокнулся с девушкой, та пригубила коньяк и поставила рюмку на место; глянула на Рустама смущенно, улыбнулась:

— Вы не смотрите на меня, я не пью... налила себе просто за компанию, чтобы вы чувствовали себя как дома. Угощайтесь, пожалуйста! Извините за то, что всего лишь яичница... потом я приготовлю что-нибудь поосновательнее и повкуснее.

— Что вы! — улыбнулся Рустам.— Яичница — мое любимое блюдо.

— Но слегка уже поднадоевшее, не так ли? — девушка понимающе рассмеялась.

— Нет, все же, пожалуй, сосиски надоели больше.

Они уже разговаривали непринужденно.

— Я думаю, вы соскучились по нашим национальным кушаньям. Что бы вам приготовить?

— Не беспокойтесь, мне вполне достаточно... — Рустам придвинул к себе тарелки с овощами.— Смотрите — у нас уже свежие помидоры, а в Ленинграде только-только деревья оделись в листву.

— Простите... вы тоже художник, да? (Рустам кивнул.) А из каких мест вы, где живете?

Рустам вспомнил своего однокурсника Самада — тот был родом из Катта-Кургана.

— Я с юга, из Самаркандской области.

— И тоже закончили учебу?

— Да. Вот, вернулся.

— Учитель (девушка имела в виду отца Рустама) однажды показал мне журнал — там была воспроизведена картина его сына. Учитель тогда даже прослезился. Гордился успехом Рустама. И еще, думаю, оттого, что картина эта была — портрет его покойной жены... он с ней прожил почти сорок лет.

Рустам грустно кивнул:

— Наверное, и то и другое подействовало...

— Но мне кажется, картина получилась прекрасная. Я подолгу смотрела... (Рустам взглянул внимательно: девушка говорила искренне.) А вам нравится этот портрет?

Рустам смешался — вопрос застал его врасплох.

— Мне кажется, неплохо, — наконец выдавил он.

— К сожалению, я не видела оригинала работы — только репродукцию. Вы не знаете, Рустам привезет его?

— По-моему, картину купил музей.

— Как же так? — изумилась девушка. — Ведь это же портрет его матери — разве такие вещи продают?

Опять Рустам смутился — ну что ей ответить?

— Да... Но ведь осталась репродукция...

— Что значит — репродукция с портрета матери? Ведь мать — одна-единственная, какие могут быть репродукции?!

— Но с другой стороны, подумайте и о том, что когда этот портрет будет выставлен в музее, он, может быть, заставит волноваться сердца многих людей... может быть, поможет им лучше увидеть и понять свою собственную мать и еще больше полюбить ее? Разве может быть большее счастье для художника?

— Как знать... может, вы и правы, — задумчиво проговорила девушка. — Я ведь не специалист, у меня ко всему этому очень личное отношение... Наверное, я больше вижу в этой работе портрет конкретного человека, а не картину, обращенную ко многим людям... Извините, если я что не так сказала. Давайте-ка лучше чай пить. — Она наполнила пиалу, протянула Рустаму. — А вы знаете, ведь у Рустамджана есть еще один портрет матери, более ранний. И это уж точно оригинал. Он висит в спальне. Хотите взглянуть?

— Хочу...— согласился Рустам с неожиданной для себя радостью.

— Пойдемте.— Девушка провела его в просторную спальню с занавешенным широким окном, включила люстру.

Рустам огляделся.

Он не был здесь больше года.

Вот кровати, знакомые ему с детства, где всегда спали его отец и мать,— и красивые китайские покрывала, вышитые голубыми и алыми цветами, остались те же.

— Вот посмотрите,— девушка показала на небольшой, писанный маслом портрет на стене.— Рустамджан написал его, когда приезжал на похороны. Мне кажется, это тоже хорошая работа, только очень мрачная, созданная в горе. Тут столько страдания... в общем, это совершенно самостоятельная вещь, а не вариант последующего портрета.

«А ведь она не глупа...— подумал Рустам.— И чутье, и вкус, и понимание есть, и ко всему еще скромность».

Рустам вглядывался в созданный им портрет — и видел в глазах матери упрек, и сожаление, и скорбь... все то, что он чувствовал в те дни, первые после кончины... Не выдержал, отвел взгляд, вздохнул и пошел к выходу.

Когда вернулись в зал, девушка сказала:

— Посмотрите на эту фотографию. Здесь отец и мать Рустамджана в молодости, мать как раз ждала его...

С увеличенной фотографии глядели, улыбаясь, отец и молодая и очень красивая мама,— глаза у обоих светились счастьем.

— Вы только посмотрите, как они прекрасны! — в голосе девушки звучала неподдельная искренность.— Мне кажется, Рустамджан взял для своего последнего портрета какие-то черточки с этой фотографии матери, частичку света и счастья. Ведь без этого нельзя было бы рассказать о матери правду, разве нет?

Рустам кивнул.

— Мы вместе с Адылом Ниязовичем каждую неделю бываем на ее могиле, приносим цветы...— сказала девушка с какой-то особенной ноткой в голосе, заставившей Рустам снова внимательно взглянуться в нее.— Зима в этом году была на редкость суровая, много снега. Мраморная плита накренилась... мы поправили, посадили цветы...

Рустам смотрел на девушку и с удивлением ощущал, как к привычному уже для него чувству печали неожиданно примешивается что-то вроде расположения и даже,

пожалуй, нежности, желания сделать этой милой незнакомке добро, помочь, защитить... Хотя — в чем помочь, от чего защитить? Нуждается ли она в этом?

3

Такси остановилось возле темной металлической ограды. Рустам расплатился с водителем, взял цветы и направился к воротам кладбища.

Чистая асфальтовая дорожка была полита водой, людей встречалось мало, и очень тихо было кругом — до звона в ушах. Рустам слышал толчки собственного сердца.

Каждому из нас, естественно, кажется, что родители наши будут жить всегда. Но что природе до сердца, до желаний человека? Двое, родившиеся в один день, не умрут одновременно. И особенная боль — когда уходит человек молодой, не доживший свое.

Мать Рустама, Зарифа, умерла рано — ей не было и пятидесяти. Рустам до сих пор не привык к тому, что мамы уже нет, все кажется, что вот-вот войдет — со двора, из соседней комнаты, вот-вот послышится ласковый голос.

Все было в жизни Зарифы — и трудности, и счастливые дни. Она вышла за отца Рустама совсем юной, только что окончила педучилище. Через два года родилась Азада, потом Рустам. В семью пришло, казалось, прочное счастье. Но началась война. Рустам помнил, как мама пришла неожиданно днем, забрала его с сестрой из детского садика; отец, уже наголо остриженный, крепко обнял их и ушел; мама плакала.

Жить сразу стало труднее. Но приехал дедушка и увез невестку с детьми к себе в Заркент. Зарифа стала работать учительницей в кишлачной школе. Дедушка тогда был еще крепок, он и не дал малышам и невестке хлебнуть всей тяжести военного времени: жили бедно, трудно, но не голодали.

На окраине кишлака посреди обширной лужайки пробивался из-под земли родничок, вокруг поднимались ивы. Младший брат отца, Санджар, еще подросток, после школы отправлялся с ребятами на эту лужайку — там играли в футбол, гоняли самодельный мяч, сшитый из двух старых тюбетеек и набитый шерстью. Бывало, Санджар брал с собой шестилетнего Рустама. Запускал бумажного змея, отдавал бечевку маленькому Рустаму, сидевшему на ишаке, а сам бегал за мячом. Козы, за которыми должен был

смотреть Санджар, паслись тут же. Вечером, когда стадо возвращалось, Санджар садился на ишака позади Рустама и, ударяя в бока пятками и понукая, пускал ишака вскачь. Маленький Рустам заливался смехом.

После ужина торопились стелить постели: денег на керосин не всегда хватало. Рустам помнит, как дедушка при свете полной луны поливал огород, а бабушка пекла кукурузные лепешки. Санджар готовил болтушку для коровы, а мама, уложив обоих малышей, сама устраивалась посредине и на сон рассказывала им сказку или тихонько напевала, убаюкивая.

Так и осталось у Рустама в памяти: ночь, луна — и мамин голос. Он засыпал...

Прошли годы, окончилась война. Вернулся отец, и они переехали в город. Отец работал и учился в аспирантуре, мама поступила в заочный пединститут, Рустам пошел в школу.

Не реже чем раз в месяц выбирались всей семьей в кишлак к дедушке. Рустам бежал на свою любимую лужайку — там, у родничка, он рисовал свои первые пейзажи, там ему всегда бывало хорошо и спокойно, домой он возвращался счастливым.

Он вспоминал последнюю поездку в кишлак — пять лет назад. Дедушки и бабушки давно нет. Дядя Санджар — один из руководителей района. В райцентре остановились, отец сходил за своим братом, в кишлак поехали вчетвером. Только Азады не было тогда с ними, она уже жила в Фергане.

Дядя Санджар быстро и ловко освежевал барашка. Полили и подмели двор, на веранде накрыли стол, разожгли огонь в очаге.

Рустам на машине отправился к лужайке. Вот она — привычная, тихая: родник, ивы, одинокое дерево джиды с разноцветными лоскутками на ветках. Рустам знал, что место это издавна почиталось священным, поэтому колхозники не распахивали лужайку: каждый год в праздник навруза (весеннего равноденствия) здесь собиралось много народу, резали баранов, разжигали огонь, в больших котлах готовили угощение. Потом начиналось веселье, — Рустам помнит старого певца и его кобыз.

— Что так задержался? — спросила мать, когда он вернулся.

— Лужайку навестил. А где папа?

— У дяди Зуфара на плов собрались — большой совет перед свадьбой. Их обоих увели, и отца, и дядю Санджара.

Тополя серебрились под лунной, где-то заливались лягушки, вели свою песню сверчки. Прохладный ветерок принес запах ранних дынь — хандаляшек. Радость оттого, что ему даровано видеть и слышать эту природу, этот неповторимо прекрасный, родной кусочек земли, охватила его.

— Мама,— сказал он,— я когда приезжаю сюда, словно возвращаюсь в детство. Душа очищается.

Зарифа-апа, словно маленького, погладила его по голове.

— А помните, мама, когда мы жили здесь в войну, спали на этой веранде... Вы тогда рассказывали сказку, и я засыпал. Так ведь до сих пор не знаю, чем сказка заканчивается...

Зарифа-апа помолчала, потом начала нежно, напевно:

— То ли было это, то ли не было, а жил когда-то старик, и было у старика две дочери...

Тот же родной голос, такая же лунная сказочная ночь, нескончаемый шепот тополей. Полная луна шествует среди звезд, словно наседка, окруженная цыплятами. Мягкая и ласковая рука... она согреет и защитит, она самая теплая и родная в мире...

Вот и ограда, крашенная серебристой алюминиевой краской, за ней могила матери. Рустам смахнул слезы, отворил калиточку, вошел. Положил цветы на мраморную плиту памятника, прижался лбом к холодному камню.

— Здравствуй, мама... Вот пришел к тебе твой сын...

Он долго стоял так, потом услышал невдалеке голос, читающий на арабском Коран. Невольно поглядел: на маленькой скамеечке возле одной из соседних могил сидел человек лет пятидесяти, смуглолицый, с рыжеватыми усами; прикрыв глаза, нараспев выговаривал слова молитвы. Колени, брюки внизу и даже дешевый летний халат — яхтак были выпачканы в земле, на ногах старенькие галоши — кауши. Похоже, служитель кладбища.

Рустам, присев на корточки, плечом касаясь надгробного камня, склонив голову, прислушивался к голосу незнакомца. Наконец тот завершил молитву, провел руками по лицу. Рустам повторил его движение.

Человек поднялся со скамеечки. Рустам вытер влажные глаза и, приложив руку к груди, поздоровался.

вался. Незнакомец ответил на приветствие, по обычаю, спросил о жите-бытье и направился прочь.

Рустам, вспомнив, начал торопливо рыться в карманах. Нашел пятирублевку и, не слушая возражений, вложил незнакомцу в руку. Тот произнес традиционное «аминь» и, взяв лопату, прислоненную к ограде, удалился.

Рустам вернулся к могиле матери.

Прошло около часа.

Солнце из ослепительно белого сделалось красноватым и спускалось к земле, тени пирамидальных тополей вытянулись, изломанными линиями накрыли ограды и памятники. Наконец в темнеющем небе замигали первые нетерпеливые звездочки.

На душе у Рустама как будто полегчало, перестало давить на сердце. Он поднялся и потихоньку побрел к выходу с кладбища.

Сначала он увидел в наступивших сумерках ее белое платье. Стройная, легкая, в модных туфельках, в ушах сережки по моде — два изящных тонких полумесяца. Заметив Рустама, она помахала рукой и стала спускаться по ступенькам к берегу городского канала Анхора. Остановилась возле скамейки под плакучей ивой, открыла сумочку, глянула в зеркальце.

Рустам подошел к лестнице и тоже начал спускаться, но его задержал прохожий, попросил прикурить. Бросив Ульфат извиняющийся взгляд, Рустам остановился. Девушка смотрела на прохожего нетерпеливо-раздраженно и тут же на Рустама — ласково.

— Здравствуй, русалка! — Рустам опустил рядом с ней на скамейку.

— Слава богу!.. — Ульфат соскучившимися глазами вглядывалась в Рустама. — Бывает, оказывается, такой день, когда я могу встретиться с тобой.

Рустам смутился, заставил себя улыбнуться:

— Стоит ли из-за меня поминать бога!

— А бороду зачем отпустил?

— Чтобы не узнавали некоторые. Собираюсь скрываться.

— От кого же?

— Ну, скажем, от тебя!

В одно мгновение улыбка в глазах Ульфат исчезла, спросила чуть ли не испуганно:

— Правда?..

— Да ну шучу же!

— Не понимаю я шуток на эту тему! — с огорчением

в голосе объявила Ульфат. — Сколько раз я тебе говорила!..

— Не буду, больше не буду!..

— А помнишь, — снова, оживленно улыбаясь, заговорила Ульфат, — еще когда мы ходили во Дворец пионеров, ты как-то отрезал у меня кончик одной косички, а? Тоже была шутка?

— А где они сейчас?

— Что — где? — не поняла Ульфат.

— Ну, твои косички.

— Знаешь что, — Ульфат коснулась рукой плеча Рустама. — Мы целый год не виделись — неужели нам не о чем больше говорить? Я так хотела просто посидеть рядом, посмотреть на тебя. Есть ли борода, нет ли — какое имеет значение? Главное — ты здесь, со мной. Остальное...

— Чувствую себя неловко, вот и болтаю глупости, — согласился Рустам. — Однако... Ты, оказывается, успела сделаться известной актрисой. Небось и поклонников прибавилось.

— Не жалуемся, не жалуемся, молодой человек. — Ульфат почувствовала себя привычно уверенно, заговорила игриво и кокетливо: — Каждый вечер, когда я участвую в спектакле, моя гримерная полна цветов. И сколько «Волг» ожидает меня у подъезда!

— Ожидают? А что потом? — чуть ревнуя, спросил Рустам.

— Ну конечно, — вздохнула Ульфат, — ты же считаешь, что у всех у нас, артисток, нрав известный...

— Этого я не говорил, — полушутливо возразил Рустам.

— Не говорил — так думаешь.

— Клевета! Вы меня оскорбляете, сударыня!

— Ты представляешь! — в голосе Ульфат зазвучала обида. — Как-то на вечеринке один молодой кандидат так уверенно заявил — мол, артистки только на словах могут оставаться чистыми, а на деле — совсем другое... может, говорит, только одна или две, самые уродливые... Я не сдержалась — дала ему пощечину, сама в слезы — и бегом...

— А что потом?

— Как — потом?

— Ну, кто потом отвез тебя на машине домой?

— Ах вот оно что! — Ульфат вскинула брови. — Их величество, кажется, изволят ревновать?

— Что за ерунда! — Рустам лицом и голосом изобразил безразличие.

— А вообще-то не думай, что мне так легко, — Ульфат снова вздохнула. — Кончается спектакль — и у меня сердце шемит. Я уже всем надоела в театре — прошу, чтоб проводили до дому. Даже сторож наш, завидя меня, прячется.

— А твой младший брат?

— Саттар днем работает, вечером в институте. Так что и вправду слава богу, что ты вернулся! Хоть один защитник у меня будет!

Рустам пальцами коснулся щек девушки, повернул к себе ее лицо, испытующе заглянул в глаза. В этот миг все его сомнения словно бы рассеялись, а в сердце остались любовь, доброта к ней и нежность... Он поцеловал по очереди зовущие и молящие глаза девушки, его дрожащие от волнения губы скользнули по бархатной щеке и слились с ее теплыми губами...

В канале приглушенно и таинственно всплескивали мелкие волны, дробили на части отражение фонаря с противоположного берега. Течение тянуло, пыталось унести с собой эти сверкающие кусочки, а фонарь опять упрямо собирал их вместе — никак не желал двигаться с места...

4

Девушка, встретившая Рустама утром в доме его отца, сидела сейчас в удобном кресле у журнального столика. На столике лежали словари, и она выписывала в тетрадку то из одного, то из другого.

В доме и вокруг было тихо, за окном давно уже стемнело, и лишь маятник старинных часов на стене за спиной девушки отмечал уходящие минуты. Лампа под зеленым абажуром освещала журнальный столик и часть большой комнаты вокруг, в углах собралась таинственная полумгла.

Спокойствие дома нарушил звонок. Девушка вздрогнула от неожиданности, торопливо вышла во двор — открывать. У ворот замедлила шаги, опасливо спросила:

— Кто там?

— Это я, ваш гость, — послышался спокойный голос Рустама.

Девушка узнала голос, включила свет у калитки, отперла.

— Простите, так поздно приходится беспокоить вас, —

говорил Рустам, входя во двор.— Давно не виделся с друзьями, разговорились и не заметили, как пролетело время.

— Ничего...— холодновато ответила девушка, видимо задетая невниманием к себе.— Ничего, я еще занималась.

Рустам подождал, пока она заперла калитку, затем, пропустив ее вперед, пошел к дому.

— Я приготовила плов, думала, вы соскучились у себя в Ленинграде по нашей еде...— Она убрала со столика словари и тетрадь.— Специально не ложилась, ждала вас, хотела угостить.

Пока Рустам в ванной мыл руки, на столе появилось блюдо — ляган с пловом, блюдо с нарезанными помидорами и кинзой, откупоренная им утром бутылка коньяка и хрустальная рюмка.

— Садитесь, а то плов остынет,— пригласила девушка и заботливо поправила скатерть.— Сейчас я принесу чай.

Рустам взял кружочек помидора — ледяной, видно, блюдо ждало его в холодильнике. Попробовал плов.

— Почему вы ничего не едите? — спросила девушка, вернувшись с чайником и пиалой.— Угощайтесь, пожалуйста.

— Я ведь до сих пор не знаю, как вас зовут,— заметил Рустам, беря рюмку.

Девушка улыбнулась:

— Малика¹.

— Малика...— повторил Рустам, вслушиваясь в звучание слова.— Имя ваше вам подходит... Да, а готовите вы отменно. Ваше здоровье, Малика! Вы мне кажетесь хорошим человеком — извините, что я так прямо...

— Я тут сегодня такого натворила! — пожаловалась девушка, меняя тему разговора.

Рустам оторвался от плова, взглянул вопросительно.

— За домом здесь бассейн. Вчера приходил садовник, вычистил его. Сегодня я утром пустила туда воду, да закрутилась, забыла вовремя закрыть кран. Вода полилась через край, попала в подвал, а там старые книги, наброски и эскизы Рустамджана. Кое-что успело намокнуть. Книжки-то я высушу, а вот за эскизы боюсь — как бы не испортились. Приедет Рустамджан, боюсь, очень рассердится...

Рустам вспомнил эскизы и наброски — еще институтских времен и те, что он готовил для театральных спектаклей.

¹ Имя означает: «дочь властителя», «принцесса».

— Думаю, вам не стоит особенно беспокоиться,— уверенно сказал он девушке.— Вряд ли эти старые эскизы пригодятся еще Рустаму.

— Хорошо бы,— вздохнула Малика.— Я очень боюсь огорчить Рустамджана...

— Да откуда Рустам узнает, что это вы намочили эскизы? Ведь неизвестно даже, встретитесь ли вы с ним, будете ли здесь к его приезду. Если не ошибаюсь, вы сейчас просто на время отсутствия хозяина присматриваете за домом? Разве не так?

Малика чуть вздохнула.

— Да...— ответила едва слышно и умолкла.

Рустам неизвестно почему почувствовал себя неловко.

Тишину нарушил бой часов. Рустам машинально глянул на свои наручные — оказалось, что уже довольно поздно.

— Спасибо вам,— поблагодарил он, закончив есть и выпив пиалу зеленого чаю.— Плов у вас получился прекрасно.

Поднявшись из-за стола, девушка начала собирать посуду.

— Вы, наверное, уже устали. Я постелила вам в комнате Рустамджана, она вот за той дверью.

Рустам еще раз поблагодарил ее за заботу. Спустился во двор, выкурил сигарету. Чистое небо было усыпано яркими звездами. Полюбовавшись, Рустам вернулся в дом. Стол был уже убран, накрыт скатертью.

Малика выключила свет в столовой, улыбнулась Рустаму, пожелала ему спокойной ночи и скрылась за дверью. Щелкнул замок.

Рустам усмехнулся краешком губ. Вот он и дома.

5

Когда Малика проснулась, солнце било в комнату сквозь легкую занавеску, светлая рябь лежала на противоположной от окна стене. В комнате было прохладно, дом погружен в тишину.

Из глаз девушки еще не ушел сон, ее голая рука томно свесилась с тахты. Не меняя положения, она лениво-разнеженно подремала еще несколько минут и лишь тогда вспомнила, что в доме находится гость.

Она поднялась, привела себя в порядок, причесалась и в пушистом утреннем халате вышла в столовую.

Там было пусто.

Через окно кухни она заглянула во внутреннюю часть двора.

Возле выложенного кафелем бассейна в утренней тени сидел Рустам — джемпер забросил за спину, завязав у шеи рукава, рядом лежал открытый блокнот и поверх — фломастер, пачка сигарет и спички.

Облокотившись о подоконник, девушка долго вглядывалась в Рустама — он не почувствовал. Наконец она сказала невинно-игриво:

— Сабох-ан-нур!

Рустам оглянулся и тоже некоторое время всматривался в девушку, словно бы не узнавая. Наконец спросил:

— Что означают ваши слова?

— Арабы каждое утро приветствуют так друг друга. — Она положила подбородок на ладони, чуть склонила голову — словно звала полюбоваться собой.

— Так вы знаете арабский?

— Я же лингвист.

— А еще какие, если не секрет?

— Еще эсперанто. А вы рано проснулись.

Рустам лишь пожал плечами.

— А я тоже, — продолжала Малика, — когда остаюсь в гостях, долго не могу уснуть, сплю беспокойно.

— Да нет, спал я хорошо. Просто у меня такая привычка — обычно встаю спозаранку.

Разговор словно бы иссяк, Малика ушла хлопотать по хозяйству, готовить завтрак, а Рустам продолжал вспоминать далекие беззаботные мальчишеские годы: как он с товарищами ездил на велосипедах купаться и ловить рыбу, как играли в зарослях Чиланзара, как собирали дикие яблоки, как однажды его, маленького, провели старшие ребята — выманили у него бублик, пообещав сделать из бублика верблюда, а сами съели половину, а оставшуюся часть в форме подковы вернули — мол, вот тебе и верблюд.

Появилась Малика — в легком сарафане, босоногая, с ведром в руке. Зачерпнула воды из бассейна, принялась поливать дорожку.

— Давайте лучше я, — предложил Рустам, поднимаясь.

— Не стоит, забрызгаетесь еще, — беспечно бросила девушка. — А для меня это — ежедневная гимнастика.

— Но как же это? Я буду стоять рядом, а вы поливать двор?

— Лучше поднимите свой блокнот, а то еще забрызгаю,— не уступала Малика.

Рустам не знал, куда девать себя, неловко переминался с ноги на ногу.

— Если уж так хотите поработать,— слышался задорный голос девушки,— то вот, возьмите шланг и полейте цветы.

Пока Рустам поливал розы, Малика, уже закончив, с пустым ведром в руках, разбрызгивая лужицы на дорожке, пробежала к дому.

Рустам с удовольствием глянул ей вслед — такой молодой, здоровой, полной сил, красивой и в то же время не лишенной душевной чуткости.

Из кухни уже слышалось шипение масла на сковороде.

Рустам закончил поливать цветы, поднялся в дом. Малики там не было.

— Вот, возьмите...— вдруг слышался ее голос.

Рустам повертел головой — не мог понять, откуда донеслись слова.

Девушка весело рассмеялась.

Только теперь Рустам заметил ее. Она взобралась на черешню и оттуда протягивала ему металлическую сетку-корзинку, полную спелых темно-красных ягод.

Рустам принял корзинку, поставил на землю.

— Давайте помогу спуститься.

— Нет, нет,— решительно отказалась девушка.— Отойдите, я сама...

Рустам послушно отступил назад, а девушка бесстрашно спрыгнула на траву — подол ее сарафана вздулся как парашют.

Рустам деликатно отвернулся.

— Я погляжу, как там наш завтрак, а вы пока сполосните черешню,— девушка легко, почти не касаясь земли, пронеслась по дорожке и исчезла в доме.

Рустам, подавляя волнение, взял корзинку и подставил ее под кран,— смотреть на тугие, блестящие, темно-красные ягоды, дрожащие под сильной струей, было приятно. Потом он поднял корзинку к солнцу — застывшие на ягодах капли загорались изумрудным, рубиновым, голубым огнем, ягоды влажно, с искоркой светились, и Рустам поймал себя на мысли о похожих искорках в глубине темных глаз Малики.

— Вот,— сказал он,— готово. Куда это высыпать?

— В буфете есть ваза,— слышался голос девушки из окна кухни.

Рустам повиновался.

— Я после завтрака иду на работу, а вы располагайтесь поудобнее и отдыхайте. Купайтесь, поспите. В шкафу книги, журналы. Не будете скучать?

— Нет. Я ведь тоже должен отправиться по делам.

— Вот как? Тогда советую выбрать время и заглянуть в Дом знаний, там выставка молодых художников. Я позавчера ходила с девочками, нам понравилось.

Рустам с удовольствием пообещал посмотреть выставку, потом достал из чемодана чистую рубашку, оглядел критически.

— Малика, где бы мне погладить?

Малика появилась на пороге, в руках лук, нож; тыльной стороной ладони вытерла слезы.

— Повесьте ее на спинку стула, я сама...

После завтрака Малика включила утюг и, пока он грелся, ушла в свою комнату — привести себя в порядок перед выходом, подкраситься. Вернулась похорошевшая, постелила на стол одеяло, взяла рубашку.

— А кто вам гладил в Ленинграде?

— Никто... мы сами.— Рустам удобно устроился в шезлонге, слегка покачивался.

Малика недоверчиво улыбнулась.

— А девушек у вас в общежитии разве не было?

— Девушек почти не было.

Малика помолчала, потом спросила нерешительно:

— Художники, я слышала, часто рисуют девушек... это правда?

— Правда, конечно. А что тут такого?

— Нет, я не о том. Я хочу сказать — рисуют совсем раздетых... без платьев...

— Да, бывает и так.

— Совершенно раздетые?

— Совершенно.

— И... не стесняются они? Ведь это же...

Рустам рассмеялся.

— Слушайте, Малика. Вы ведь, наверное, ходите на пляж купаться?

— Конечно. А что?

— И вы на пляже не снимаете платья?

— Почему? Я же не хочу быть посмешищем.

— Нет, а что тут смешного? Разве это смешно — девушка в платье?

— Но ведь на пляже! В каждом месте — свои условности...

— Молодчина. Вот вы сами и ответили на свой вопрос! Не будем же мы убирать из музеев копии Венеры Милосской, «Кающейся Магдалины» Тициана, «Данаи» Рембрандта! Великие художники создавали свои произведения не для того, чтобы будить чувственность. Они возвеличивают человека — видят в нем высшее создание природы... его глаза, лицо, волосы, тело, его совершенство они воспевают ради пробуждения в каждом чувства красоты. Женская красота, переданная художником, облагораживает и очищает.— Почувствовав, что слишком уж разгорячился, Рустам замолчал. Смущенно улыбнулся, закурил.— Простите, Малика, что-то я разболтался.

Девушка хотела было возразить, но видела — ее гость говорил о столь важном для себя, что любые ее слова будут, пожалуй, неуместны. Видимо, ему уже приходилось сталкиваться с иным взглядом на искусство, спорить, отстаивать...

— Вот,— сказала она чуть спустя,— ваша рубашка готова.

— Спасибо, Малика.

— Если вернетесь поздно...— Малика порылась в сумочке.— На всякий случай возьмите ключ. Откроете сами. Постель вам я приготовлю.

6

Рустам вышел из здания Союза художников и медленно брел по аллее. Он еще никак не мог привыкнуть к тому, что город за два минувшие года так сильно изменился. У перекрестка на улице Пушкина выстроились огромные здания нежно-голубой окраски, каждое длиной метров по триста, поодаль поднялись три белоснежных, явно недавно возведенных, девятиэтажных дома. Смотреть на новостройки, украсившие город, было приятно, хотя Рустам тут же подумал: а каково в этих огромных, не защищенных листвой деревьев домах в летнюю ташкентскую жару, в сорок-то градусов? Не зря ведь много поколений людей строили тут свое жилье одноэтажным, под деревьями, рядом с арыком.

Ульфат сейчас была на репетиции, вечером она участвовала в спектакле. Рустам собирался встретиться с ней и проводить домой. А пока, пожалуй, он отправится на могилу матери — цветы там, наверное, уже увяли.

Кто-то сзади положил руку ему на плечо:

— Вот ты и попался!

Рустам обернулся.

Перед ним, улыбаясь, стоял высокий худощавый парень. Белая рубашка висела на нем как на вешалке.

— Поэт, неужто ты?! — Рустам обнял друга. — Слушай, Иззат, что так отощал? Кожа да кости, лопатки торчат, прямо торба с кукурузными початками, а не мужик! Здоров?

— Здоров, здоров! — в подтверждение поэт чувствительно шлепнул Рустама ладонью по плечу. — Я уж сомневаться начал — был ли ты на этом свете или мне приснилось? Когда приехал? Почему не доложился!

— Да я только вчера...

— Понятно. А дела как — в порядке? Учебу закончил?

— Да, теперь вернулся окончательно.

— Тогда — пошли.

— Куда это?

— Как — куда? Ко мне, конечно! Во-он туда! — Иззат показал на дальнее из трех белых девятиэтажных зданий. — Получил новую квартиру, под самой крышей. Виден весь Ташкент. Когда въезжал, лифт еще не работал — вещи целых пять дней перетаскивали.

Рустам последовал за другом.

— Как ты сам, Иззат?

— Да так...

— Я слышал, тебя вознесли до небес, твоего сборника стихов в магазине не достать, а?

— Что вознесли, может, и неплохо... Одно нехорошо: земля-то твердая, в случае чего падать больно будет.

— Кокетничаешь?

— Боже упаси! Просто я сомневаюсь; не слишком ли много похвал раздается в мой адрес. Поверь, я и десятой части не заслужил!

— Ну уж это другая крайность. Я думаю, о тебе еще будут говорить и спорить. Отец мне прислал твой сборник, по-моему, тебя не случайно хвалят в печати. И я сам тоже...

— Знаешь что, Рустам, давай оставим эту столь лестную для меня тему. Поверь, я искренне говорю — терпеть не могу славословий.

Они поднялись в лифте на девятый этаж.

— Ну вот и мои хоромы. — Иззат широко распахнул дверь. — Прощу!

Рустам вошел в темный коридорчик с низким потолком. Огляделся, хотел было снять обувь, чтоб не тащить в квартиру уличную пыль, но хозяин остановил его:

— Не разуйся, пол грязный. Воды нет...

— То есть как? Не поднимается сюда?..

— Поднимается — ночами. Когда город засыпает. Мы тогда наполняем ванны — этого нам должно хватать до следующей ночи. На все надобности — и на уборку тоже. Как-то ко мне заявился Хушияр...

— Это кто такой?

— Хушияр? Молодой поэт. Говорят, подает надежды. Ищущий. Так он... Мы сидели компанией, застолье, в картишки перекинулись, а он проскользнул в ванную, искупался и возвратился как ни в чем не бывало. Хорошо, хоть сказал...

— Ладно, ладно, ври, да знай меру! — улыбнулся Рустам.

— Не веришь? Ну ладно, идем, посмотри мои апартаменты.

Квартира состояла из трех комнат. В ближайшей Рустам увидел дешевый, канцелярского типа письменный стол с грудой книг и рукописей, много вскрытых конвертов (от читательниц — мелькнуло у Рустама). Возле стены стояла раскладушка с неубранной постелью, в углу вытянул тонкую шею дутар без струн.

— Это — кабинет твоего покорного слуги! — с наигранный гордостью объявил Иззат. — Комната обставлена в соответствии с определенной идеей, а именно: обиталище поэта должно быть бедным, лишенным всяких украшений, ничто не должно отвлекать мысли, мешать игре воображения. Ну как?

Рустам лишь головой покачал. Ничего веселого он тут не видел и не совсем понимал юмор своего друга.

Иззат продолжал в прежнем тоне:

— Было одно исключение. — Он указал на стену возле окна: — Здесь висел портрет Нефертити-ханум, вырезанный из журнала, да больно мухи засидели, пришлось выбросить в мусорный ящик. Теперь мы обратим наш поклон и просьбу к вам, и вы сотворите для нас парочку гениальных вещей.

Теперь Рустам уже поглядывал на своего друга с беспокойством — что-то тут было не так. Но необходимо было время, чтобы понять, разобраться, что происходит с Иззатом, почему тот явно выбит из колеи и столь откровенно издевается над собой. Ведь у него выходят книги, критики хвалят наперебой... Деньги, наверное, есть. Что-нибудь со здоровьем? Или — близкие?.. Хотя Иззат сразу сказал бы, если бы случилось несчастье...

В то же время непосредственность Иззата, искренне и открыто переживавшего какую-то еще неясную для Рустама неудачу, вызывали у Рустама чуть ли не зависть: сам он так не смог бы — был куда более сдержан.

Они вошли в следующую комнату, самую большую в квартире. Потертый диван, голый стол, на газете — консервы, зачерствелый хлеб, сыр, недопитая бутылка кефира. Несколько стульев — все глядят в разные стороны.

— Не сочти за неуважение к тебе, — говорил Иззат, убирая со стола, — моя домработница опять проявила нерасторопность.

Рустам вышел на балкон — и у него дух захватило от волнения. Сверху Ташкент являл собою зеленое море садов — их невозможно было охватить взглядом. Над зеленью поднимались новые высокие белые и голубые здания; протягивали к небу хоботы, словно фантастические чудовища, подъемные краны, а по небу плыли подобные пуху праздничные облака. Вся эта картина, это сочетание горделивого спокойствия и легкой грациозности волновали его сердце художника, он чувствовал душевный подъем и желание сейчас же начать работать.

Полюбовавшись еще сверху на улицу с оживленным движением, он вернулся в комнату.

Стол был уже убран и вновь накрыт. Бутылка с этикеткой, наклеенной обратной стороной, нарезанные огурцы и помидоры, сыр и две рюмки. «Сурово, — подумал Рустам и чуть улыбнулся. — Или он вправду почему-то остался без денег?»

— Хорошо, что тебе достался девятый этаж, душа небось рвется в небо, презирая земное?

Иззат поднял голову — он нарезал хлеб.

— Ты прав, душе здесь легче. Хотя вообще-то мне достался не девятый этаж, а пятый. Эта квартира — одной старушки. Вначале лифт не работал, и мне, представляешь, приходилось каждый раз поднимать эту старушку сюда — надоело до чертиков, вот я и сменялся с ней. Ну, прошу за стол.

Рустам подсел к столу, вынул и положил рядом с собой блокнот и карандаш. Огляделся:

— Так эти вещи ты и перетаскивал целых пять дней?

— Ну, я и соседям помогал. Вот, например, один гарнитур Мирдияра-ака чего стоит!

— Это его поэма «Портрет»?

— Ты помнишь? — Иззат откупорил бутылку, налил и, подняв рюмку, продекламировал:

Портрет, портрет!
Отчего ты нем?..

Но, Рустам, должен тебе сказать — это стихи другого поэта, не Мирдияра, этот в основном пишет стихотворные фельетоны. Жалко беднягу. Было время — его имя прославилось в республике, видные писатели пожимали ему руку двумя руками... И что же — времена изменились, все его сторонятся: мол, отстал, неинтересен. А у него трое детей, сам человек болезненный. Конечно, печатается время от времени, да только его поделки трудно назвать стихами, что правда, то правда. И все же жалко старика. Старается, тужится...

Иззат говорил вроде бы шутя. Рустам, однако, чувствовал в словах друга горечь, усталость, веселья тут не было, и от этого Рустам ощущал смутное беспокойство.

— Ну, давай, Рустам,— за добрую встречу,— произнес Иззат, в узких его глазах светилось искреннее чувство.— Рад, что ты снова рядом.

Да, это был все тот же Иззат — искренний и открытый. Не зря у него было много друзей,— даже люди, от природы сдержанные, невольно тянулись к нему. Рустам почувствовал, что на душе у него теплеет.

Они чокнулись, закусили чем бог послал.

— Если желаешь развеяться,— говорил Иззат, с хрустом откусывая огурец,— сегодня вечером пойдем в одно место. Будет приятная компания — не прогадаешь. Рамз, Батыр. Еще, думаю,— он загадочно сощурился,— будут девушки из ТашМИ. Отведем душу, а? Батыра, я думаю, ты знаешь — известный певец. Рамз — композитор, недавно поставили его балет «Утренние голоса». Ну и... играет на гитаре, поет — любого заставит прослезиться.

Рустам, не зная, что ответить, пожал плечами.

— Там будет одна красавица по имени Фируза,— если бы ты видел, как она танцует! Ну, убедил я тебя?

— Знаешь что... Можешь убеждать меня дальше, а я пока пересяду на тот вон диван — хорошо?

Рустам взял блокнот и карандаш, приготовился работать.

— Слушай, Иззат, ты, часом, не женился?

— Если б женился, разве не позвал бы тебя на свадьбу?

— А почему?

— Не понимаю, что — почему?

— Почему не женился до сих пор? — Рустам время от времени бросал взгляд на Иззата и быстро работал карандашом. — Когда так приглашают в компанию, как ты меня, — либо хотят показать кого-то, кто особенно нравится, либо хотят уйти подальше — опять же от кого-то, кто особенно нравится. И в том и в другом случае можно сказать: бедняга созрел для того, чтобы сдать более или менее прекрасной победительнице. Не так разве?

Иззат погрустнел.

— Ты прав, дружище. Я и в самом деле собрался было жениться, да ничего не получилось... — он налил себе одному и тут же выпил.

— Как это понять — ничего не получилось? — Рустам перевернул страничку блокнота, поднял взгляд.

— Да так... Влюбился, потерял голову... — Иззат закурил. — Так читала мои стихи, с такой страстью — я сам их не узнавал. Умница. Я ей стихи посвящал, сравнивал с чистым серебристым лучом месяца... Радовался жизни — сейчас смешно вспоминать.

Рустам, слушая, не отрывал карандаша от бумаги, пытаюсь схватить и передать состояние поэта. А тот, оборвав свой рассказ, снова взялся за бутылку.

— Хватит, Иззат, полно... — Рустам дружески, но настойчиво попытался остановить приятеля.

Тот молча поднял пустую рюмку на уровень глаз, какое-то время рассматривал ее, потом тихонько, словно для себя самого, принялся читать:

В пустыне Кербелы любовь моя — мираж...

Замолчал — и в настороженно-нервной тишине лишь шуршал карандаш Рустама.

— Жаль, у моего дутара нет струн — я бы сыграл сейчас. Забавно — дутар без струн, а? Арык без воды, роза без запаха...

Рустам видел, что Иззат нервничает, и старался подладиться под него, не раздражать.

— Это легко поправимо, — желая поддержать Иззата, заметил он. — Натянешь струны — и дутар снова обретет голос.

— Если бы!..

Иззат вышел на балкон, постоял там несколько минут, совладал со своим настроением, вернулся.

— Слушай, а ты здорово схватил характер! — с искренним удивлением заметил он. — Вылитый я — и за несколько минут. Я, бывает, из-за одной строки ночь мучаюсь, а тут... И чего я не художник, а? — он улыбнулся, подмигнул другу.

— Иззат... — Рустам положил последние штрихи, критически оглядел свою работу. — А где она сейчас?

— Ты о ком?

— О той девушке.

— Дома, должно быть.

— Что же помешало тебе?..

— Страх.

Рустам оторвался от рисунка, посмотрел на Иззата:

— Не понимаю.

— Видишь ли... у них в семье был свой «поэт», — Иззат нашарил сигареты, закурил. — Вроде бы что-то писал, его не печатали, пил, родственники стыдились. Уехал — вздохнули с облегчением. Так что еще об одном поэте и слышать не хотят. В общем-то, их можно понять — сами они люди весьма почтенные. Да еще кто-то внушил им, что я — бездарь, стихи для меня — блажь. Я как-то попробовал зайти поговорить, потом еще раз... Так что ты думаешь — и на порог не пустили. Вот тебе и почтенные... В общем, тема исчерпана. Ладно, — он хлопнул Рустама по колену, — поговорим о вещах более веселых. Или — выпьем?

— Нет! — решительно запротестовал Рустам, удерживая Иззата за руку. — Полно, хватит и мне, и тебе. Ты лучше вот что скажи: кто эта девушка — где живет, работает, как ее зовут?

— Она не работает еще, студентка филфака.

— Как ее зовут?

Иззат точно не слышал вопроса, — облокотившись о спинку стула, задумчиво смотрел в окно. Потом тихонько, словно для себя самого, начал читать стихи. Мотив нескончаемой, безграничной любви и разлуки захватил Рустама. Словно немой дутар обрел вдруг струны и заговорил — так ожило для Рустама все до мельчайших черточек в облике его друга, все виделось знаком высокой духовности, добра, жизни и страдания, боли чистой и любящей души. «Я непременно напишу его портрет, — решил Рустам. — Это и будет моим ответом на его стихи. Причастностью к его страданию... да, я расскажу и об этом тоже. Все его существо сейчас — как поющая струна...» Он подумал еще: что же это за девушка, что довела его друга почти до безумия? Понимает ли она его, стоит ли?.. Кто

она — личность или безвольная кукла в родительских руках?

— Нет! — сказал вдруг Иззат и даже рукой помахал в подтверждение. — Нет, жалобы и стоны — не по мне. Ты думаешь, я из-за нее превратился в безумца?

Рустам поразился — насколько точно поэт угадал его мысли. Видимо, даже увлеченный чтением своих стихов, он не терял способности остро видеть другого человека — как сам Рустам видел его.

— Ты прости, — Иззат с решительным видом повернулся к Рустаму. — Я не нытик, не слабак. Как бы ни были глубоки корни, у меня достаточно воли, чтобы вырвать их... У меня есть в жизни в тысячу раз более важное, чем это чувство. Мои стихи — они моя любовь, моя жизнь, мои муки и счастье. Я видел — тебя удивила бедность моего дома. Зачем мне хрустальная люстра — одна моя строка светит мне куда ярче... Зачем ковры, дорогая мебель, шкафы с бараклом? Мое богатство — моя поэзия! К тому же она кормит меня — я хорошо зарабатываю. А я — кормлю свой стих...

— Погоди, погоди, — остановил приятеля Рустам. — Как это понимать? Что ты несешь? Что значит — ты кормишь свой стих?

— Стихи — это я! Моя жизнь. Я рождаю их. А у меня есть нормальные человеческие желания — и поест, и посидеть с друзьями-приятелями, повеселиться. Мне не нужно баракло, дружище, не смотри на меня с сожалением, как некоторые.

— Я и не говорю тебе, Иззат, чтобы ты скопидомничал, — тут мы пойдем друг друга; не говорю, чтобы не встречался с друзьями. Но все хорошо в меру. Ты ведь талантливый поэт, и ты должен понимать, что принадлежишь не только себе — всем нам. Твой ум, воображение — они не должны гаснуть, и если кто-то хочет вовремя остановить тебя, уберечь от выпивки — эти люди хотят уберечь твой дар. Выпивка никому еще не приносила пользы в этом мире. Сдается мне, у тебя появились друзья-собутельники, из тех, что не прочь проехаться за чужой счет: мягко стелют, поют дифирамбы, а сами запускают руку в твой карман. Не так, а? Подумай, Иззат. И, честно, не дело жить так, как ты в этих комнатах. Недостойно тебя.

Иззат, мрачный и нахмурившийся, лишь покачал головой. Повернулся к столу, протянул руку к бутылке.

«Ну и ну, — подумал Рустам, — далеко же его завело».

Иззат подержал бутылку в руке, будто пристально разглядывая, потом вздохнул и поставил ее на стол.

— Я соскучился по твоим стихам,— сказал Рустам с ласковой осторожностью, словно боялся спугнуть что-то в друге.

Иззат молча поднялся, стал у балконной двери, оперся спиной о косяк.

Рустам взял в руки блокнот.

Минута тишины — и потекли стихи. Голос Иззата то стихал до шепота — и речь его была подобна струйке воды, пробирающейся по растрескавшемуся дну высохшего арыка, то усиливался — звенел и журчал подобно роднику, то бил волной, которая подмывает и обрушивает берег. Тут были и сердечная тихая песня, и нежность, и гимн бессмертной мудрости — стихи прославляли и возвеличивали человека, а любовь его превозносили до небес...

Рустам быстро делал наброски.

7

Когда Рустам с Иззатом вышли, обмениваясь впечатлениями о выставке в Доме ученых, на улицу, уже наступил вечер. Проезжая часть была унижена, словно бусинками, желтыми и красными огнями автомобилей — и, словно соскальзывая с нити, огоньки разбегались в разные стороны.

На выставке было о чем поспорить, но Иззату многие картины безусловно понравились, он говорил о них с радостным возбуждением.

— Никогда не устану удивляться чуду искусства! И что оно такое — это искусство живописца? Для моего ума — непостижимо! Посмотришь — ну холст, ну размазан краской... Но как, почему все это так действует на меня? Почему мое сердце в ответ начинает биться сильнее? В чем тут фокус? Особенно та картина — «Девушка у родника»... Мне, литератору-профессионалу, поэту, понадобился бы воз слов, чтобы высказать все, что я вижу в работе художника... Ей-ей, не вру: побыв рядом с этой картиной, я словно помолодел — снова стал юношей, столько всего всколыхнулось во мне! И еще я думаю — человек, которому суждено увидеть и почувствовать такое произведение высокого искусства, весь свой век не сделает низости, мерзости...

— От племени художников, так и быть, принимаю ваши восторги,— полушутя заметил Рустам,— однако не переборщил ли ты все же?

— Да ведь это правда, правда! — с тем же пылом продолжал Иззат. — Если произведение искусства не возвышает до благородства, не выкорчевывает из нутра человека жесткость и низость, к чему оно тогда, кому нужно?

— В принципе верно, но ведь не каждое полотно или книга стоят таких слов, — Рустам слегка посмеивался над горячностью друга.

— Конечно, истинных произведений искусства — считанное число... о них я и говорю, — согласился Иззат уже спокойнее. — Я, к примеру, не очень понимаю оперу... и в живописи вовсе не искушен, — глядя на картину, не способен профессионально объяснить, почему она хороша или плоха. Руководствуюсь лишь своим вкусом, внутренним чувством, отзвуком в душе... Так что не принимай мои рассуждения очень уж всерьез, ладно? Кстати, сколько сейчас времени?

Рустам глянул на часы:

— Половина девятого.

— Прекрасно! Теперь мы с тобой пойдем туда, куда я говорил.

— Уже поздновато для того, чтобы в первый раз приходиться в дом. — Рустам не хотел отказывать товарищу, оставляя его одного, но и идея отправляться куда-то в компанию не радовала его.

— Да что ты! Самое время — там сейчас вечеринка в разгаре. — Иззат внутренне уже настроился идти, дружески подтолкнул Рустама: — Не упирайся!

— Ты знаешь, я все же должен подождать Ульфат. Надо встретиться с ней и проводить домой.

— Это та твоя артистка?

Рустам кивнул.

— У них же спектакль заканчивается в одиннадцать, — тоном, не допускающим возражений, заявил Иззат. — Вполне успеешь сходить со мной — ненадолго. И я из-за тебя не стану очень уж засиживаться.

Тут Рустам заколебался, а Иззат, видя его нерешительность, повел его за собой.

Вскоре они подошли к нужному им дому — остановились под освещенным балконом второго этажа.

Наверху, на балконе, спиной к улице стояли, опершись о перила, дымили сигаретами юноша и девушка, из комнаты лились звуки магнитофонной записи, на оконной занавеске, видно было, колыхались тени танцующих, им хлопали.

— Эй, шалопаи! — позвал Иззат, сложив ладони раструбом.

Молодая пара на балконе обернулась.

— Вы что, не узнаете? — Иззат темпераментно погрозил им.

— Иззат, неужто ты? — обрадованно выкрикнул смуглолицый парень с длинными волнистыми волосами.

— Вот тебе и Рамз,— шепнул Иззат Рустаму.

— Где тебя носит, поэт? А мы тут ждем! — сказал вышедший на балкон худошавый мужчина, длинными волосами и большими глазами на аскетическом лице напоминавший иконописный облик Христа.

— Это — Батыр... — шепнул Иззат.

— Я узнал... — так же шепотом ответил Рустам.

Стоявшая на балконе девушка что-то сказала, шагнула к двери в комнату — там затихла музыка, несколько человек, юноши и девушки студенческого вида, высыпали на балкон и, выстроившись у перил, загалдели, как птицы на заборе. Заметно было, что веселье у них в разгаре.

— Тихо, тихо! — широко провел по воздуху рукой высокий полноватый парень, видно, хозяин квартиры. — Эй, умолкните, не даете слово сказать! — Перегнулся через перила, чтобы лучше видеть Иззата. — Что так поздно? Мы уж давно собрались.

— Лучше поздно, чем никогда,— весело отозвался Иззат.

— Ты знаешь,— извиняющимся тоном объявил хозяин,— у нас каким-то образом дверь оказалась запертой. Мы послали Бахтияра к моей маме, он сейчас принесет ключи. А пока я вам выброшу веревку, что-то вроде аркана.

— Я думаю, нам лучше уйти,— шепотом сказал Иззату Рустам.

— Да, да, в самом деле... Познакомьтесь! — громко произнес Иззат и указал рукой на Рустама: — Мой товарищ Рустам Ниязов, художник, только что из Ленинграда — закончил академию. Прошу любить и уважать!

Стоявшие на балконе дружно захлопали. Рустам от стыда не знал, куда деваться.

— Так вы тот самый Рустам Ниязов! — обрадованно воскликнул Батыр. — Вот сюрприз! Эй, хозяин, тащи скорее веревку!

Полноватый бросился с балкона в глубь комнаты, остальные весело зашумели, наперебой предлагая разные экстравагантные способы связи с новыми гостями.

— Иззат, ты извини, но мне надо идти, я могу опоздать,— тихо, но с решительностью в голосе повторил Рустам.

— Нет, нет, друзья, не беспокойтесь, мы уходим! — Иззат благодарно приложил обе руки к груди.

— Не пойдет, не согласны!.. Прийти — и так ни с чем уйти! — слышалось с балкона.

— Стихи! — закричала одна из девушек.— Пока не услышим стихи, не отпустим вас. А если уйдете без стихов — бросимся все с балкона, грех ляжет на вашу душу!

— Вот, держи! — хозяин спустил с балкона конец веревки.

— Нет,— сказал Иззат, — подниматься мы не будем.

— Чего ж тогда пришел, раз хочешь уйти! — рассердился хозяин.

— Не обижайтесь, друзья,— сказал Иззат тоном извинения. Он явно успел оценить разницу в уровне настроения их с Рустамом и тех, что веселились сейчас на балконе.— Сделаем так. Я вам отсюда, снизу, прочитаю стихи, а потом мы пойдем.

Стоявшие на балконе девушки весело зашебетали, захлопали в ладоши.

— Нет уж, погоди! — Батыр перегнулся через перила.— Все же сначала хоть как-нибудь закусите, пропустите по маленькой за компанию, а потом уж станем слушать стихи. Так, друзья?

На балконе обрадованно зашумели.

— Итак, спускаю...— Хозяин привязал к концу веревки корзину, опустил туда бутылку и две рюмки, яблоки. Вслух рассуждал: — Чего бы еще добавить?

— Ладно уж...— посоветовал Иззат.— Можешь спустить еще вот ту девушку.

— Ах, Иззат-ака, для чего я вам, совершенно не могу понять, — наивным тоном спрашивала девушка.

— На закуску, голубушка, исключительно на закуску,— продолжал игру Иззат.

Все рассмеялись.

— Как бы ты сам, поэт, не оказался в роли закуски,— предупредил хозяин.— Смотри, проснется ее муж!

Корзинка спустилась, Иззат наполнил рюмку, отдал ее Рустаму, налил и себе.

На балконе выстроилась веселая компания, все с рюмками в руках.

Иззат чокнулся с Рустамом, приветственно поднял

рюмку, на балконе обрадованно загалдели, однако пить он не стал, дождался тишины.

Через несколько минут все затаив дыхание слушали его негромкий голос, — здесь, в этом темном дворе, у балкона с разгоряченными весельем приятелями, Иззат неожиданно для всех, а может и для себя, начал читать свою известную балладу «Матери».

И стихи, их настроение и мысли победили — никто не пил, не шумел, лица посерьезнели: как будто люди получили то, чего давно ждали.

Рустам опустил голову и слушал сквозь слезы. Его цветы еще не успели увянуть на кладбище, там, где лежала теперь мать.

Иззат увлекся, чеканил строфы.

Вот он кончил, наступила минута тишины. Уловив рядом движение, Рустам оглянулся: у балкона и поодаль собрались группами мужчины и женщины, некоторые сидели на корточках. И никто не смел потревожить тишину. То, что было в словах поэта, еще присутствовало здесь, среди людей.

8

Рустам вышел к театру имени Хамзы со стороны фасада и решил подождать Ульфат здесь. Стеклопакеты двери то и дело открывались, выпуская задержавшихся зрителей и актеров, при этом створки вспыхивали каждый раз, отражая свет прожектора напротив.

Наконец ручеек людей, выходявших из театра, иссяк. Ульфат не было.

Рустам заглянул в фойе, украшенное мраморными колоннами, вернулся на улицу, — днем оживленная, а сейчас пустынная, она отдыхала от людей, дома же сделались заметнее и внушительнее.

За его спиной скрипнула дверь в фойе. Рустам обернулся — человечек в бархатной тюбетейке, с папиросой во рту, запирает театр.

Рустам решил, что Ульфат может выйти из боковой двери, и не торопясь пошел туда. Две женщины в полутьме чуть не налетели на него, он извинился и уступил им дорогу. Они оглядели его с интересом, а когда удалились на несколько шагов, до него долетело: «К Холбаевой, конечно. Она сейчас пользуется успехом». Кто такая Холбаева, Рустам не знал. Возле боковых дверей театра было пусто: но, лишь стоял «Москвич» с работающим мотором.

— Это ты, Рустам? — послышалось из машины.

Рустам подошел — узнал сидевшего за рулем Турсуна Азимова, давнего своего знакомого еще по театрально-художественному институту: Турсун занимался на актерском факультете.

Он вышел из машины навстречу Рустаму — немного полноватый симпатичный парень, вьющиеся волосы, ямочки на щеках, лицо блестит после грима, под ухом смешно прилип крохотный клочочек мягкой бумаги — вазелином снимал грим. Крепко пожал руку, расспросил о здоровье.

— Тебя и не узнать — бородой обзавелся.

— Зато ты — машиной, поздравляю.

— А, живу далеко — вот и пришлось купить. Зато давление нажил.

— Я читал — ты готовишь Улугбека?

— После Шукура Бурханова за эту роль братья небезопасно. Да еще с подготовкой трудности: нужно выучить сорок страниц текста, вжиться, а дали всего лишь семнадцать репетиций.

— Это мало?

— Для такой-то роли! И после самого Шукура Бурханова!.. Слушай, а ты что, встречаешь кого-то?

— Хотел проводить Ульфат...

— Так она, по-моему, уже ушла. Сейчас спрошу для верности у сторожа.

Турсун вошел в здание и быстро вернулся:

— Полчаса как ушла. Ну да, она ведь умирает в седьмой картине, ей не нужно ждать конца спектакля.

— А ты?

— Представляешь, только в этой постановке и остаюсь в живых, — Турсун рассмеялся, — во всех остальных спектаклях погибаю!

— Ну что ж, пользуйся тем, что сегодня тебе дарована жизнь! — Рустам протянул руку, прощаясь. — Всего лучшего!

— Тебе в какую сторону? Я подвезу.

— Спасибо, Турсунджан! Я давно не был в Ташкенте, сейчас не жарко — самое время прогуляться пешком.

9

Рустам тихонько притворил калитку, запер ее и, стараясь не шуметь, прошел по дорожке к дому, поднялся на веранду.

В большой комнате горел свет. В шезлонге, уронив голову на плечо, спала Малика, ветерок из открытого окна

37

шевелил прядь ее волос. Ворот платья сдвинулся, и там, где шея сливалась с плечом, темнела родинка размером с изюминку — подчеркивала белизну кожи. Рука бессильно свесилась к полу, тут же лежал упавший журнал.

Рустам постоял, посмотрел на темные пушистые ресницы, на трогательную родинку, на мерно вздымающуюся грудь девушки, почувствовал неловкость — вроде подглядывает из-за угла, — усмехнулся, покачал головой и, взяв с вешалки махровое полотенце, отправился к бассейну.

В полутьме аккуратно сложил одежду на скамеечке, чувствуя теплоту ночи, с удовольствием потянулся, разминая мускулы, и бросился в воду. Освежившись, вылез на бортик, сел, набросив на плечи полотенце, закурил.

Из головы не шел Иззат. Одиночество — это всегда плохо. А тут еще компании, выпивка. Дальше — больше, может не хватить сил совладать с собой. Сколько подающих надежды поэтов сгубило и свой талант, и себя безволием и выпивкой... Может, попробовать отыскать ту девушку? Как ее имя?.. Шахноз, кажется? Отыскать и поговорить с ней — может быть, она любит Иззата и решится пойти против воли родителей? Маловероятно, конечно, такое не принято... но попытаться стоит. Иззат явно сам себе не помощник. Нуждается в поддержке, но не подает вида... Гордый.

В этот миг, оборвав течение мыслей Рустама, у стены дома, обращенной к бассейну, вспыхнула лампочка.

Рустам оглянулся — в доме у окна стояла испуганная Малика. Узнав Рустама, явно не могла решить — радоваться или сердиться, уж очень он ее напугал.

— У меня чуть сердце не разорвалось от страха, когда услышала плеск в бассейне... Ведь и чужой мог забраться... Хорошо, что это вы оказались...

Рустам смутился:

— Простите, я был уверен, что вы крепко спите и ничего не услышите.

Малика вроде бы смягчилась, смотрела не так сердито. Потерла глаза — еще не отошла от сна.

— Ладно, хватит вам купаться, еще простудитесь.

— Ничего, я привык. И потом, здесь такое место... я отдыхаю душой. Посмотрите, какие звезды! С меня здесь все дневные заботы слетают!

Малика исчезла в доме, потом вдруг появилась рядом с бассейном:

— Вставайте! — Малика стояла возле, в руках держа-

ла свернутое одеяло. — Вставайте, я вам постелю одеяло. Если уж хотите сидеть здесь, так устройтесь поудобнее.

— Ну что вы, Малика... Зачем беспокоитесь?

— Давайте, давайте, подчиняйтесь!

Рустам, чувствуя неловкость, поднялся на ноги, Малика постелила одеяло, и он послушно опустился на него.

— Вы ведь, наверное, голодны?

— По правде говоря, да,— признался Рустам.

— Сейчас разогрею. Я быстро!

Одевшись, Рустам улегся на одеяло, смотрел на звезды. Хорошо, свободно дышалось ему в родном доме!

— Самад-ака! — позвала из дома Малика. — Идите, ужин готов!

Рустам приподнялся на локте.

— Малика, вы не обидитесь, если я позволю себе одну вольность?

— Какую вольность? — насторожилась девушка.

— Хочу вас попросить... если вас не очень затруднит, принесите еду сюда. Можно?

— Хорошо... — быстро согласилась Малика. — Там рядом с бассейном табуреточка, подвиньте ее к себе.

— Хоп! — отозвался Рустам, принес и поставил табуретку.

Малика подошла с блюдом горячих голубцов и повернулась — еще что-то хотела подать.

Рустам покачал головой:

— Вы, наверное, думаете, Малика, что за бесцеремонный парень у вас в гостях, а?

— Нет, почему же... — девушка быстро накрыла табуреточку салфеткой, поставила принесенное.

— Присаживайтесь и вы, мне одному и неловко, и скучно.

Малика присела, мечтательно поглядела на звезды. Рустам поднял голову:

— Красиво, а?

— Вы ешьте, как бы не остыло.

Рустам послушно взялся за вилку и нож.

— Самад-ака, — помолчав, обратилась к нему девушка, — почему Рустамджан занимается только портретами? Я не видела ни одного его пейзажа. А ведь как прекрасна бывает природа... Или это особенность таланта? Или, может, он не чувствует, или не увлекается тем красивым, что вокруг нас?

— Нет, почему же. Вы не совсем правильно ставите вопрос. Тогда почему прозаик пишет рассказы, а не стихи?

Однако все это — и стихи, и проза, и портретная, и пейзажная живопись — все это — искусство, равноправные виды художественного творчества. Цель при этом одна, а способы ее достижения — разные. Один лучше выскажет свое наболеее в стихах, другой — в прозе... Было бы что сказать. То же и в живописи. Мне, например, ближе искусство портрета. Разве есть на свете что-нибудь прекраснее, совершеннее — и сложнее — лица человека? В одних только глазах — целый мир мыслей и чувств. И если уметь увидеть, распознать, а потом рассказать об этом людям...

— Вчера я начала говорить о художниках — вы так горячо возражали мне. А у меня была причина спрашивать. В наш институт захаживал один художник, не хочу называть его имени, но он тоже в основном работает над портретами. И неплохой художник, так все говорят. Он не давал мне покоя, каждый раз, встретив, начинал убеждать, что должен написать мой портрет. Наконец я не выдержала, согласилась прийти к нему в мастерскую. Он набросал эскиз, забраковал, набросал еще... Потом стал говорить, что свет неправильно падает, повернул мою голову в одну сторону, в другую... Кончилось тем, что я терпела, терпела, а потом дала ему пощечину и убежала из мастерской.

— За что? — недоуменно спросил Рустам.

— Чтобы рукам воли не давал...

Рустам закурил.

Малика, видно, озябла, сидела, обняв себя руками за плечи. Рустам, увидев, набросил ей на плечи пушистое полотенце.

— Самад-ака...

— Да?

— Вы... — девушка запнулась, не решаясь продолжать.

— Ну так что? — подбодрил Рустам.

— Вы... когда-нибудь любили? — решила наконец девушка.

— Ну кто же не любил? Конечно, и я... — Рустам затаился и постарался рукой отогнать дым от Малики.

— А кого?

— В основном своих учительниц в школе.

Девушка прыснула.

— Разве в учительниц влюбляются?

— Не знаю, как другие, а я — да. Когда они выходили замуж, проливал слезы.

— А потом?

— Потом... Я полюбил одну девушку. На хлопке, мы

оба были студентами. Она была прелестна. Бедная, не смогла сдать первую же сессию, и ее отчислили. А я по настоянию отца поступил тогда в политехнический. Хоть я и сдал успешно сессию, узнав, что она уезжает, подал заявление и ушел из института. Не вернулся домой, отправился прямо в Маргилан...

И печалюсь, и посмеиваясь над собой, Рустам рассказал Малике, как он добрался до Маргилана, как безуспешно искал несколько дней свою Хасият, как, оставшись без крова, ночевал на скамейке в саду, как нанялся к чайханщику и таскал воду, потом работал в бане, затем наконец напал на след девушки и поспешил к ней, а явившись, оказался на ее свадьбе... Он чуть с ума не сошел тогда. Теперь же прошлое казалось ему вязким и тяжелым сном.

Малика слушала, чуть склонив голову к плечу, точно ребенок, в глазах мерцали звездочки. Рустам чувствовал тепло близко сидевшей девушки и готов был сидеть так и разговаривать хоть до рассвета.

Утром Рустам проснулся в своей комнате оттого, что где-то неподалеку играли на пианино. «Баркарола» Чайковского — узнал он. Играла, конечно, Малика. Рустам слушал с наслаждением — Малика, видно, всю себя вкладывала в музыку.

Наконец игра оборвалась, опустилась удивительная тишина — гармония музыки словно еще сохранялась в ней.

Минут через двадцать в его дверь постучали. Рустам натянул на себя простыню и разрешил:

— Входите!

Дверь отворилась, показалась Малика, — по одежде и косметике видно было, что уходит на работу.

— Сабох-ан-нур! — приветствовал ее Рустам.

Девушка рассмеялась.

— Не спите?

— Слушал вашу игру...

— Вы любите классику?

— Ту, которую понимаю. Чайковского — да. — Рустам протянул руку, взял со стула сигареты.

Девушка невольно бросила взгляд на широкие, крепкие плечи и мускулистые руки парня. В душе у нее происходило что-то непонятное. Она испугалась этого. Смутилась.

— Так вы мастер не только за плитой, — почувствовав

возникшее напряжение, весело заговорил Рустам. — Есть ли хоть какое-нибудь дело, которое вы не умеете делать?

Он даже не подозревал, что шутливым своим вопросом затронул в душе Малики самые сокровенные струны.

Девушка грустно улыбнулась в ответ:

— Есть, конечно, как же не быть... Я сейчас уйду на работу, ваш завтрак на столе. Если вечером уйдете куда-нибудь, не задерживайтесь очень поздно.

— Почему? — испытывая, спросил Рустам.

Малика ответила не сразу:

— Будете рассказывать дальше о ваших лирических похождениях... — и скрылась за дверь.

10

Рустам стоял на ступеньках, ведущих ко входу в здание факультета, и все никак не мог решить, с чего начать предстоящий разговор. На сердце у него было беспокойно.

Минут через десять из здания выбежала стройная, легконогая девушка в желтом атласном платье, совсем молоденькая и очень красивая, с портфельчиком в руках. Рустам как художник не мог не залюбоваться черными стрелами бровей, нежными веками, густыми ресницами — во всем облике было что-то детское, очень чистое. Остановилась, подошла, испытующе оглядела Рустама.

— Это вы меня вызывали? — она смущенно поправила сбившееся платье.

— Вы — Шахноз?

— Да... — на щеки девушки набежал легкий румянец, она явно стеснялась незнакомца.

— Мне нужно поговорить с вами, Шахноз, — уверенным тоном, словно взрослый ребенку, объявил Рустам.

— Со мной? — девушка удивилась, явно не обрадовалась, спросила, натянуто улыбаясь: — О чем же?

— Об Иззате, — откровенно объяснил Рустам, внимательно глянул девушке в лицо — как она примет его слова?

Шахноз смотрела на него так же ясно, виду не показала, что взволнована, лишь перестала улыбаться.

— Простите... я вас не знаю... Кто вы?

— Зовут меня Рустам. Я друг Иззата.

Они шли по аллее и молчали.

— Сестрица моя, Шахноз, — заговорил наконец Рустам, — вы мне кажетесь вполне разумной и взрослой. Для чего так мучаете Иззата?

— Это почему же я его мучаю?

— Да уж куда больше, вы только посмотрите на него — в щепку превратился, бедняга.

— А он сам разве мало девушек превратил в щепку?

— Вижу, сестрица, не свои слова говорите, чужие.

— Это у него временное, проходящее, поверьте, — продолжала девушка. — Увидите, пройдет полгода, а то и меньше, он влюбится в другую, а обо мне сочинит стихи — и забудет. Он сам говорил, что поэт постоянно должен быть влюблен в красавицу, иначе иссякнет вдохновение.

Девушка отвернулась, маленьким платочком вытерла глаза. Это окончательно убедило Рустама — без сомнения, она любит его друга.

— Извините меня, пожалуйста, Шахноз, что я позволяю себе вмешиваться... Но ведь вы же явно говорите не свои слова, стараясь убедить себя, заглушить то, что у вас в душе. Ну хорошо, допустим, у вас хватит воли побороть свое чувство. Но зачем? Останется-то на его месте пустота... рана останется в душе, обида и боль.

— Ну что вы, — беспечным тоном возразила Шахноз. — Сколько девушек вроде меня, расставшихся с... другом. Ничего, живут себе поживают.

— Знаете, Шахноз, если вы хотите показаться мне беспечной и веселой — ваше дело. Но ведь есть другой человек, — неужели вы не думаете о том, каково ему придется? Неужели вы, два взрослых, любящих друг друга человека, не можете договориться и устроить свою судьбу? Ведь наверняка можно найти решение... В наше-то время кто вам всерьез может помешать? Обидно за вас обоих, досада берет.

— Ну что, что же вы мне предлагаете? — не выдержав, в сердцах заговорила Шахноз. — Что тут можно поделаться? Я сама дважды пыталась все поправить... устроить... и ничего не сдвинулось! Он все время говорит о чем-нибудь постороннем, увертывается, сетует на судьбу. Что прикажете мне делать в ответ? Может быть, вешаться ему на шею? Уж не говорю о гордости, но ведь и стыд есть...

Рустам невольно рассмеялся — да, все очень похоже на Иззата, Шахноз точно передала.

— Но ведь он, насколько я знаю, несколько раз приходил к вам домой?

— Да, приходил... и каждый раз приходил нетрезвым, — сказала Шахноз обиженно и сердито, с горечью. — У отца плохо с сердцем из-за него было.

— Но ведь сейчас он бросил пить, насколько я знаю. Ну, почти бросил...

— Вот именно — почти! — с горечью ответила Шахноз. — Недавно он приходил — и опять выпивши.

— Вы знаете, — пошел в наступление Рустам, — это он с горя, поверьте мне! И вы можете повернуть его на правильную дорогу, Шахноз. Без вас ему ничего не стоит оступиться. Я вам прямо говорю: если это случится, вините себя!

— Но ведь у него дружки, компания. Он под их влиянием, кажется...

— И об этом я позабочусь.

— Мне теперь все равно... — опустив голову, тихо сказала девушка.

Наступила неловкая тишина — разговор вроде бы иссяк.

— А если я приду, поговорю с вашим отцом? — неожиданно для себя предложил Рустам.

Шахноз покачала головой:

— Бесполезно. Меня уже сосватали, отдают за другого...

Рустам даже остановился, пораженный словами девушки.

— И вы молчите?! Не способны возразить?! Вы что — дитя малое? Что значит — отдают? Современная девушка, студентка...

Шахноз с ненавистью посмотрела на Рустама — неожиданно из глаз ее полились слезы. Она пыталась что-то сказать, но рыдания душили ее, она лишь смотрела на Рустама, теперь уже только укоряюще, и вдруг резко повернулась, побежала прочь.

Рустам опешил, в смятении так и остался стоять на месте. Непонятно почему, но почувствовал он себя так, будто совершил нечто постыдное, нечистое.

Как же ему теперь быть? Разговор с отцом Шахноз был неминуем.

Он остановил такси и назвал адрес.

Машина въехала на тихую улочку с участками и заборами и остановилась перед воротами с нужным Рустаму номером. За ними виднелся аккуратный беленый дом с мезонином и балконом, опиравшимся на украшенные орнаментом колонны. Окна были занавешены портьерами.

Рустам расплатился с шофером и нашел кнопку звонка на столбе ворот.

Отворилась вделанная в ворота калиточка, показался

пожилой человек, без бороды, но с белоснежными усами — на вид ему было под шестьдесят. На голове — бархатная тюбетейка, одет в белую рубашку и полотняные брюки. Смуглолицый, загорелый — видно, любит бывать на воздухе. Взгляд внимательный.

Рустам вежливо поздоровался, хозяин столь же вежливо ответил и улыбнулся даже — с вопросом в глазах.

— Простите меня, но я к вам с просьбой... — с чувством неловкости начал Рустам и запнулся, но хозяин не стал ждать объяснений:

— И очень хорошо сделали, милости прошу в дом, — однако сам не двинулся с места и глаза смотрели выжидающе.

Рустам замялся, переступил с ноги на ногу.

— Видите ли, это такой разговор... Я хотел бы наедине...

— Так, так... — проговорил хозяин и чуть подвинулся в сторону.

Рустам понял это как приглашение войти и шагнул в калитку.

Хозяин проводил его к деревянному помосту под навесом из виноградной лозы, убрал с постеленного одеяла газету и старую книгу с пожелтевшими страницами, пригласил:

— Прошу, устраивайтесь.

Они присели, хозяин прочитал молитву, затем обратился к женщине, сидевшей у входа на веранду и стегавшей шелковое одеяло:

— Чаю.

Посмотрел на Рустама.

— Как ваши дела, сынок? Как ваши домашние, как в семье, как дети?

— Спасибо, уважаемый, хорошо.

— Пусть господь будет щедрым! — Хозяин раскрыл скатерть-дастархан на маленьком столике, хантахте, и разломил лепешки. — Прошу угощаться, сын мой.

Рустам взял кусок лепешки, откусил немножко.

— Говорят, нет вины на том, кто спрашивает, сын мой. Чей вы будете?

— Мое имя вам, думаю, ничего не скажет. Я сын ученого-языковеда Ниязова, зовут меня Рустам.

— Я, кажется, слышал, сынок, как будто слышал... — хозяин ласково улыбнулся. — Значит, сын такого уважаемого человека пришел к нам с просьбой. Можно нам узнать, что это за просьба?

Рустам даже несколько растерялся от столь неожиданно любезного обхождения, и собственные слова теперь казались ему не в пример грубыми.

— Говорят, посла не убивают,— попытался он подладиться к стилю хозяина.

— Хвала, сынок, хвала.

Из дома вышла хозяйка, принесла чайник с чаем и две узорчатые пиалы.

Рустам поднялся и поздоровался, женщина ответила на приветствие и тут же удалилась.

Хозяин разлил чай по пиалам, Рустам отхлебнул из своей и поставил ее на стол. Отец Шахноз терпеливо ждал, когда он заговорит и расскажет о своей просьбе.

— Я пришел ради добра... Во всяком случае, я думаю, что дело это — доброе,— начал наконец Рустам.

— Отлично, сынок.

— Вы, возможно, знаете о молодом поэте по имени Иззат,— Рустам старался говорить осторожно.— Он способный поэт и с будущим. Я его товарищ...

— Прекрасно, сын мой, прекрасно.

— Как я слышал, у вас есть дочь по имени Шахноз.

— Есть, есть дочка.

— И, кажется, этот поэт, мой друг, увидев вашу дочь, полюбил ее.

— Вай-вай-вай! Утонченная душа способного поэта полюбила нашу дочь. Очень неожиданно! Поистине мир полон загадок. Хорошо бы наша девочка оказалась достойной его!

«Ну ловкач! — Рустам не мог не отдать должного изворотливости хозяина.— Вот про таких, верно, и сказано: лижет змеиный жир!»

— Позвольте ли нам прислать сватов? Я в этом деле — посол моего друга.

— Сын мой, в комнате, где живет девушка, двери всегда открыты,— отец Шахноз, полуприкрыв глаза, поглаживал себя по колену.— Что ж, пусть влюбленный посылает сватов. Если творцу угодно соединить их судьбы, стало быть, так суждено, а значит, и неудивительно.

— Мой друг — благородный человек. В будущем он, без сомнения, станет известным поэтом. И вы не сделаете ошибки, согласившись...

— Пусть еще выше будут его чины и должность!

— Вы и сами хорошо знаете, уважаемый, что поэты — люди тонкой, чувствительной души. Если они теряют то,

к чему привязались сердцем, это не к добру, они могут погубить себя...

— Сохрани аллах!

— ...Поэтому, если бы вы ответили более определенно, я бы передал ваши слова своему товарищу, успокоил бы его...— Рустам замолчал и с нетерпением ждал — выскажется хозяин дома откровенно или нет.

— Что же я могу сказать, сын мой,— все так же подчеркнуто вежливо и мягко заговорил отец Шахноз.— В наши теперешние дни приходится считаться с требованиями времени. Вы ведь и сами знаете — сегодняшняя молодежь не всегда следует воле и советам старших. Мы со своей стороны попробуем подготовить нашу дочь, сказать ей обо всем, и если она примет ваши слова во внимание, тогда что ж, пожалуйста, милости просим! А уж коли отклонит — не обессудьте, принуждать ее мы не можем. Дочь наша уже не ребенок, мы предоставили ей право самой решать свою судьбу. Как говорит народ: которой быть женой моего сына, той и быть моей снохой. Эта поговорка, по нашему мнению, верна и в данном случае.

— Быть может, я ослышался или неправильно понял вас,— заговорил Рустам, пытаясь все же нащупать и понять истинные намерения отца Шахноз,— но, по слухам, вы будто бы уже решили отказать моему другу, не доверяя ему, его постоянству.

— Упаси нас аллах от такого, сын мой,— заговорил хозяин дома тоном искренним и сердечным.— Эти тревожные, темные времена, слава аллаху, миновали! Неужели же сейчас кому-то в голову придет подозревать нас?.. Вы не верьте этому, сын мой. Если наша дочка скажет нам, что выбрала этого парня,— наш долг устроить ее свадьбу и повеселиться там. И чем раньше наша дочь обретет семью, счастливо устроит свою жизнь, тем лучше, желаннее для нас. У меня нет иных слов или мыслей, которые бы я скрывал от вас.

— В таком случае, уважаемый,— пошел до конца Рустам,— как же понимать то, что вы сговорили вашу дочь за другого человека?

— В этих словах нет правды!— возразил отец Шахноз, однако в голосе его почувствовалось беспокойство.— Какой-то смутьян, видно, передал вам эту ложь. Если бы мы сговорили нашу дочку, разве сидели бы и беседовали столько времени с вами? Какая нам польза что-то скрывать — правда ведь все равно выйдет наружу. Но, я думаю, не было бы нашей вины, если б и сговорили. Уж если

на то пошло, это наше семейное дело. Разве не так? Или я сказал что-нибудь недозволенное?

11

Дверь в квартиру Иззата была распахнута настежь, в комнате, куда прошел Рустам, — пусто.

Правда, на столе лежали яблоко, газета, стояла полная пепельница.

Зная характер Иззата, Рустам вполне мог предположить, что тот ушел, забыв запереть дверь. «Как дервиш», — усмехнулся Рустам, однако все же громко окликнул:

— Есть кто-нибудь дома?

Молчание.

Тогда Рустам шагнул к балкону, чтобы выглянуть на улицу, но смешок за спиной заставил его обернуться. У входа в комнату в коридоре стоял Иззат — в трусах, руки в мыльной пене.

— Ну, что кричишь? Потерял хозяина?

— Так ты дома? — Рустам даже растерялся.

— Представь себе — моя домработница не так выстирала белье, я вынужден лично переделывать. Так что, если не побрезгуешь, следуй за мной в ванную, там и поговорим. Я скоро закончу.

Не удержавшись от улыбки, Рустам последовал за хозяином.

Иззат занялся стиркой. Спросил, не оборачиваясь:

— Ну как? Что нового в мире? Как дела?

— Дела неважные. Ее сговорили.

— Ее? Кого это?

— Ее.

— Ах, вот как! Интересно, позовут ли меня на свадьбу?

— Ну что ты выламываешься! — рассердился Рустам.

Иззат стряхнул с рук пену. Посмотрел на Рустама с такой слепой ненавистью, что Рустам отвел взгляд. Однако голос был ровен — сумел сдержать себя:

— И кому же улыбнулось счастье?

— Не спрашивал.

— Откуда же узнал?..

— Ходил к ним в дом.

— В дом жениха?!

— Ты что? — опешил Рустам. — Что я там потерял?

— Ну, может, ходил поздравить... — внешне Иззат был спокоен, но Рустам видел, как у него на шее вздулись жилы.

— Знаешь, я тебе сейчас врежу, может, мозги у тебя станут на место! — Рустам и злился, и переживал за друга.

Иззат выпрямился во весь свой невысокий рост.

— Вот если б ты так и сделал, я бы поверил, что ты настоящий друг, — сказал он серьезно.

Сердце у Рустама защемило, но он стоял на своем — резко бросил:

— В первый раз вижу в жизни такого беспомощного мямлю!

Нищий смиренно ждал с протянутой рукой.

Кто-то положил камень в эту руку.

На пути любви кто из нас нищий — я или ты, чернобровая, — Не знаю...

продекламировал Иззат.

— Иззат, с тобой сейчас невозможно разговаривать всерьез. Ведь ты же ее любишь! У тебя же сердце изболело по ней! И она любит тебя, я уверен в этом! Сейчас, именно сейчас необходимы решительные действия! А ты, последний шалопай, читаешь мне театральные монологи!

— И что же я, по-твоему, должен сделать? Что именно?

— Откуда мне знать! Иди к ней... умоляй, укради, наконец... увези куда-нибудь! Пусть ее родители останутся с носом! Потом привыкнут и простят. Ты даже не представляешь, в какой обстановке она живет! Предприми что-нибудь решительное. Ведь она зачахнет, погибнет без тебя! Неужели совесть твоя не подсказывает тебе? Ведь ты же поэт, как можешь не понимать?!

— Вот потому-то я и не могу ничего делать силой, — сдержанно заявил Иззат. — Я признаю только любовь по свободному выбору.

У Рустама от ярости и злости челюсти свело, ничего не мог сказать. Да он, собственно, и сказал уже все, что хотел.

— Ну и поделом тебе! Заслужил — и получай! — наконец выкрикнул он, с шумом захлопнул дверь и бегом пустился вниз по лестнице.

12

— Алло, можно Ульфат? — попросил Рустам.

— Я слушаю.

— Здравствуй... Что-то не узнаю сегодня твоего голоса.

— Ничего удивительного. То-то я замечаю, в последнее время у тебя глаза не видят, уши не слышат, мыслями витаешь где-то далеко... Как уж тут узнать мой голос!

49

— Что ты имеешь в виду? — сухо зато спросил Рустам: ему были неприятны слова Ульфат, потому что они были справедливы.

— Почему ты вчера пообещал, а не пришел в театр? — проигнорировав его слабую попытку защититься, сразу перешла к делу Ульфат.

— Я приходил, но ты, оказывается, уже ушла.

— Да, мне передавал Турсун, что ты появился после одиннадцати.

— Прости, случилось одно дело, задержало.

Ульфат только вздохнула в ответ.

— Чем ты сейчас занимаешься? — помолчав, спросил Рустам.

— Разучиваю роль.

— Ты сегодня выступаешь?

— Нет, сегодня играет Холбаева.

— Тогда, может быть, ты приедешь?

— Откуда ты звонишь?

— Из будки перед стадионом «Пахтакор». Буду ждать тебя в сквере Гагарина, хорошо?

— Ладно, сейчас приеду.

Рустам вышел из духоты будки, жадно вдохнул свежий вечерний воздух.

Лучи солнца уже багровели, среди деревьев сгущались тени, налетал ветерок, шелестел листьями.

Рустам устроился на скамейке на берегу Анхора, вытянул ноги, откинул голову на спинку скамейки, устало закрыл глаза; бородака его, подобно шерстяной варежке, смешно торчала вверх.

Мимо скамейки степенно проследовала полная молодая женщина об руку с тощим парнем. Оба с подозрением оглядели Рустама.

— Уже готов, нализался, — предположила полненькая, недовольно сморщив нос. — Нет чтобы знать свою меру — ну там сто или двести...

Парень согласно кивал.

Рустам смолчал, даже глаз не открыл. Мысли его были заняты Иззатом. Он и жалел своего друга, и злился на его нерешительность и непотворение. Может, попробовать еще раз поговорить с Шахноз, постараться переубедить ее? Но нет, вряд ли она поддастся на уговоры. Конечно, она под сильным влиянием отца, дома отравляют ее сознание. Да, отец ее — прожженный, выдавший виды плут — способен заморочить голову...

Так думал Рустам, а меж тем перед глазами его воз-

никла знакомая зеленая лужайка с родником, на корне ивы сидит Малика. Лицо бледное, ресницы и брови кажутся иссиня-черными. Ветер тербит волосы, пряди свешиваются, закрывают лицо.

Рустам в белой кепочке стоит напротив, быстрыми штрихами набрасывает ее портрет. На бумаге постепенно проступает Малика, она улыбается, на ней тонкое белое платье, ветер раздувает подол...

Нос Рустама ущемили мягкие пальцы Ульфат. Он все не открывал глаза.

— Спокойной ночи! — Ульфат, рассмеявшись, присела рядом на скамейку.

Рустам помотал головой, просыпаясь.

— Ничего не скажешь — красиво устроился! — насмешничала Ульфат. — Небось и меня позвал затем только, чтоб полюбоваться.

Рустам тяжело вздохнул, обнял ее за шею, положил голову ей на плечо.

Ульфат замерла от прилива нежности, потом стала тихонько гладить волосы Рустама, поцеловала его в висок.

— Что-нибудь не так? Мне показалось, у тебя настроение неважное.

— Если б ты меня сейчас хорошенько отколошматила, я бы очень был рад.

— Надоело жить?

Рустам кивнул:

— Ага.

— Знаешь что, пойдем в театр. — Девушка положила ладонь ему на лоб. — Сегодня идет «Царь Эдип». Получишь большое удовольствие. Шукур-ака играет.

Рустам покачал головой:

— Шукур Бурханов — это, конечно, прекрасно, но я приду, когда будешь играть ты. И приду с цветами. — Рустам уже окончательно проснулся, сел на скамейке прямо.

— Сегодня очередь Мунис, она играет.

— Кто это — Мунис?

— Да это же Холбаева! Неужто не слышал?

— Что, хорошая актриса? — равнодушно поинтересовался Рустам.

— Конечно, хорошая! Очень способная. И красивая. Только...

— Что «только»?

— Снялась в кино, получила какие-то призы и стала задаваться. Окружающих будто не замечает.

— А ты? — спросил Рустам как бы рассеянно.

— Я — задаюсь?

— Да нет. Ты-то не снимаешься в кино?

— Нет, — простодушно отозвалась Ульфат. — Меня часто зовут на пробные съемки, а потом извиняются и говорят, что у меня лицо продолговатое, и берут на роль каких-то девушек-студенток, которые не соприкасались со сценой и об игре не имеют никакого представления.

Рустам почувствовал в словах Ульфат нотки зависти и улыбнулся.

— Потом мне все это надоело, и я вообще перестала туда ходить, — продолжала Ульфат. — Недавно меня приглашали на роль Кумуш в «Минувших днях», но я не согласилась.

— И хорошо сделала.

— Почему?!

— Так ведь все равно бы тебя не взяли, — делая равнодушное лицо, вроде бы беспечно обронил Рустам.

— Кто знает, кто знает... — Ульфат не поняла, что ее подначивают, и теперь старательно скрывала обиду. — Вообще для актеров кино — дело нестоящее, несерьезное. Слишком много всяких аппаратов, вместо партнера реплики произносит режиссер, а ты должна разговаривать с микрофоном. Разве тут есть место для творчества? Когда сто человек стоят у аппаратов и глазуют на тебя?..

— А в театре как же?

— Что — в театре? Я не поняла твой вопрос, — чуть нервничая, переспросила Ульфат.

— В театре разве на тебя не глазуют? Там ведь зрители не спиной к сцене сидят?

— Ну что это такое! — рассердилась Ульфат. — С тобой нельзя разговаривать. Ты что, сегодня с левой ноги встал?

Рустам чуть улыбнулся и виновато склонил голову.

Малика поставила мясной соус для плова на маленький огонь, и он там потихоньку побулькивал, а сама полила двор, подмела, срезала розы и поставила их в вазе на стол, на белую праздничную скатерть, легко коснулась ладонями бутонов, потом поднесла их к лицу — уловила тонкий аромат.

Тихонько напевая, еще раз вытерла пол в прихожей, огляделась — все ли в порядке? — и отправилась в ванную. Затем надела свое любимое белое платье, очень ей шедшее, и уселась перед зеркалом...

Настроение у нее было приподнятое, она переживала душевный подъем, словно накануне праздника, к которому готовишься и ждешь.

На самом деле она ждала Рустама — ей хотелось, чтобы они вместе поужинали, а затем перешли в сад и снова сидели у бассейна, не зажигая света, вглядываясь в темное, немножко наводящее на нее страх ночное черное небо, усеянное бесчисленными точками звезд.

Однако гость заставлял себя ждать.

Она попробовала соус для будущего плова — все было как надо.

Включила телевизор. По одному каналу передавали репортаж с Ташавтомаша, шум и сутолока заводского цеха оглушили; Малика уменьшила звук и переключила канал: миловидная девушка-диктор, поводя черными, чуть раскосыми глазами, рассказывала о погоде; по третьему каналу танцовщица в бухарском одеянии кружила по сцене и словно бы пыталась схватить в воздухе руками нечто несуществующее, жеманными и нежными жестами прикрывала глаза, призывала кого-то движениями плеч, изгибом тела, однако этот кто-то к ней не шел, и тогда танцовщица заламывала руки, потом переплетала их змеями и вновь начинала кружить по сцене...

Малика выключила телевизор и опять вышла к воротам, но Рустам (для нее он был Самадом) все не шел.

Чтобы убить время, она попыталась заняться хозяйством, но все валилось из рук. Душа ждала чего-то, и в этом ожидании сейчас была ее жизнь.

Села в шезлонг, нервно перелистывала журнал. Но и это не успокоило. Бросила журнал на ковер, вскочила и начала ходить.

Решила ужинать одна. Вошла на кухню, но, увидев поджаренные в сале мясо, лук и морковь, поняла, что есть не сможет, закрыла казан крышкой и вернулась в спальню. Сняла платье, надела ночную рубашку — подарок Адыла Ниязовича после поездки в Варшаву, сорвала и бросила на кресло китайское покрывало небесного цвета с затейливой вышивкой и упала в постель.

Адыл Ниязович с двумя спутниками сел в аэропорту в «Волгу», присланную для них из академии, и скоро был на своей улице. Попрощался с коллегами, и машина нырнула за поворот.

Посмотрел на небо, на дом — темно, тихо, ночь.

Открыл своим ключом калитку, запер изнутри и направился к веранде.

Адылу Ниязовичу было пятьдесят девять. Выглядел он для своих лет не старым, был строен, весьма представительен и импозантен; под обычно нахмуренными бровями серые пронизательные глаза смотрели строго и серьезно, отчего его собеседники нередко начинали сомневаться в том, что говорят. Крупные и четкие черты лица, резко очерченные губы свидетельствовали об уверенности в себе и воле, возможно, даже упрямстве.

Адыл Ниязович тихо, чтобы не беспокоить Малику, поднялся на веранду, переоделся в домашнее и направился в ванную. Приведя себя в порядок, вошел в спальню.

Малика сладко спала, тончайшая рубашка не могла скрыть беломраморного тела.

Ниязов, опасаясь испугать ее, тихо присел на край постели и с нарастающим волнением вглядывался в спокойное целомудренное лицо Малики, а потом, слегка касаясь губами, стал целовать ее шею у мочки уха, подбородок, краешек губ... Она шевельнула тяжелыми, будто свинцом налитыми руками, положила их на плечи склонившегося к ней Ниязова и легко и беспомощно погладила их.

— Вы пришли?...— спросила она сквозь сон, с трудом шевеля губами.

— Пришел...— ответил Ниязов дрожащим голосом.

— Я так долго ждала...— прошептали губы Малики.— Я же сказала вам, чтобы вернулись пораньше.

— Не получилось... много дел...— невольно подлаживаясь под тон Малики, прошептал Ниязов.

Малика легонько погладила плечи и шею Ниязова, потом волосы, скользнула по лбу, щеке — и словно ее огнем обожгло: резко отдернула руку, распахнула полные ужаса глаза, отвернулась, уткнулась в подушку и окаменела.

— Не бойся, не бойся, это я,— успокаивающе сказал Ниязов и рассмеялся.— Я пришел к тебе.

Она сжалась в комочек и лежала, закрыв глаза.

Ниязов что-то говорил, гладил плечи Малики, утешал ее, потом стал осыпать поцелуями.

Малика лежала, свернувшись клубочком, не отвечала на слова и ласки, только вздрагивала — каждый поцелуй Ниязова был для нее как прикосновение холодной монеты к жаркому телу.

Потом Ниязов лег и притянул беспомощное и бесстрастное тело обмякшей Малики к своей груди...

Через полчаса Малика, лежа на спине и глядя пустыми глазами в потолок, спросила:

— Вы видели того парня? Он уже пришел?

— Что за парень? — забеспокоился Ниязов.

— Товарищ вашего Рустама, приехал на несколько дней раньше него... — тон у нее был безжизненный, деревянный. — Живет здесь три дня, ждет вас. Что-то ему вам надо передать. Спит в комнате Рустама.

— Что же он хочет передать?

— Не знаю, мне не сказал, — ответила Малика равнодушно. — Наверняка ваш сын наказал ему передать вам, чтоб гнали скорее свою новую жену.

— Так он ведь ничего о нас не знает! Не может он такое передавать... — возразил Ниязов, однако в голосе его не было уверенности.

— Почему не может? Знает, наверное, слухи, поди, дошли...

— Ну и я же не обязан отчитываться перед ним.

— Рустамджан — ваш сын. И ему некуда возвращаться, кроме как в этот дом. Нужно было как-то предупредить его, избежать столкновения.

— Уж если на то пошло, Рустам не маленький мальчик, в опеке не нуждается. Если совместная жизнь с нами окажется для него обременительной, может устроиться отдельно.

— Я все же очень боюсь приезда Рустамджана, — вздохнула Малика. — Непременно случится скандал. Может, чтобы не доводить до столкновения, мне лучше уйти?

— Неужели ты думаешь, я не смогу защитить тебя! Уже столько вместе всего перенесли, столько напастей... И вот наконец все успокоилось, стало на свои места — и ты опять боишься!

— Вы уже поправились и окрепли. Скоро вернется ваш сын, сможет вам помогать. А женится он, тогда и невестка будет смотреть за вами. А я теперь могу уходить.

— Я просил тебя быть со мной не только оттого, что ты ухаживала за мной, когда я заболел. Есть причина более

важная, и ты ее знаешь. Если кто и полюбит тебя, то уж не больше моего.

— Может, и так...

— Но ведь ты вышла за меня не только из сострадания? — явно нервничая, спросил Ниязов.

— И из сострадания, и уважение тут было, и любовь тоже...

— Ты помнишь, я предупреждал тебя, что впереди у нас много трудностей, помнишь, что ты ответила? Ты сказала: хорошо, я перенесу любые трудности и унижения, без вас я жить не могу, как оставлю вас одного?..

— Я и сейчас могу это повторить, — спокойно ответила Малика. — В моих словах не было неискренности.

Ниязов не выдержал, в сердцах поднялся, стал перед ней:

— Тогда что означают все эти разговоры, что означает желание уйти отсюда?

— Видно, с меня достаточно уже тех обид и оскорблений, через которые пришлось пройти. Устала я. Если сейчас, с приездом вашего сына, мне опять придется пережить унижение, боюсь, у меня уже не хватит сил бороться.

— Какая еще борьба, о чем ты! — твердо перебил Ниязов. — Предоставь все мне, я сам все улажу.

Ниязов понимал и оправдывал чувства и опасения Малики. За свои двадцать четыре года она успела хлебнуть горя.

Когда Малика вспоминала свою жизнь, она не могла выделить ни одного спокойного, безмятежного года. Только четыре месяца с Лазизом были счастьем, но и они окончились быстро и страшно.

Во время войны, в сорок третьем, мать подбросила ее, новорожденную, на порог роддома в квартале Гулистан. Акушерки подобрали сверточек, выходили. Потом Малика попала в детский дом; с ним вместе, возвращавшимся из эвакуации, оказалась сначала в Киеве, затем в Минске. В этих скитаниях и мытарствах девушка не растерялась — у нее был природный ум; она училась в ФЗУ, работала на стройке, окончила вечернюю десятилетку. Потянуло в родные места — она возвратилась в Ташкент. Поступила на филфак университета. Студенткой познакомилась с Лазизом, молодым парнем, летчиком, а на последнем курсе вышла за него замуж. Но судьба пожалела ей счастья: через два месяца Лазиз погиб, разбился; Малика даже не смогла увидеть его перед похоронами. Тогда, потрясенная, она дала себе слово больше не выходить замуж и все свое

время отдала науке. Окончила университет, поступила в аспирантуру — Ниязов был ее руководителем. Тогда она стала интересоваться искусством, музыкой, посещала симфонические концерты, бывала в музеях, на выставках, занялась языками. Лингвистика стала ее специальностью. Ниязов своими знаниями и эрудицией, отцовской заботливостью и сильным, немелочным характером обворожил девушку.

У Ниязова умерла жена. Сам он заболел после этого, и дело кончилось инсультом. Профессор не вставал с постели, а Малика со своей подругой по имени Севар, тоже аспиранткой, по очереди навещали его и ухаживали как могли. Постепенно Ниязов стал поправляться, почувствовал себя лучше. Вскоре Севар заметила, что отношения между ученым и Маликой изменились, и перестала приходить. Может быть, даже она сама и развонила из обычной бабьей зависти, а может, и кто другой, — заинтересовалась общественность, Малику начали обливать грязью, поминая дом, автомобиль и прочие жизненные блага, связанные с именем Ниязова. Подруги отвернулись от Малики, в институте с ней не здоровались. Однако никакие нападки, злость и зависть не смогли разрушить союз Ниязова и Малики.

Когда профессор предложил ей узаконить их отношения в загсе, она то ли из стеснительности, то ли чтобы еще раз доказать себе самой, что она не хочет иметь отношения к имуществу Ниязова, отказалась. Сказала профессору, что согласна быть его женой, но с загсом попросила подождать.

И вот уже полгода она жила в доме Ниязова как хозяйка. Профессора вполне можно было назвать мужем, он стоил того, — и все же...

Порой, когда она видела его немолодое тело, складки и морщины, она, не отдавая себе в этом отчета, сторонилась его. Не то чтобы стыдилась или сожалела в выборе, нет, но какой-то холодок пробегал. И невольно замечала здоровых, крепких и статных парней вроде Рустама (для нее он все еще оставался Самадом), и тогда в душе ее творилось что-то непонятное.

Ниязов несколько раз принимался за письмо к сыну с желанием объяснить перемены в своей жизни и в их общем доме, но так и не решился на объяснение — любые слова казались ему малоубедительными, а значит, и недостойными. Он обещал себе, что напишет завтра, послезавтра... Потом он решил: пусть сын вернется, тогда он

и поговорит с ним как мужчина с женщиной. Старался держаться бодро, беззаботно, но где-то в уголке сознания притаилась тревога — он побаивался встречи с Рустамом. Профессора, честно говоря, даже больше, видимо, устроило бы, если б Рустам женился и остался жить в Ленинграде. Его страшила мысль, что Рустам придет и, увидев в постели своей матери молодую женщину, поднимет скандал. Жизнь Ниязова все эти месяцы, когда Малика стала хозяйкой в его доме, была спокойна и радостна, и, если б его вдруг лишили этого спокойствия и радости, он бы считал, что его лишили жизни.

15

Малика встала рано, приготовила завтрак, полила двор, собрала черешню. Причесалась.

Приоткрыла дверь комнаты, где спал Рустам, позвала тихонько:

— Самад-ака...

Рустам проснулся, повернулся на постели лицом к девушке.

— Сабох-ан-нур! — Малика постаралась улыбнуться, тон ее выдавал нетерпение. Невольно шагнула в комнату.

— Сабох-ан-нур! — Рустам улыбнулся в ответ, просыпаясь. Потянулся, заложил руки за голову.

Малика глянула на бугры мышц, на голые плечи парня и слегка покраснела.

— Ах вы, бродяга, — с печальной улыбкой укорила она. — Что ж это вы до полуночи носа в дом не кажете? Признавайтесь честно, когда пришли?

— На рассвете... — теперь в свою очередь смутился Рустам.

— Ну ладно, хватит валяться! Вернулся хозяин дома, которого вы так ждете! — уже суше произнесла Малика, отходя к двери. — Одевайтесь. Домулла сейчас бреется. Скоро он выйдет. Сможете передать ему то, что собирались.

Когда Рустам вышел в гостиную, он услышал в спальне жужжанье электробритвы, невнятные голоса.

Наконец у порога появился отец, за его плечом стояла Малика.

Увидев сына, Ниязов опешил. На его лице были и радость, и тревога.

Рустам рассмеялся, поднялся с кресла.

Профессор быстро оглянулся на Малику:

— Да это же Рустам!

Отец и сын обнялись, расцеловались.

Рустам поверх плеча отца глянул на побледневшую, застывшую в дверях Малику и подмигнул ей.

Малика не знала, что делать. В ее сердце боролись противоречивые чувства, в растерянности она не могла решить, оставаться ли ей в гостиной или же уйти.

— Вон ты какой стал!— Ниязов, держа Рустама за плечи, откровенно любовался им.— Повзрослел. Хотя это, наверное, из-за бороды.

— А вы помолодели, отец! — Рустам снова перевел взгляд на Малику, она вспыхнула и скрылась в спальне.

— Вон ты какой!..— повторил профессор, не обращая внимания на ироническую нотку в словах Рустама. Он до того разволновался, что не находил иных слов и выражений.— Вон ты какой!..— Видимо, почувствовав себя неловко, бодрым голосом позвал:— Малика!

Малика вышла из спальни, с жалкой улыбкой остановилась в двух шагах от профессора. Замерла, покорно склонив голову.

— Это же Рустам! — смеясь, сказал ей профессор.— А ты и не узнала? Видела ведь фотографии!

— Там он был без бороды... И моложе...— тихо ответила Малика.

— Да, конечно...— Стараясь побороть замешательство, Ниязов заговорил громко и весело: — Да я и сам с трудом узнал его! — Тронул Малику за плечо: — Ну что ж, в таком случае знакомьтесь заново!

Малика, подчиняясь требованию профессора, протянула руку, и Рустам крепко пожал ее. Смотрела она печально, с укоризной.

— Да, вот оно как неожиданно получилось,— с подчеркнутой радостью говорил Ниязов. Потер ладони и, словно закончив на этом официальную церемонию встречи и представления, весело распорядился: — Ну-ка, Малика, если готов плов, подавай скорее. Сегодня суббота, все мы дома, спешить нам некуда.

За завтраком Малика и Рустам молчали. Ниязов с подробностями рассказывал о поездке и совещании, о научных новостях. Он явно не хотел, чтобы в беседе затрагивались какие-либо опасные темы. Видя же погрустневшее лицо Рустама, понимал, что сын в душе упрекает его, и потому особенно старался развеять дурные мысли Рустама, рассмешить, привести в хорошее настроение.

Рустам, в свою очередь, хоть и чувствовал беспокойство отца, но делал вид, что ни о чем не догадывается и целиком занят своими мыслями и заботами.

Закончив рассказывать о совещании, профессор принялся спрашивать сына о его последних картинах, о планах и замыслах, похвалил репродукцию в журнале и под конец заявил — он доволен тем, что Рустам отыскал свою дорогу, он гордится сыном...

В таких разговорах прошло полдня.

Солнце жгло сквозь открытые окна гостиной, — профессор и Рустам перешли к бассейну, собрались купаться. Малика, объявив, что ей надо за покупками, удалась — понимала, что отцу и сыну предстоит объяснение.

Ниязов, оставшись в японских нейлоновых плавках, осторожно спустился в воду по цементным ступенькам и поплыл. Искупавшись, поднялся наверх, набросил на плечи полотенце и сел на скамеечку.

Рустам нырнул, но, даже когда плыл под водой, неотвязная мысль не оставляла его: «Малика, оказывается, новая жена. Как я должен вести себя теперь? Пойти на скандал? Но это значит не пожалеть отца... у него слабое сердце. Тешится, радуется... мне-то что... Но Малика — как она согласилась?.. Что это с ее стороны? Да, как мне быть — вот задачка!

Он вылез из воды и уселся на краю бассейна, закурил.

Отец на скамейке, с полотенцем на шее, походил на боксера. Отбивал рукой какой-то игривый ритм.

«Бедная мама... — подумал Рустам. — Кто бы мог предположить. Всего через год... Сколько самодовольства, какая удовлетворенность — будто только сейчас и познал радость жизни. Хотя на его месте, да еще оправившись от болезни, каждый бы, наверное, так... За умершими ведь никто не торопится. Только вместо Малики могла бы оказаться другая, постарше. Конечно, раз она по своей воле пошла — чего уж их судить... Да и все равно кто-то ведь должен смотреть за пожилым человеком — готовить, следить за здоровьем. Я, конечно, не могу в таком деле сравниться с женщиной...»

«Пожилый человек...» Рустам поймал себя на том, что даже в мыслях не назвал отца отцом. Словно со смертью мамы и появлением здесь Малики оборвались все родственные связи. «Да, отец стал чужим, оттого и разговор никак не клеится. Конечно, и Малика подпортила... сказала бы все сразу — я бы к возвращению отца уже свыкся,

успокоился. А теперь я буду спать у себя, а за стеной — она с отцом... О господи!..»

— Рустам! — нарушив течение его мыслей, обратился к нему отец. — Время идет. До каких пор будешь жить один? Пора бы подумать и о семье. Годы быстро летят, не опоздай.

— К чему мне торопиться? — Рустам не сдержался, ответил язвительно: — Дождусь вашего возраста. (Отец промолчал.) Теперешние девушки что-то не обращают внимания на молодых, видно, молодые их не удовлетворяют.

«Началось», — подумал профессор с горечью. Сразу напомнило о себе сердце. Он с упреком глянул на Рустама.

— Не торопись судить меня, сын. На моем месте, я думаю, каждый сделал бы то же.

— Жаль только, что на свадьбу меня не позвали, — желчно продолжил Рустам. — Я бы и товарищей пригласил.

— О какой свадьбе ты говоришь, сынок?.. — с обидой, не принимая тона Рустама, сказал Ниязов. — В моем-то возрасте — какая свадьба? Нелепо!

— А жениться на своей ученице, молоденькой девушке, не дождавшись и года после смерти жены, — это как? Не нелепо?

— Когда человека вынуждает необходимость, выбирать не приходится.

— Да, прежде вы рассуждали иначе, отец. Ваши взгляды обновились — так сказать, помолодели. Вижу в этом положительное влияние молодой супруги.

— Ну что ж, упрекай, упрекай меня, Рустам! — Ниязов отвечал уже сердито. — Упрекай, да не забывай, кто из нас отец, а кто сын. Пока еще я не давал тебе права говорить со мной таким тоном. За свои поступки я отвечаю перед своей совестью и не желаю, чтобы кто-нибудь вмешивался в мою личную жизнь! Даже родной сын!..

— Я и не собираюсь вмешиваться, — сдерживая себя, ответил Рустам. — Но именно как сын я стыжусь ваших... несерьезных поступков, стыжусь перед людьми. Ведь это... — Рустам подыскивал слова, чтобы сказать свое, но не оскорбить отца. — Это — неестественно. Это, наконец, безнравственно! Человек, имеющий уже внука, женится на молодой девушке!

— Когда я лежал и умирал, ты приехал, ты подал мне пиалу с водой? Или, может, твоя сестра приехала? Только бедная Малика и была со мной — ночей не спала, выхажив-

вала меня. Можно сказать, она меня и поставила на ноги. Я этого не могу забыть и никогда не забуду. Так и знай! — голос профессора был тверд. — И потом... это тебе тоже надо знать: мы с ней жить не можем друг без друга, она меня любит, и я ее тоже.

— В вашем-то возрасте — и такие слова. Не смешно, а?

— Ты мне в свои тридцать лет кажешься стариком. Так что когда проживешь с мое и вдруг скажешь такие слова — может, и будет смешно. Любовь не выбирает возраста. На каком основании ты хочешь лишить меня права любить? Да, я уже немолод — но способен на более высокую любовь, чем вы, молодые.

— Может быть, это и так, отец, не спорю. Но ведь вы разумный человек, неужели не задумались — быть может, девушка заинтересована... Все-таки дом, машина, деньги, поездки — неплохая приманка, разве нет?

— Если бы Малика думала обо всем этом, как ты говоришь, она потребовала бы, чтобы мы зарегистрировались. А она, к твоему сведению, отказалась.

— Хорошо, пусть так. Но когда вы заболели — почему не дали мне знать? Самолетом — всего пять часов. Я бы на другой же день был здесь. Но вы не захотели, вы боялись. Боялись, что я спугну молодую жену.

— Напрасно ты так. Между нами в то время не было никаких отношений.

— Я не вижу логики. Почему мы, ваши дети, не узнали от вас ни о вашей болезни, ни о женитьбе? Вы говорите, что она подняла вас на ноги — вас, известного ученого, академика, оставленного без помощи и государством, и нами, детьми, — так получается? Все это не вызывает доверия. Думаю, намерения ваши мне ясны — после смерти матери пожить всласть, весело, потому и скрыли все от меня с сестрой.

— Я прожил с твоей матерью немногим меньше сорока лет! — Ниязов заговорил повышенным тоном. — И твоя мать ни разу не усомнилась в моей порядочности!

— Вот как! А вы не помните, как я восьмилетним мальчишкой убежал из дома и меня только через неделю нашли с милицией? Вы, наверное, до сих пор не знаете, почему я тогда сбежал. А дело в том, что я, возвращаясь из школы, увидел вас в окне Розии Алимовой, вы с ней стояли обнявшись. Я потом чуть не год швырял камни ей в окно, бил стекла. Так что не притворяйтесь ангелом!

— Довольно! Все мы не ангелы, если уж на то по-

шло, — сердито ответил Ниязов. — Я больше не желаю обсуждать этот вопрос, хватит! Если ты считаешь меня отцом, я требую, чтобы на эту тему больше ни слова. И еще... Если в твоём сердце есть хоть капля уважения ко мне, прошу тебя, не тревожь Малику, веди себя корректно. Она ни в чём не виновата. — Профессор поднялся, показывая, что считает разговор оконченным.

— Ладно... — сдерживаясь, но все же зло бросил Рустам. — Одно только хочу добавить. Материну кровать...

— Хорошо, вынесем её в твою комнату.

— Нет, пусть остаётся, где стоит.

Ниязов кивнул и ушел.

Рустам смотрел ему вслед и уже жалел, что затеял этот разговор, унижительный для обоих. «Изменить уже ничего нельзя, только отца обидел да и сам разнервничался. Отец теперь не забудет оскорбления... как бы не заболел... В конце-то концов, почему он должен прожить остаток жизни в одиночестве, пусть будут хоть какие-то радости... И мне самому от этого будет только легче...»

И как ему теперь держаться с Маликой? Кто она для него — мачеха? Друг или... нет! Третьего не должно быть, не может быть! В первом случае нужно держаться подале, во втором — можно сделаться единомышленниками, дружить.

Рустам вытянулся на скамейке и, занятый своими мыслями, не слышал, как подошла Малика. В душе его боролись симпатия и уважение к девушке, с одной стороны, и ревность — с другой.

— А ну-ка поднимайтесь!

В памяти Рустама мгновенно воскрес недавний вечер. Тогда она тоже подошла и сказала... Как недавно — и как давно!

— Поднимайтесь! — повторила Малика.

Рустам приоткрыл глаза — она стояла перед ним с тем же, что и в тот раз, одеялом в руках. Он тут же поднялся.

— Зачем вы беспокоите себя? — спросил так, словно ничто не переменялось с минувшего вечера.

Малика не ответила, молча постелила одеяло.

— А где отец?

— Прилег. Пожаловался на сердце.

— Конечно, пусть отдохнет, — ответил Рустам, стараясь, чтобы девушка не могла догадаться о недавней ссоре здесь.

— Я смотрю, у вас тут бутылка с коньяком...

— Потерял свой сон, хочу снова поймать его.

Малика не поняла или сделала вид, что не поняла смысл фразы.

— Почему вы так поступили? Почему обманули меня, скрыли свое настоящее имя?

— Чтобы не испугать вас.

Малика посмотрела испытующе. Она и хотела поверить, и сомневалась.

— Это правда?

— Правда, — искренне ответил Рустам. — А почему вы скрыли от меня, кто вы?

— Чтобы не испугать вас, — девушка улыбнулась.

— Это правда?

— Правда.

Они посмотрели друг другу в глаза и улыбнулись.

— Все же я напишу ваш портрет. Вы там будете собирать черешню. Так и назову его — «Черешня».

На сердце у Малики потеплело.

Однако Рустам тут же поторопился сделать шаг назад и обозначить их новые, более далекие и прохладные отношения:

— Как же мне теперь вас называть? Буду обращаться к вам «аяча» — маленькая мама. Что вы на это скажете?

Чтобы не показать слез, Малика резко повернулась и убежала в свою комнату.

Рустам снял брезентовый чехол с отцовской «Волги», вымыл машину — она посветлела и заблестела.

Вчера Ульфат попросила, чтобы Рустам свозил ее на кладбище, на могилу его матери, и теперь она с цветами в руках ждала его у литературного музея.

Рустам усадил ее рядом с собой и направил машину в сторону кладбища «Минар».

Подступал вечер. Прохладный ветерок врвался в окошко, играл волосами Ульфат.

— В начале июня, — сказала девушка, — мы отправляемся на гастроли.

— Далеко?

— Казань, Уфа, потом Баку. Два месяца. Говорят, хорошие места — леса, Волга. Может, и ты присоединишься?

Рустам покачал головой:

— Я ведь только что с севера. Теперь думаю податься в какое-нибудь горное селение, поработать там.

— Один поедешь?

— Нет, с отцом и еще одним человеком.

— Кто это?

— Ты его не знаешь.

Рустам затормозил у ворот кладбища.

Вдалеке проворчал гром, край неба обложили черные тучи, подбирались к солнцу. На кладбище потемнело, цветы, камни, ограды словно бы поблекли, деревья выглядели насупившимися и помрачневшими.

Ульфат положила цветы на мраморную плиту надгробья, присела рядом на скамеечку.

Рустам прижался щекой к памятнику и стоял так, стараясь сдержать слезы.

Когда они уже собирались уходить, Рустам сказал девушке:

— Помнишь, я говорил, мальчишкой жил в кишлаке. Хочешь, поедем туда, покажу тебе мою любимую лужайку. Там и напишу твой портрет.

— Конечно, хочу...

16

Иззат стоял у двери на балкон, смотрел на косые струи дождя, на радугу где-то над окраиной города и тихонько шептал рождавшиеся строки стихов. Пальцы его невольно отбивали ритм.

На столе, на пожелтевшей газете, — шахматная доска с фигурами, партия прервана на середине. На подоконнике — блокнот, перечеркнуты стихотворные строфы.

Иззат вспомнил детство, кишлак, родителей. Отец и мать работали в колхозе, он был старшим из восьми детей. Приходилось присматривать за малышами, а если старшие задерживались, то и донить корову.

Однажды он возвращался с мельницы, и его застал такой же ливень. Он укрылся под ишаком, на котором вез муку, и переждал дождь. Вернулся домой с мешком теста.

У отца был добрый характер. Он не стал ругать сына, только и сказал: «Все равно бы матери пришлось делать тесто».

И в том, что Иззата потянуло к поэзии, — тоже заслуга отца. В доме было пять или шесть книг стихов, отец частенько читал их вслух. По этим книгам научился чтению и письму и маленький Иззат. Он помнит, как был счастлив отец, узнав, что его первые стихи поместили в школьной стенгазете. А его самого это, казалось бы, незначительное событие потрясло и навсегда привязало к сочинительству.

Окончив пединститут, Иззат стал работать в сельской школе. Стихи его появлялись в районной, потом областной

газете. Наконец, подборку его стихов дала и республиканская газета. Новое имя вызвало интерес, в редакциях заговорили об Иззате. Его пригласили в Ташкент на семинар молодых поэтов — и здесь его ждал настоящий успех. После семинара редактор республиканской газеты предложил ему пойти работать в редакцию. Однако он вернулся в кишлак — не хотел оставить своих школьников посреди учебного года. Но летом, узнав, что родители собрались сватать ему соседскую девушку, уехал все-таки в Ташкент.

Сейчас у него вышло уже четыре сборника стихов, книги его расходятся быстро, на его выступления собирается молодежь.

Полгода назад был вечер поэзии в университете. Его стихи там читала молоденькая студентка, читала так взволнованно, что Иззат даже поцеловал ей руку. Зал зааплодировал. Девушка покраснела как мак и сбежала со сцены. Это была Шахноз. В ту ночь, взволнованная, она так и не смогла заснуть.

Иззат влюбился с первого взгляда, душа его пела.

Вскоре он получил письмо от группы студентов — они ждали его новые стихи, просили, если можно, прислать. Письмо от имени своих товарищей подписала Шахноз.

Разве мог Иззат доверить свои новые стихи почте! Конечно же он сам отнес их... Шахноз так растерялась, что даже не поблагодарила — убежала.

Иззат не обиделся, нет — сердце его ликовало. После этого новые его стихи первой слышала Шахноз...

И вот теперь он пытался вложить в стихи боль своей души, сказать в них, как он, умеющий найти путь к сердцам тысяч людей, потерял путь к сердцу любимой. Он мучился, не мог найти нужных слов.

В дверь постучали, он не ответил, постучали еще.

— Заходите, — крикнул Иззат, — открыто!

Снова послышались несмелые шаги, затем показался чемодан, мокрый плащ...

Сердце у Иззата замерло.

У двери стояла Шахноз. Смущенно улыбалась, пряди каштановых волос прилипли к мокрой щеке, с плаща капало...

— Не прогонишь?

Горячая волна окатила Иззата, захлестнула, наполнила сердце, подступила к горлу — он хотел сказать и не мог. Тогда тихонько пошел навстречу девушке.

Она поставила чемодан на пол, шагнула к Иззату и опустила голову ему на грудь.

Рустам сидел, опираясь спиной о ствол чинары, на тихой улочке кишлака, ребяташки обступили его полукругом. На страничках его альбома один за другим появлялись наброски. Он отвечал на вопросы кишлачной детворы, объяснял и спрашивал сам.

По другую сторону улочки тянулась невысокая стена, сложенная из камней, за ней — плоские крыши, дворики, над ними, подобно восклицательным знакам, вздымались к небу могучие тополя. За его спиной посверкивал под солнцем горный ручей — сай, разбивался о глыбы валунов.

Мальчишки сопели от напряжения, шмыгали носами, глаз не могли оторвать от альбома, подталкивали друг друга, выражая восторг.

— Твой отец идет,— сказал один из мальчишек товарищу, заглядевшемуся на работу Рустама.

Рустам поднял голову: по улице устало шел человек лет пятидесяти, не брившийся, наверное, с неделю и оттого выглядевший стариком, нес за плечами вязанку дров; человек вел за собой черную корову — на боку метка, намазано глиной; корова двигалась лениво, прикрывала веки.

Дальше по улице показалось стадо коз и баранов, слышались зовущие женские голоса, крики детей.

Только сейчас Рустам ощутил, что наступил вечер. Он закрыл альбом, собрал вещи. Попрощался с ребяташками и по тропинке начал спускаться к саю.

Горное селение, близ которого остановились Рустам и его спутники, звалось красивым именем Гулистан (Страна роз), а прежде было известно как Мазар-кишлак (селение у кладбища). Дома и сады тянулись по обе стороны сая километра на три. В этом закрытом горами месте поздно светало и рано темнело, а со стороны снеговых вершин, вдоль ущелья, пробитого за века саем, дул прохладный ветерок. И весна здесь была поздняя, рано приходила осень. Когда в Ташкенте у плода урючины уже темнела косточка, здесь только начиналось цветение. И если пожелаешь, можно было увидеть одну за другой две весны: сначала в Ташкенте, потом здесь. В этих местах мгновенно могла налететь туча с дождем и так же быстро могло вновь засиять солнце.

Рустам с отцом выбрали место в двух километрах от кишлака, выше по ущелью. Лужайка, тянувшаяся от склона горы вниз к саю, оставалась зеленой и свежей все

лето, трава тут была не пожухлая от жары, плакучие ивы хранили прохладу и отдавали ее путнику, непрерывный шум проносающейся воды сначала утомлял, но потом становился привычным и даже необходимым, как песня этого зеленого уголка.

Ниязов, тепло одетый, сидел с удочкой на берегу у водоворота, Малика готовила ужин на переносной газовой плитке.

Рядом с «Волгой» был приготовлен раскладной столик. На скатерти появились тарелочки с помидорами и огурцами, зелень. Три раскладных алюминиевых стула ждали своих хозяев. Тихонько наигрывал транзистор, на плите шипела сковорода.

— Добрый вечер!

Малика обернулась, лицо ее осветила улыбка:

— Добрый вечер!

Рустам — руки его были заняты — выставил вперед левое плечо, глазами указал на кармашек своей рубашки:

— Берите, это вам!

Малика наклонилась, посмотрела. Кармашек был набит зелеными еще плодами урючины.

— Спасибо! — Малика засмеялась и полезла пальцами в кармашек, выуживая зеленые урючины, собирая на ладонь.— Вы и завтра хотите бродить где-то до самого вечера?

— Для того и приехал сюда. А что у нас на ужин?

— Форель! Ваш отец наловил.

Рустам открыл дверцу «Волги» (он спал в машине), разделся, взял полотенце и спустился к саю.

Отец собирал удочки.

— Как рыбалка?

— Сегодня уже больше ничего не будет. Пойдем ужинать.

Пока они лакомились форелью, солнце зашло за гору и быстро стемнело.

Профессор устроился в палатке, включил лампу, пивавшуюся от аккумулятора, и взялся за чтение.

Малика мыла посуду.

Рустам оделся потеплее, прихватил одеяло и, спустившись к саю, устроился на большом валуне, еще хранившем дневное тепло.

Шумел ручей, торопясь вниз, к долине, издали донесся крик совы. Огонек сигареты Рустама вспыхивал и исчезал в темноте, как крохотный маячок над волнами.

Потом Рустам завернулся в одеяло, устроился у валуна

поудобнее. На сердце он чувствовал пустоту. Мешались обрывки мыслей. Увидел мать, потом представился отец, Малика, смеющаяся Ульфат. Рустам кружился безвольной щепкой в водовороте воспоминаний. Он засыпал...

Наутро он поднялся чуть свет и, пока Малика с отцом еще спали, отправился с этюдником вверх по ущелью, видя перед собой, казалось бы, и недалекие, но недостижимые снеговые вершины.

Возвратился он к обеду.

Отец сидел на валуне с газетой, иногда взглядывал на заброшенную удочку. Малика устроилась поодаль, чтобы не мешать ловле,— положила на два валуна в потоке досточку и сидела на ней, болтала в воде ногами. На ней ничего не было, кроме голубого купальничка.

— Есть хотите? — крикнула Малика, радуясь его возвращению.

— Сначала искупаюсь.

Рустам разделся и вошел в воду.

Течение было стремительное, песок и мелкие камушки, сдвинутые ногой, уносило мгновенно. Приходилось ступать осторожно: поскользнешься — того и гляди, собьет с ног.

Малика, прыгая с валуна на валун, перебралась поближе, протянула руку — Рустам ухватился, поднялся на камень. Было тесно, они невольно соприкасались.

Не отпуская руки Рустама, Малика осторожно спустилась в воду, легла на дно и с удовольствием бултыхала ногами.

Профессор глядел на них с любовью — радовался их дружбе, тому, что не ревнуют друг друга.

Малика выбежала из ледяной воды, от которой коченеело тело; унимая дрожь, набросила на плечи полотенце и села рядом с профессором.

Рустам отвернулся.

Когда они все вместе пообедали, Рустам снова стал собираться.

— Опять вы уходите, — недовольно сказала Малика. — Куда же теперь?

— Во-он на ту гору, — показал Рустам.

— Я тоже пойду, мне наскучило сидеть на одном месте. — Она посмотрела на профессора: — Хорошо?

— Конечно, иди, — разрешил профессор.

— И вы с нами! Посмотрим на ущелье с высоты! — предложила Малика.

Ниязов, конечно, не прочь бы был отправиться с молодыми, но приходилось помнить о сердце. Не идти, а тащиться, тяжело дыша и сопя...

— Нет уж, — сказал он Малике, — идите одни. А для меня лучше рыбалки нет ничего. Успокаивает нервы. А потом я подремлю в палатке.

Когда Рустам и Малика, порядком утомившиеся, поднялись к ближней вершине, открылся следующий склон и другая вершина — более высокая.

— Уф, до чего же я устала! — Малика присела на камень и глянула назад, вниз, где блестел серебряной лентой поток, где под лучами солнца дремали среди зелени садов дома в кишлаке. — Как хорошо! Только у меня от высоты дух захватывает. Почему вы не напишете все это?

Рустам лишь пожал плечами.

— А вы ходили на выставку, о которой я вам сказала?..

— Ходил.

— Ну и как, понравилось?

— Неплохо.

— Может, я не до конца понимаю... Но мне картины этого художника показались слишком уж статичными. Фигуры застывшие, нет динамики — как будто мгновенный фотоснимок...

— Динамика может быть не только внешняя, но и внутренняя, это труднее выразить, но тут получилось...

Пока они разговаривали, небо над ущельем затянули облака, пейзаж внизу потускнел, виделся теперь словно бы сквозь кисею.

— Если вы утомились, отдохните здесь и возвращайтесь, а я пошел... — Рустам поднял этюдник и быстро зашагал по склону.

— Это как же? Вы меня оставляете одну? — Малика вскочила с камня и бросилась следом за Рустамом. Почти добежала — и споткнулась, упала.

Рустам услышал, как она вскрикнула, оглянулся.

Девушка, морщась от боли, держалась за ушибленное колено и с обидой смотрела на Рустама. Он остановился в нерешительности.

— Видите, что получается, если вы бросаете меня!

Рустам поспешил к ней. Присел на корточки, осмотрел ушибленное колено. Открыл этюдник, достал пузырек со спиртом, осторожно смочил ссадину — девушка сморщилась и застонала от жгучей боли.

Потом Рустам, не спрашивая разрешения Малики, снял с ее головы косынку и, чуть приподняв подол ее платья, перевязал ей колено.

Каждый раз, когда его рука касалась ее колена, у него замирало сердце. А сама Малика, очень спокойно подчиняясь его воле, опустив взгляд, казалось, внимательно следила за его движениями — как он по-мальчишески серьезно ухаживал за ней, — и в сердце ее проснулось и тихо, но настойчиво нашептывало о себе желание приласкать его.

Перевязав колено, Рустам помог девушке подняться.

— Придется вам спуститься вниз. — Категоричностью тона он пытался скрыть смущение и желание остаться с ней. — Вы не сможете подниматься...

— Нет, смогу! — не уступала Малика. — Женщины народ живучий.

— Хорошо, тогда вперед! — неожиданно легко согласился Рустам и направился дальше по склону, не ожидая Малики.

Она захромала следом, потом разошлась — и уже не отставала. Она сердилась на Рустама, что не поджидает ее, и угадывала, что он старается побороть себя, подчиниться разуму — и не может. И это еще больше влекло сейчас ее к нему. Его дерзость, почти грубость — все это проявление слабости перед влечением к ней, она понимала, и что-то в ней стремилось навстречу, и она торопливо шла, почти бежала за ним.

Между тем, как это бывает в горах, погода быстро менялась: над ущельем вдруг взгромозились тучи, вокруг потемнело. Упали первые капли дождя.

Рустам остановился, подставил ладонь. Капли посыпались чаще, дождь превратился в ливень. Подняв над головой этюдник, как зонт, Рустам вернулся к Малике, — она уже вымокла насквозь, платье прилипло к телу, по лбу и щекам сбегали струйки воды.

— Прячьтесь скорее! — Рустам знаком показал, чтобы девушка тоже стала под этюдник, освободил для нее место.

И девушка прислонилась виском к его щеке.

Ветер и дождь хлестали их.

Малика дрожала как в ознобе: она придвинулась ближе к Рустаму. Он держал над головой вовсе не защищавший их этюдник, и струи дождя не в силах были остудить сухой жар, сжигавший сейчас его тело. Какие-то мгновения они стояли так, остро ощущая тягу друг к другу. Потом Малика испугалась — отпрянула, резко повернулась и бросилась по склону вниз, в сторону палатки.

Мокрые волосы хлестали по плечам, ливень гнал ее — она, видно, ничего не замечала, мчалась, не разбирая дороги, там, где недавно поднималась с осторожностью.

Рустам застыл на месте, молча смотрел ей вслед. Она упала, поскользнувшись, поднялась, побежала дальше — он не бросился к ней.

Небо постепенно светлело, ливень сменился мелким дождичком.

Рустам очнулся наконец и, скользя и спотыкаясь, отправился в ту же сторону, куда побежала Малика, вниз по склону.

Из палатки навстречу ему выглянул отец:

— И ты тоже до ниточки? Переодевайся скорее.

Рустам что-то пробормотал в ответ, залез в машину и там прежде всего закурил.

Быстро распогодилось, потеплело. Умытый дождем склон сверкал под солнцем.

Отец сказал Рустаму:

— Малика, похоже, простудилась, не встает. На ужин просто поьем чаю.

Принес из палатки термос, хлеб, масло. В машине молча перекусили — каждый был занят своими мыслями.

Потом отец забрал термос и ушел в палатку, а Рустам включил транзистор и под какую-то грустную мелодию размышлял о том, что произошло и что могло произойти. На душе было тревожно, как будто еще должно было случиться что-то неприятное. Незаметно он задремал.

Проснулся оттого, что снаружи настойчиво постучали в окошко.

Уже было темно, светил месяц, снизу слышался рев разбухшей речки.

— Где она? — спросил Ниязов, когда Рустам открыл дверцу машины.

— Кто?

— Малика!

— Откуда мне знать?

Ниязов только вздохнул. Потом сказал зло и беспомощно:

— Пропала... исчезла... Два часа, как ушла из палатки.

Они на машине спустились к кишлаку — ни на дороге, ни в селении Малики не было.

Наутро собрали палатку и вернулись в город.

Ниязов бегом поднялся на веранду — тишина, в доме пусто. Он обошел все комнаты, вернулся в гостиную растерянный.

Рустам взглядом показал ему на листок, оставленный на столе, рядом с вазой. Отошел к окну и закурил.

Ниязов со страхом взял листок, поднес к глазам. Да, он предчувствовал. Несколько слов... «У меня не было выбора, я не могу оставаться в вашем доме. Прошу вас, не ищите меня. Будьте благополучны...»

Рука бессильно опустилась, листок лег на стол.

Ниязов молча ушел в спальню.

Рустам, чувствуя себя виноватым, хотя и не отдавая себе отчета, в чем именно, с ощущением пустоты в душе смотрел в окно, но видел не радостную зелень сада и сверкающее голубое небо, а легкую стремительную походку Малики, ее ладные, грациозные движения, ее глаза, иногда печальные, но чаще сияющие, слышал ее сочный, звонкий смех и понимал, что из дома вновь ушли тепло и радость,— все здесь казалось теперь холодным и ненастоящим...

Несколько дней Рустам работал, не выходя из дома. Он писал портрет Малики. Он писал ее такой, какой запомнил в последний день на реке: она прыгает с валуна на валун и словно застыла в полете, руки раскинуты, брызги сверкают на солнце радужным вихрем — весь облик девушки излучает счастье, молодое здоровье и радость бытия.

Картину Рустам назвал «Молодость».

Но душа его не успокоилась на этом. Досада, вина, чувство потери томили сердце.

Наконец он сообразил, что ему делать. Быстро оделся, схватил этюдник. Заехал за Ульфат:

— Собирайся, съездим в кишлак!

— Но я не могу сейчас! Я сегодня занята в спектакле!

— Ты же сама хотела!

— Ну так надо же было сказать заранее, я бы отпросилась... Ведь надо еще договориться о замене, ты же знаешь!

Рустам не стал настаивать, поехал один.

В кишлаке лишь поздоровался с женой дяди, раздал подарки ребятишкам и, отказавшись от чая, поспешил туда, куда и стремился,— к дорогому сердцу уголку: не терпелось увидеть свою лужайку, где играл мальчишкой со сверстниками, он ждал встречи с ней как с дорогим суще-

ством, разлука с которым непереносима. Там он излечится от сердечной боли, там найдет успокоение!

Вот сейчас, еще немного... Сейчас он напьется из родника своего детства, ляжет на чистую свежую траву, наглядится на высокие белые облака...

Вот уже ивы видны... Поредели, пожалуй? Но в детстве ведь все кажется большим!

Рустам перевел дыхание. Можно и не бежать, он уже рядом.

Лужайка ждет его.

Но чем ближе он подходил, тем отчетливее тревога возникала в сердце: места, бывшие когда-то родными, он не узнавал. Он не верил глазам. Где же его лужайка, свидетель мальчишеских игр, чистых радостей детства, где зеленая трава, россыпи цветов?

Рустам замедлил шаги, потом остановился.

Вместо лужайки перед ним лежало распаханное поле. Ивы почти все выкорчевали. Вокруг родника осталось лишь несколько тоненьких деревьев: родник, словно он мешал чем-то раскинувшейся вокруг пашне, булькал виновато и сиротливо и словно старался сделаться незаметным.

УЧКУН НАЗАРОВ

АВАРИЯ

*Авторизованный перевод с узбекского
С. Шевелева*

Она видела себя на безлюдном пляже, за полосой песка начинался лес. Петляла среди деревьев, кружила по пляжу — убегала. А он догонял, хотя больше делал вид, что нагнал и вот-вот схватит. Иногда она падала, выбившись из сил, он шуточно набрасывался, но она вырывалась, опять убегала, смеялась, дразнила, увлекала. И он вновь пыкался следом.

Обессиленная от беготни и смеха, она уже еле передвигала ноги, оборачиваясь, наставляла на него палец — как бы отстреливалась и спасалась таким способом от погони, а он смешно падал на песок, лежал, раскинув руки, делая вид, что сражен наповал.

Потом все начиналось сызнова.

И вдруг... Вместо того чтобы засмеяться в ответ на ее выстрел, вместо того чтобы притвориться и картинно упасть — выражение недоумения и боли на лице, страдальчески согнувшаяся фигура... и пятно крови на светлой рубашке, прижатое ладонью. Она закричала от страха — и очнулась, вынырнула из сна.

Какое-то время, не понимая, где находится, смотрела на мелькавшие по сторонам дороги купы деревьев, на саму дорогу, изгибом уходящую вверх, в гору.

Она сидела в машине.

Аббас расположился впереди, рядом с Шавкатом. Смотрел по сторонам, не почувствовал еще, что она проснулась.

«Жигули» лихо неслись по извиляющейся как змея серебристой ленте асфальта, мелькали стайки деревьев, проплывали холмы в праздничной алой накидке из тюльпанов. Впереди темнели вечнозеленые арчовые леса, а дальше и выше величаво открывались белоснежные вершины. Там, где деревья расступались, видны были притягивающие взгляд живописные лужайки — веселее зеленела тра-

ва, искрились под солнцем торопливые ручки. Заросли шиповника, джиды, боярышника — все цвело, все было полно жизни. И над всем этим великолепием, просвеченным шедрым золотым сиянием солнца, нежно голубело небо.

Наконец Шавкат выбрал место — свернул с шоссе на уютную лужайку среди благоухающих кустов шиповника. Заглушил мотор, вышел, огляделся, открыл обе дверцы с противоположной стороны, картинно повел рукой:

— С приездом, друзья! Приглашаю!

Наима и Аббас выбрались на волю.

— Ну как? — Шавкат с довольной улыбкой, словно личные владения, оглядел поляну.— Хорошо?

Аббас кивнул.

— Ах, я бы осталась тут жить навсегда! — мечтательно объявила Наима.

— Одна? — игриво поинтересовался Шавкат.

— ...И каждый бы день,— продолжала Наима,— выходила на дорогу с цветами и дарила их каждому, кто поедет мимо.

— И ничего не попросите взамен? — по тону Шавката ясно было, что у него есть что предложить девушке.

— Продавать цветы — нехорошо,— не приняла его намека Наима.— Это — кощунство.

— Поэтично, но спорно. Вам что же, никогда не приходилось покупать цветов?

— Я сказала — нехорошо продавать. А у покупателя нет иного выхода...— Наима, прикрыв глаза, с довольным видом подставила лицо солнцу, разговор с Шавкатом развлекал ее.

— Да бросьте вы! — вмешался Аббас.— Что вы заладили: продавать, покупать... Об этом и в городе можно поговорить.

— Ты прав! — Шавкат предвкушающе потер руки.— Мы ведь сюда отдохнуть приехали, развлекься. И так, с чего начнем? — он картинно закатал рукава.— Ты, Аббас, займешься шашлыком — стало быть, разводи огонь. Я обеспечиваю уют и комфорт с помощью шезлонга, коврика, скатерти и пиалушек. Вы, Наима, как единственная среди нас представительница прекрасного пола, украшаете нашу жизнь своим присутствием.

— Нет уж,— возразила Наима,— работать — так поворну.

— Тогда,— охотно согласился Шавкат,— вот вам по-

мидоры и прочие дары земли. Скатерть-самобранка — за вами...

Настроение поднималось.

Через пятнадцать минут приготовления были завершены: чуть в стороне дымил мангал для шашлыка, был поставлен шезлонг для Наимы, вокруг уставленной захваченными из города закусками скатерти постелены были одеяла, на одном из них лежала гитара. Бодро поигрывал транзисторный приемник.

Шавкат откупорил бутылку коньяка, разлил по пиалам.

— Может, не стоит? — все же спросил Аббас. — Ты за рулем. Мне одному не хочется. А Наима... Как ты?

— Безразлично. Как все. Могу выпить, могу и обойтись.

— А, ерунда! — махнул рукой Шавкат. — До вечера из нас все выветрится. Да и где ж еще выпить, как не в таком прекрасном месте! — Он театральным жестом указал на снеговые вершины. — Предлагаю тост. За эти горы, за все таинственное, безмолвное и недостижимое, что так влечет нас!

Поглядел на Аббаса, на Наиму — до конца ли поняли — и выпил.

Аббас, иронически улыбнувшись, чуть отпил, Наима хоть и неумело, глоточками, осушила, однако, свою пиалушку.

Шавкат, одобрительно хохотнув, отправил в рот крупную ягоду клубники и довольно потер руки.

— Так-с! Идем дальше. Объявляется конкурс... соревнование, можно сказать, чемпионат поляны! Расходимся в три разные стороны и собираем грибы — кто больше. Победитель получает все — весь улов счастливцу. Срок — ровно полчаса. Как раз угли для шашлыка поспеют.

Наима огляделась с опаской:

— Такие дикие места... Вдруг встретится кто-то... зверь какой-нибудь...

— Все звери — за горами, я эти места давно знаю, — уверенно объявил Шавкат. — Кроме нас, здесь никого, будьте уверены.

— Может, действительно лучше держаться вместе? — засомневался Аббас.

— Исключается, — перебил его Шавкат. — Иначе пропадет острота... Да и недоразумения могут возникнуть — допустим, я первым увидел гриб, а ты ближе оказался — ... хоп! — и подобрал. Рассуди после этого, кто прав.

— Ладно, я согласна! — Наима решительно поднялась с места. Азарт соперничества уже захватил ее, да и выпитое придавало смелости.

— Вот это — по-нашему! Учись, Аббас, как надо себя вести. Учись решительности у женщины! — Шавкат подмигнул приятелю.— Итак, кто куда? За дамой право выбора.

Наима огляделась — выбрала поросший можжевельником склон, наиболее безопасное место, как ей показалось: диких зверей там не видно было, во всяком случае. Взмахнула рукой:

— Я — вот сюда.

— Так... А я — в противоположную сторону.— Аббас решил включиться в игру.— По известной теории... Грибов там должно быть навалом. Скоро увидим, верное ли это правило: выслушать женщину и поступить наоборот.

— Принято! — обрадовался Шавкат.— Только, чур, подавать голос, а то здесь и заблудиться недолго. Хотя за полчаса далеко не уйдешь. Итак — вооружаемся!

Наима подхватила пластиковый пакет, Аббас — сумку из-под продуктов, Шавкат взял из багажника резиновое ведерко. Посмотрел на часы:

— Значит, ровно в половине второго встречаемся здесь. Опоздавшему, даже если собрал полную сумку, засчитывается поражение. Договорились? Внимание! Старт!..

Поздняя осень. Ветер бродил по опустелым улицам, сгребая в кучи пожелтевшие палые листья, снова гнал и кружил их по влажно поблескивающим мостовым.

Аббас стоял на остановке — с непокрытой головой, в коротком, по моде, плаще, с «дипломатом» в руке — ждал троллейбуса. Вскоре тот и подошел, но Аббас не сел, а лишь окинул внимательным взглядом людей на задней площадке — и отвернулся. Дверцы закрылись, троллейбус укатил.

Появился следующий. На задней площадке лицом к окну, спиной к салону стояла девушка — меланхолически обводила тонким пальчиком контуры прилипшего снаружи к стеклу желтого листочка. Скользнула взглядом по тротуару, где ожидал Аббас, и снова занялась рисованием на чуть запотевшем стекле.

Захлопнулись дверцы, троллейбус стал набирать ско-

рость, увлекая за собой вихрь сиротливо жавшихся к тротуару пожухлых листьев.

Аббас стоял на задней площадке, держался за поручень; снял запотевшие очки, протер, снова надел — волновался.

Что-то металлически лязгнуло над головой, троллейбус резко остановился; похоже, штанга соскочила с провода. Девушка невольно обернулась, Аббас поймал ее взгляд, они кивнули друг другу. Отворились дверцы, вышел водитель, стал прилаживать штангу. Девушка глянула на часы, спустилась из троллейбуса на тротуар и медленно двинулась в обратную сторону.

Аббас следовал за ней, поотстав шагов на сто.

Он увидел ее на скамье в сквере. Она сидела одна, на коленях держала маленький томик — похоже, стихи, голову чуть откинула назад, глаза прикрыла — точеную белую шею ласкали теплые еще лучи солнца. Почувствовав его взгляд, посмотрела — и прикрыла колени полой светлого ворсистого пальто, перевернула страничку в книге.

Аббас подошел. Девушка не поднимала головы.

— Разрешите? — Голос его прозвучал робко, неуверенно.

Девушка, словно не узнавая, молча подвинула к себе по скамейке свою черную модную сумочку — не понять было, то ли выразила недоверие, то ли освободила место. Поэтому Аббас спросил еще, садясь:

— Не помешаю?

— Вы это уже сделали. И, наверное, с какой-то определенной целью: что-то ведь заставило вас пренебречь целым рядом пустых скамеек и выбрать именно эту? — девушка взглянула внимательнее, изучающе. — Какие-то созревшие планы, а?

— Планы-то есть, да шансов маловато... — Аббас шутливо-сокрушенно развел руками.

— И планы ваши, надо полагать, родились в забарахлившем троллейбусе девятого маршрута?

— Стыдно признаваться, но дело обстоит именно так.

— Ну что ж, да здравствует ташкентский троллейбус, который дарит своим пассажирам возможность продемонстрировать решимость, остроумие и находчивость... — девушка усмехнулась и снова открыла томик стихов, рассеянно перелестывала — видно, отыскивала нужную страницу.

— Действительно спасибо девятому маршруту за то, что я мог там иногда видеть вас.

— Почему — спасибо? Мы чуть не каждый день встречаемся на задней площадке одного и того же троллейбуса, даже иногда здороваемся кивком. И так — с самого начала занятий в институте, с первого сентября.

— И тем не менее мы даже не знаем имен друг друга.

— Такая загадочность и придает встречам интерес, вы не находите?

— Конечно, но... Не могу же я каждый раз, проводив вас до дома, говорить: «До свидания, прекрасная незнакомка».

— Проводив? — девушка иронически усмехнулась. — Это тоже входит в ваши планы?

— Да, это пункт номер два.

— И много у вас этих... пунктов?

— Да наберется.

— Это уже становится интересным. А самый главный пункт — который? Или секрет?

— Да нет, не секрет. Главный, — Аббас говорил почти серьезно, — как можно скорее признаться, что я от вас без ума!

— Да, вы таки добились своего. Заставили меня усомниться в собственной проницательности, — призналась девушка, отложив томик стихов.

— Не понял?

— Оказывается, вы вовсе не робкого десятка, не такой скромник, каким казались мне все это время. В том, что очевидно сразу, ошибиться бывает трудно, но вот интуиция меня насчет вас подвела. Признаюсь.

— А что не очевидно сразу? — заинтересовался Аббас уже всерьез. — Что вы имеете в виду?

— Ну хотя бы то, что вы преподаватель института. Ведете семинар по химии, так?

— Да.

— Кроме того, вы недавно защитили диссертацию или собираетесь защищаться.

— Тоже верно. А почему это все — очевидное?

— Очень просто — в троллейбусе все эти мальчишки-студенты в джинсах первыми здороваются с вами, даже уступают место.

— М-да... Но — не часто, не часто.

— Вы правы. Но — идем дальше? Не возражаете?

— Конечно, нет. Мне интересно, продолжайте, пожалуйста!

— Несколько раз я слышала, как вы, очевидно с колле-

гами по работе, говорили по дороге о занятиях, о каких-то там алкалоидах.

— Понятно. И что же вы теперь думаете обо мне?

— Думаю, что не все так просто, как кажется на первый взгляд.

— Ага! Значит, вы все же думали обо мне — признаетесь? И признавайтесь до конца — ведь ждали, когда я появлюсь в троллейбусе, а? Ждали каждый день встречи со мной? Сегодня я вас поцелую!

— Мы едва знакомы, а вы уже собираетесь целоваться! — беззлобно возмутилась девушка. — Ну и нахал же вы!

Аббас решительно, так что девушка даже испугалась, поднялся со скамейки и скрылся за кустом. Правда, тут же и объявился — с махровой красной розой в руке.

— Из собственной оранжереи!

Девушка улынулась в нерешительности и, помедлив, все же приняла розу. Заметила на пальцах Аббаса капельки крови, испуганно подняла взгляд. Он увидел и:

— Не беспокойтесь. Просто мой садовник куда-то отлучился.

— А денег на штраф у вас хватит?

— Недостанет — займу у вас!

— Ну и нахал! — повторила девушка, но когда Аббас вместо ответа решительно опустился на скамейку рядом с ней, еще раз быстро и изучающе глянула на него, а потом сказала: — Давайте сюда руку, не пожалею для ваших ран своих любимых духов. А то еще умрете от заражения крови. Давайте, давайте, не стесняйтесь!

К месту пикника все трое вернулись одновременно, и все — бегом. У Наимы сумка — видно было — почти пуста, но в руках она держала букет из цветов и зеленых веток. Зато Аббас и Шавкат явно готовились похвастаться добычей.

Шавкат с трудом переводил дыхание, но, показав всем свои часы, бодро выпалил:

— Молодцы... Тютелька в тютельку...

Наима бросила сумку и цветы на одеяло, следом упала сама. Щеки у нее покраснелись от бега.

Аббас, похоже, устал меньше всех. Он явно был доволен собой. Скомандовал:

— Внимание! Начинаем считать добычу. Сколько у тебя, Шавкат?

— Раз! — Шавкат вытащил из своего ведерка гриб. — Два! — вытащил еще. Наима и Аббас с увлечением повторяли за ним. — ...Четырнадцать! Ну, кто больше?

— Неплохо! — похвалил приятеля Аббас и повернулся к Наиме: — А у тебя?

Девушка, не вставая с одеяла, дотянулась до своей сумки и вытряхнула из нее все, что набрала.

— Шесть, — объявил Шавкат.

— И это все? — Аббас смотрел насмешливо-ласково.

— Тебе мало? — воинственно переспросила девушка. — А цветы — не в счет? Да каждый сорванный мной цветок надо оценивать как два ваших несчастных гриба!

— А у тебя-то самого? — вмешался Шавкат. — Может, у тебя меньше всех, а ты хорохоришься! Давай показывай!

Аббас поднял руку:

— Прошу судейскую коллегию занять места. Внимание! — он ловко опрокинул сумку. — Двадцать один! — и картинно поклонился, ожидая аплодисментов.

Несколько секунд над лужайкой трепетала благоговеющая тишина, потом дружное «ура» в честь победителя вспугнуло окрестных птиц.

Победитель отбежал несколько шагов к пеньку, поднялся на него как на пьедестал и застыл там, изображая памятник себе.

— Тост в честь победителя надо пить на коленях у подножия памятника! — возрадовался Шавкат и, приблизившись, вручил сначала пиалушку изваянию в очках, а затем вместе с Наимой, изобразив на лице благоговение, опустил на колени. — Ура великолепному!

На город опускались ранние зимние сумерки. С утра шел снег, и теперь он пластами лежал на крышах домов, белыми шапками украсил ветви деревьев, клумбы.

От зеленовато-мутной поверхности городского канала Анхор поднимался пар, стелился над водой.

И на скамейках образовались маленькие сугробы. На асфальте снег за день подтаял, тонкой ледяной коркой хрустел под ногами. Вдоль канала угрюмо чернели стволы деревьев. Под одним из них стояли Аббас и Наима. Аббас целовал девушку — она не уклонялась, но и не отвечала ему, озябшие руки держала в карманах пальто. Аббас отстранился, посмотрел в ее глаза:

— Тебе... все равно?

— Просто уличная любовь не по мне... — помолчав, ответила Наима. — Как будто напоказ.

— Но даже когда мы оставались одни — тогда, у Шавката... тебе тоже ничего не хотелось.

— Может, я такая...

— Понимаю... Я, конечно, не идеал. Но почему ты тогда встречаешься со мной? Вокруг столько юных красавцев в джинсах — с ними не стыдно появиться на людях.

— Терпеть не могу смазливых идиотов, — оборвала Наима.

— Ты любила кого-то из них? И что, он был очень хорош собой?

— До отвращения.

— И ты до сих пор не можешь его забыть?

— Единственное, чего хочу, — чтобы он мне больше никогда в жизни не попадался на дороге!

Солнце скрылось за пеленой облаков, налетел ветер, посвежело.

— Жарко, жарко! — кричали в один голос Наима и Аббас.

Шавкат с повязкой из платка на глазах нелепо шарил в воздухе вытянутыми руками. Коснулся пальцами дерева в центре поляны, миновал, пошел на голос.

— Я здесь! — крикнул Аббас.

Шавкат бросился — впустую.

— А я ближе! — сказала за его спиной Наима.

Шавкат быстро обернулся, но девушка неслышно, на цыпочках скользнула в сторону.

— Жарко! — снова крикнул Аббас, увидев, что Шавкат идет прямо на дерево.

Шавкат попятился, остановился в нерешительности.

Теперь он не стал бросаться наугад, а постоял, прислушиваясь; уловил шорох — и кинулся туда, широко расставив руки. Наима вскрикнула, завизжала, забилась в его объятиях.

— Поймал, поймал! — подбежавший Аббас освободил девушку и сдернул повязку с глаз приятеля. — Теперь тебе водить, Наима.

Он сам завязал ей глаза платком, и девушка казалась теперь беспомощной и неуклюжей. Робко ступила вперед — и остановилась.

— Лови! — крикнул Шавкат сбоку.

Наима нерешительно повернулась, двинулась на голос.

Шавкат, сделав шаг в сторону, пропустил ее, оказался за спиной и снова подал голос:

— Я здесь!

Наима испуганно вздрогнула, обернулась и стала шарить в воздухе руками.

Шавкат, неслышно приблизившись, раскачивался перед ней будто в танце и дирижировал руками.

— Лови же! — крикнул Аббас. Он теперь сочувствовал Наиме.

Девушка хлопнула перед собой ладонями, но Шавкат быстро успел присесть.

— Ку-ку! — подал голос Аббас.

Наима пошла в его сторону, Аббас не двигался. Приблизившись почти вплотную, Наима остановилась и беспомощно опустила руки. Лицо ее покраснелось, над губой выступили капельки пота.

Аббас старательно, так, чтобы она услышала, вздохнул и присел на корточки.

Наима шагнула вперед — и наткнулась на него, чуть не упала.

— Ура! — кричала она. — Ура, поймала! — и стаскивала с глаз платок, тут же завязывала глаза Аббасу. — Ура! Теперь попробуй, миленький, сам поймать!

Аббас охотно повиновался.

Шавкат улыбался в стороне.

Итак, водить теперь предстояло Аббасу.

— Если не возражаете, — начал он, — расскажу вам одну историю. То ли сказка, то ли быль, или притча, легенда — как хотите. Идет?

— Валяй, — согласился Шавкат прямо возле его уха.

Аббас метнулся на голос, но Шавкат успел отскочить.

— Итак, слушайте, — начал Аббас, двигаясь по поляне и шаря в воздухе руками. — По дороге ехал Тимур со своей свитой. Навстречу — белобородый старик, одежда ветхая, нищенская. Проходя мимо свиты, напевал себе под нос то ли песенку, то ли просто стихи. Кто-то из вельмож остановил его и спросил: «Почему не здороваешься с почтенными людьми, старик?» Тот возразил: «Я не знаю, почтенные, кто вы». — «Да? — сказал вельможа, явно издеваясь. — А мне издали показалось, будто бредет заблудившийся осел». — «А мне показалось, — ответил старик, — будто идут люди». — «За твои дерзкие слова, — вспыхнул вельможа, — тебе следует вырвать язык!» — «Подобное не новость в моей стране», — с горечью ответил старик. «Кто ты, странник, и откуда?» — вмешался Тимур. «Я — Хафиз из

Шираза», — просто ответил тот. «Ах, значит, это ты — тот самый поэт, что готов отдать мои города Самарканд и Бухару за черную родинку турчанки?» — «Черная родинка стоит того...» — «Я властелин половины мира — и то не могу позволить себе делать такие подарки!» — сказал Тимур. «А я могу, оттого я так беден», — заключил старик.

Широко расставив руки, Аббас шел прямо на дерево, росшее посреди поляны. Никто не крикнул ему «жарко!», и он ударился лбом о низко нависший сук. Застыл от боли, прижав ушибленное место ладонью. Стянул с глаз повязку. Яркий свет дня поначалу ослепил. Поплыли радужные пятна, сквозь них едва проступали искаженные очертания предметов. Наконец мир обрел четкие линии, и тут Аббас не поверил своим глазам: в нескольких шагах от него Шавкат обнимал Наиму, пытался поцеловать, она отворачивала лицо и вроде бы пыталась вырваться — но не вырывалась.

Аббас снова надвинул повязку на глаза. Болел ушибленный лоб.

— Эй, вы там! — весело крикнул он. — Подайте голос! А за мою шишку — еще ответите!

— Ку-ку! — позвал сбоку Шавкат.

— Условились ведь — предупредить об опасности, кричать «жарко!», — с деланной обидой пробурчал Аббас, снимая с глаз повязку. — Видели же, что иду на таран, — так даже не пикнули! — Он потрогал лоб.

— До свадьбы заживет! — успокоил Шавкат.

— Нужно приложить холодное. — Наима плеснула минеральной воды из бутылки на полотенце и подошла к Аббасу.

— Не стоит... — Аббас отстранил ее руку. — И правда, до свадьбы заживет. Ерунда.

Невдалеке прогрохотало. Все подняли головы — вершины гор были закрыты низкими тяжелыми тучами.

— Скоро польет, — объяснил Шавкат. — К вечеру здесь всегда так.

Пока собирались, вывели машину на дорогу, уже сыпались крупные редкие капли. Небо почернело, налетавшие порывы ветра гнули кустарники, трепали листву деревьев. Асфальт на глазах потемнел.

Шавкат вышел из машины, чтобы поставить «дворники».

Аббас и Наима сидели сзади, мирно беседовали; Аббас решил держаться как ни в чем не бывало — до города. А в городе столько дел — трудно бывает выбрать время для встречи...

«Жигули» легко, бесшумно, словно скользя, шли под уклон. Бойко ходили «дворники», плясали брызги на капоте, сверху барабанило по крыше. Недалеко вспыхивал раскаленный зигзаг молнии, следом, сотрясая горы, обрушивался шквал грома.

Шавкат упивался ездой, доволен был поездкой, доволен собой. Машина шла под уклон все быстрее, словно удирая от грозových раскатов и огненных змей, визжали покрышки на поворотах.

Шоссе было пусто, лишь изредка навстречу попадались грузовики, с завыванием медленно ползли на подъем.

Все произошло мгновенно.

Всплеск молнии осветил крутой поворот впереди, Шавкат нажал на тормоз, машину занесло. Разлетелись сбитые белые придорожные столбики, машина перевернулась, на крыше съехала по щербю невысокого склона и застыла колесами вверх. Лишь распахнувшаяся передняя дверца покачивалась со скрипом. От мотора поднимался пар. И неистовствовала гроза, эхо множило удары грома, мир в сине-белых вспышках молний высвечивался на секунду черно-белым, словно проявленный негатив.

Через минуту из перевернувшейся машины выползла Наима, села тут же на землю и, оглушенная, бессмысленно оглядывалась вокруг, после шока не понимая, что именно произошло. Косыми струями хлестал дождь, но она и дождя не замечала.

Стекло задней дверцы вылетело, на его месте зияла дыра. В дыре показалась нога в ботинке, затем вторая. Выполз Аббас. Поднялся, постоял с минуту, ошарашенный внезапностью несчастья, коснулся ладонью лица, отнял ее — увидел кровь и подставил ладонь струям дождя.

Постепенно он начал соображать.

Заглянул в машину — пусто. Услышал стон, обернулся — и разглядел сидящую прямо на земле Наиму. Прихрамывая, направился к ней.

— Жива? Цела? — стал ощупывать плечи, голову, руки.

Взгляд Наимы сделался осмысленным — она пришла в себя.

— Кажется, жива... Плечо болит... А ты сам?

— Нога... Но, в общем, цел. А Шавкат где?

— Не знаю...

Аббас еще раз осмотрел внутренность машины — там никого не было. В отчаянии изо всех сил толкнул машину, пытаясь перевернуть, но она лишь покачнулась. Растерянно и беспомощно огляделся — и тут-то при очередной вспышке молнии заметил Шавката.

Шавкат ничком лежал выше по склону, ближе к дороге. Куртка на спине была порвана, при следующем всполохе молний видно сделалось раненое место под лопаткой — кровь там смешивалась с дождем.

— Шавкат! Ты слышишь меня? — кричал Аббас, переворачивая его вверх лицом. — Ты жив? Ответь мне!

Шавкат застонал и приоткрыл глаза.

— Наима, сюда скорее! — позвал Аббас.

Девушка, держась левой рукой за ушибленное правое плечо, приблизилась.

— Он жив?

— Жив, жив! — успокоил Аббас. — Шавкат, сможешь подняться?

Шавкат ответил стоном.

— Помоги! — скомандовал Аббас девушке и подхватил Шавката под руку, Наима — под другую.

Попробовали приподнять — Шавкат застонал: пришлось опять опустить его на землю. В грозовой полумгле видно было, как струи дождя секут его по лицу.

Аббас ощупывал его, пытаясь понять, где еще могут быть раны. Поднял голову, обернулся к Наиме:

— Похоже, нога сломана. Все же нельзя оставаться здесь. Давай попробуем вместе поднять его — понесу на спине к шоссе.

— Но ведь надо сначала перевязать... — трезво напомнила Наима.

— Да, конечно. Посмотри, там в машине у заднего стекла было свернутое полотенце и аптечка, кажется, была.

Аббас разорвал по шву штанину на раненой ноге Шавката, а Наима и вправду отыскала полотенце.

— Беги теперь на дорогу, останавливай первую же машину! — скомандовал Аббас.

Наима поднялась к шоссе, Аббас остался с другом.

Сверху, со стороны перевала, показалась машина — далеко видны были фары. Наима, стоя на обочине, подняла руку, но машина — «Москвич»-фургон — пролетела мимо.

Сгорбившись, осторожно переступая, Аббас медленно поднимался по откосу среди камней и булькающих селевых ручейков, на спине нес Шавката. Дождь не унимался, нещадно хлестал злыми холодными струями.

Видно, от боли Шавкат очнулся, вспомнил, где он, с кем и что случилось.

— Слушай, Аббас...— со стоном выговорил он.— Брось меня, оставь. Я — дерьмо... Ты не знаешь, какое я дерьмо!

— Молчи уж! Нашел когда объясняться...— пробурчал Аббас.

— Аббас! — умоляюще закричала сверху Наима.— Не остановилась машина, не захотели!..

Аббас зло сверкнул белками глаз.

— Хоть ложись поперек дороги, а останови! — и тихо выругался.

Напуганная его криком, Наима вернулась на шоссе.

Снизу, натужно ревя, поднимался грузовик. Высвечивал фарами косые струи дождя. Наима выбежала на середину дороги, опустилась в свете фар на колени и с бесстрашием отчаяния протянула руки навстречу машине.

Аббас, выбиваясь из сил, поднялся по склону и, не опуская Шавката на землю, чтобы лишний раз не причинить боль, стоял на обочине.

Грузовик затормозил.

Наима вскочила на ноги и бросилась к кабине. Умоляюще подняв лицо к оконцу, ждала, пока водитель неторопливо, явно нехотя опускал стекло.

— Что случилось? — слышался наконец хрипловатый голос шофера.

Аббас с Шавкатом на спине вышел на середину дороги, чтобы не дать машине уехать. Наима метнула на него растерянный взгляд — ей вдруг пришло в голову, что неизвестно еще, как поймет ее просьбу водитель, что подумает о ней. Так боялась испортить дело, что ничего лучшего не нашла в ответ на вопрос водителя как поздороваться.

Тот буркнул что-то и выжидательно замолчал.

— Понимаете... Случилась беда...

— Чего уж тут не понимать...— хрипло ответил шофер.

— У нас перевернулась машина...— жалобно, умоляющим тоном объясняла девушка.— Водитель... он хозяин машины...— сильно пострадал... вон мой муж его держит...— Ей казалось, что невинное вранье придаст большую убедительность ее рассказу. Шофер, конечно, видел: посреди дороги, широко расставив ноги, ожидал помощи

человек — на спине держал раненого, у того безжизненно свисали руки, с них под ливнем струями стекала вода. — Кажется, он потерял много крови. Помогите, пожалуйста, отвезите в больницу. Пожалуйста, не откажите...

— У меня полон кузов баранов. — Видно было, что шофер грузовика не хотел связываться, возиться с пострадавшими. — На горное пастбище везу, и так уже из-за дождя опоздал. Засветло надо было пройти перевал. Да и кабина занята — жена с маленьким ребенком сидит. Не могу же их из-за вас на дороге в такой ливень оставить!

— Да, конечно... — Наима растерянно отступила.

— О чем болтаешь, Душан! — послышался в кабине сердитый женский голос. — Как не стыдно, а! Может, там человек умирает. — И уже спокойнее распорядилась: — Достань брезент, подожду на обочине, авось не растаю. Отвезешь их вниз, к больнице, и возвращайся за мной.

— Ладно! — явно обрадовавшись разрешению жены, водитель открыл дверцу, стал на подножку. — Давайте ваших в кабину. Сейчас брезент достану... — и полез в кузов.

Наима бросилась к Аббасу — сказать, что все устраивается, но тот даже не ответил ей.

А тем временем шофер, ежась под струями дождя, соорудил из шестов треногу, сверху накиннул брезент — образовалась небольшая палатка. Поставил туда какой-то ящик, чтобы можно было сидеть, снял с подножки жену с грудным ребенком, устроил их под брезентом. Наима в полутьме не успела хорошо разглядеть женщину — лишь заметила мягкий овал лица, узкие глаза.

Аббас с помощью Наимы пытался поднять Шавката на сиденье, но тот потерял сознание, тело его обмякло, отяжелело. Мешал дождь — струился по волосам, по лицу, заливал глаза. Руки у Аббаса были заняты, он встряхивал головой, щурился. Наима хотела было вытереть ему лицо ладонью, но Аббас резко отстранился, раздраженно бросил:

— Не мешай!

Подошел шофер. Вдвоем с Аббасом они с трудом устроили Шавката на сиденье. Аббас сел рядом, держал его, чтоб не сполз на пол. Наиме сказал:

— Посиди пока с хозяйкой.

— Нет! — отказалась Наима, задетая его резкостью. — Я здесь не останусь.

— В кабину вы, девушка, не поместитесь, — объяснил водитель. — А в кузове — бараны. Оставайтесь!

— Ничего! — упрямо возразила Наима. — Поеду с баранами. Теплее будет.

Водитель с Аббасом переглянулись.

— Ладно, — сказал Аббас. — Не будем терять время. Садись в кабину, придерживай Шавката, а я полезу к баранам.

— Ничего! — стояла на своем Наима. На Аббаса она не глядела. — Никогда не ездила в кузове, даже интересно.

Она начала было подниматься в кузов, стала на колесо, но Аббас силой стащил ее вниз.

— Довольно ломаться! — бросил он, сдерживая гнев. — Делай как тебе говорят! — и подтолкнул девушку к кабине. Обернулся к водителю: — Поехали! — подтянулся, запрыгнул в кузов, там задвигались, заблеяли встревоженные бараны.

Женщина из-под брезента молча смотрела на них, ребенок сосал грудь.

Машина развернулась на шоссе и осторожно пошла вниз. Красный огонек еще маячил какое-то время сквозь пелену дождя, потом пропал.

Жара. Озеро неподалеку от города. Совсем небольшое — прошла моторная лодка и раскочакала его, побежали волны — маленький шторм. Волны накатывались с шипением на ровный песчаный берег с тентами, грибами и скамейками, с загорающими купальщиками, по какой-либо причине отдавшими предпочтение этому пляжу перед побережьем Черного моря или Иссык-Куля.

Покачиваясь на волнах, к берегу приближался Аббас. В тени под цветастым тентом с бахромой его ожидала Наима — в модных темных очках и экстравагантно-скудном купальнике, картинно подогнула длинные красивые ноги. Брала из пакета и ела вишни, косточкой, зажав в пальцах, стреляла в сторону подплывающего Аббаса.

Он вылез из воды, весь в сверкающих брызгах, освеженный, блаженно растянулся на песке под солнцем, руки раскинул в стороны. Помолчал. Потом спросил, не меняя позы, как будто даже лениво:

— Слушай... Помнишь, как мы в первый раз встретились?

Наима быстро взглянула на него, перевела взгляд на озеро.

— Помню. А что?

— Ты тогда еще сказала, что плохо подумала обо мне.

— Ну какое это сейчас имеет значение?

— И все же... Что ты имела в виду, когда так говорила?

Аббас лежал ничком, выражения его глаз Наима не могла разглядеть, но в голосе услышала нотку затаенной обиды.

— Стоит ли ворошить воспоминания? Тем более, что все твои планы осуществились. И я не жалею. Сразу приняла правила игры. Хотя вначале я и вправду дурно думала о тебе.

— Ну да, тебе со стороны, конечно, виднее. Ты же психолог, а? А я вот не могу жить спокойно — все время помню, что какие-то изъяны в моем поведении тебя шокируют.

— Психологи тоже иногда ошибаются.

— Выходит, все то дурное во мне, что ты видела, оказалось твоей выдумкой, так? — Аббас сел на песке, смеясь, глянул на девушку. — Получается, я безупречен, а?

Наима смешалась.

— Ну... пожалуй. Если б я думала иначе и не рассталась с тобой — кем бы я была...

— И все же — что ты тогда подумала?

— Ну, раз ты так хочешь... Помнишь, мы еще до того, как заговорили, довольно часто оказывались рядом на задней площадке троллейбуса, и я всегда чувствовала на себе твой взгляд. Я, конечно, тоже обращала на тебя внимание, тем более что встречавшиеся по дороге студенты относились к тебе подчеркнуто уважительно. И вот однажды в троллейбус вошел пожилой человек, седой и благообразный, и ты с ним поздоровался прямо-таки подобострастно. Он прошел вперед, сел на свободное место, а ты с него глаз не спускал, обо мне и думать забыл. Я, конечно, сразу поняла, что тот седой человек — какое-то светило в науке или большое начальство и от него зависит твоя карьера. Ты даже не заметил, когда я вышла из троллейбуса. Все это напомнило мне историю, которую я слышала от отца. Один актер, играя на сцене Гамлета, не упустил случая поклониться во время действия сидевшему в первом ряду представителю министерства.

— Не твоему ли отцу, а?

— Может, и ему. Не в этом дело.

— Та-ак! — Аббас с наигранным гневом развел руками. — Что же получается? Все было подстроено, спланировано заранее! Молодой ученый-карьерист пронюхал, что загадочная незнакомка с девятого маршрута не только хороша собой, но и обладает рядом еще более существен-

ных достоинств, а именно — имеет высокопоставленного папочку с персональной машиной и прочим. Так почему бы не заморочить голову юной наивной дочери, не войти к папочке в доверие, не пораскидать с его помощью всех своих врагов, не сделать блестящую ученую карьеру, а потом не пожинать сладкие плоды своего усердия, а? Тривиально, но не лишено, так сказать, не правда ли?

— Не лишено, конечно... Только вот высокопоставленный папа умер два года назад.

— Ну, знаешь! Хочешь не хочешь, а я вынужден вздохнуть с облегчением.

— Вот негодяй! — Наима шуточно замахнулась.

— Нет, я в том смысле, что тривиальный сценарий нам не подходит. Поищем что-нибудь поинтереснее.

Наима опустила занесенную руку и поцеловала Аббаса.

Ливень прекратился — в воздухе висела мелкая водяная пыль.

Грузовик остановился у одноэтажного здания то ли районной, то ли совхозной больницы. Темная улица была пустынна, асфальт мокро поблескивал под редкими фонарями.

Аббас спрыгнул наземь, взбежал по бетонным ступенькам, рванул дверь — та не поддалась, забарабанил в ближнее окошко: там за занавеской светилась лампа.

Девушка в белой косынке отодвинула занавеску, взглядела в полумрак улицы. Увидев Аббаса и машину, кивнула ему и побежала к двери.

На мокрый асфальт лег прямоугольник света — девушка стояла в дверях, за ее спиной в углу Аббас увидел брезентовые носилки.

Наима, поддерживая голову Шавката, мокрым платком смачивала его воспаленные губы. Он стонал, мотал головой, бредил.

Аббас вдвоем с водителем уложили Шавката на носилки, внесли в здание.

Наима постояла в растерянности возле машины, потом двинулась следом. Когда она вошла в приемный покой, там Аббас и водитель осторожно перекладывали Шавката с носилок на кушетку. Рядом стоял, видно, дежурный врач — высокий мужчина в белом халате и докторской шапочке.

Медсестра, встретившая их, появилась с никелиро-

ванной коробкой со шприцами, поставила ее на столик и открыла дверцу шкафчика с медикаментами.

Шавкат, побелевший, наверное, от потери крови, все не приходил в себя, бредил.

Врач пощупал пульс и молча стал мыть руки над раковиной. Вытер вафельным полотенцем, расстегнул рубашку на груди Шавката, стал выслушивать его фонендоскопом.

— Сердце плохо работает. Большая потеря крови, — сказал он Аббасу, и тот растерянно кивнул. Врач обернулся к медсестре: — Поторопитесь.

— У меня все готово, — отозвалась девушка. Попросила Аббаса: — Засучите ему рукав.

Сделала укол и, не вынимая иглы, ввела еще сердечное. Врач осмотрел перелом на ноге и опять пошел к раковине мыть руки.

— Обработайте рану на спине — и в операционную, — распорядился, обращаясь к медсестре. — Будем накладывать шины.

— Сейчас... — девушка снова принялась возиться с лекарствами и бинтами. Потом открыла двустворчатую дверь в соседнее помещение и включила там свет. Посреди просторной комнаты под лампой белел операционный стол.

Аббас невольно поморщился и отвернулся. Увидел Наиму — стояла у входной двери, прислонившись к косяку. Вид у нее был жалкий — измученный и виноватый.

Кашлянул, напоминая о себе, ожидавший в коридоре шофер грузовика.

Аббас шагнул к нему.

— Извините, мы о вас забыли... — он дружески коснулся плеча водителя.

— Если я не нужен, так поеду? — виноватым голосом спросил тот.

— Конечно. Ваша жена там заждалась уже, беспокоится.

— Дождь перестал, могут появиться волки. Торопиться надо.

— Конечно... — Аббас полез в карман.

Водитель остановил его:

— Не обижайте! — и посмотрел укоризненно.

Они пожали друг другу руки, и шофер побежал к своему грузовику, где в кузове блеяли бараны.

— Пусть ваш дружок поправляется! — крикнул на прощанье водитель, и машина ушла.

Наконец врач вернулся из операционной. Аббас и Наима, все это время молча сидевшие на кушетке, поднялись.

— Шину наложили,— сказал врач.— У него и ребро сломано.

— Сознание вернулось? — с надеждой спросил Аббас.

— Нет пока. Много крови потерял.— Врач посмотрел в окно.— А машина здесь?

— Нет, а что? Зачем машина? — Аббас не на шутку встревожился.

— Ему нужна кровь. У нас нет. Придется искать машину, везти его в Ангрэн — чем скорее, тем лучше. Мы сделали все, что могли. Но крови здесь нет.

— А далеко отсюда до Ангрена? — растерянно спросил Аббас.

Наима напряженно следила за разговором.

— Двадцать километров.

— А не опасно его везти?

Врач пожал плечами.

— Другого выхода я не вижу. Ему нужно переливание.

— Так возьмите у меня! — предложил Аббас.

— И у меня! — поддержала его Наима.

— Для этого нужно знать группу крови, а у нас нет такой аппаратуры.

— Я свою знаю,— торопливо объяснил Аббас.— Студентом был донором. Первая группа.

— А у вас? — врач повернулся к Наиме.

— Не знаю...— растерянно ответила она.

— М-да... У вашего товарища есть с собой документы?

— Сейчас...— Аббас бросился к стулу, где сложена была одежда Шавката.— Вот, посмотрите.

— Так. Это водительские права,— врач вернул книжечку Аббасу.— Паспорт...— Он перелистал странички, Аббас и Наима следили, не отрывая глаз.— Он что, недавно был за границей?

— Да, он врач,— пояснил Аббас.

— Будем считать, что ему хоть в этом повезло — у него тоже первая группа.

Аббас и Наима с облегчением переглянулись.

— Только учтите,— врач изучающе глянул на Аббаса,— крови потребуется много, не меньше литра. Так что решайте сами.

— Решать тут нечего. Куда мне ложиться? — Аббас уже стаскивал пиджак.

— Гуля! — позвал доктор. Из операционной появилась сестра.— Как он там?

— По-прежнему. Сознания нет.

— Уложите товарища на каталке рядом с больным. Будем делать прямое переливание.— Обернулся к Аббасу, мягко пригласил: — Зайдите, пожалуйста.

Медсестра отворила дверь, все скрылись в операционной.

Найма сидела на кушетке в одиночестве и смотрела на дверь, не зная, куда девать себя.

Грузовик с баранами в кузове затормозил возле палатки на треноге, оставленной на подъеме к перевалу. Шофер соскочил с подножки, подбежал, откинул край брезента. Внутри, съжившись от холода и прижав к груди ребенка, дремала молодая женщина.

— Айгуль...— тихонько позвал шофер, и та открыла глаза.— Как вы тут без меня? Волков не было?

— Да нет вроде...— Женщина вылезла из-под брезента, огляделась.— Немного страшно, правда, было — вон в той стороне на склоне загорелось дерево. От молнии, наверное. Смотреть жутко было. Но огонь, я думаю, отпугнул волков.

Оба поглядели в сторону склона — там еще тлело, вспыхивали огоньки.

Муж стал собирать палатку, жена с ребенком поднялась в кабину. Перед тем как ехать, она спохватилась:

— Да, а как тот человек, которого ты повез? Он жив?

— Жив, только еще не пришел в себя. Может, сейчас ему уже лучше...

Машина медленно пошла вверх по шоссе.

На операционном столе лежал Шавкат. Сознание еще не возвращалось.

Рядом на каталке — Аббас. Их разделял — и соединял — аппарат для переливания крови: в прозрачной стеклянной емкости то чуть поднималась, то опадала несущая Шавкату жизнь кровь Аббаса. Гуля была здесь же, следила за ходом операции.

Подошел врач, осмотрел Шавката, выслушал сердце, потом выслушал сердце Аббаса. Спросил, в голосе доброта:

— Как вы себя чувствуете? Голова не кружится?

Аббас качнул головой — нет, мол.

— Гуля, сколько?

— Шестьсот.

— Если почувствуете, что потолок валится, позовите, договорились? — предупредил врач.

Аббас кивнул и слабо улыбнулся.

Наима сидела все там же, на кушетке, сиротливо вжалась в угол. Лицо бледное, глаза тусклые. Иногда она вздрагивала от холода — одежда ее еще не успела просохнуть. Она бы все отдала за то, чтобы очутиться сейчас дома, в теплой постели, чтобы не было этой крови и стонов, этого ливня, этой поездки, дурацкого пикника, начавшегося так легко и празднично и закончившегося так ужасно. Она жалела, что поехала, что дружила с Аббасом, знакома была с Шавкатом, что преданность одного и ухаживания второго создавали для нее иллюзию уверенного победительного счастья, пира жизни, где она была героиней. Сейчас словно пелена пала с глаз, увидела себя со стороны — и хотелось убежать, спрятаться, забыть, вычеркнуть. Она бы и убежала, да куда — ночью. И право, неловко ведь оставлять в таком беспомощном положении своих друзей. Бывших, конечно, уже можно сказать, друзей. Однако приходилось ждать — неясно ведь, чем все кончится.

Она сидела, забившись в угол, и не знала, что делать. Здесь она не нужна была никому, она понимала.

Из коридора доносилось шарканье шагов, звяканье рукомоЙника. Послышался далекий, приглушенный дверью стон.

Из операционной вышла сестра, сняла халат, надела голубой плащик.

— Как там? — робко подала голос Наима.

— Неплохо... — успокоила Гуля. — Вы не волнуйтесь. Я сейчас вернусь. — И побежала на улицу.

Наима не могла больше сидеть без движения. Встала, чуть приоткрыла дверь операционной, глянула в щель. Увидела Аббаса и Шавката, рядом — врача. В нерешительности вернулась на место. Задумалась.

Как же все это началось, что теперь она сидит здесь в углу, не имеет ни на что права и не может требовать к себе уважения? Ведь сначала с Аббасом у нее все складывалось так хорошо, легко, и предыдущие разочарования казались случайностью, пустяком. От подчеркнутого лестного внимания подающего надежды ученого, что вызы-

вало зависть подруг, от возможности выбора, от ощущения постоянного, навсегда, успеха кружилась голова, не хотелось ни о чем думать...

Теплый весенний вечер. Освещенные окна. Огни фонарей, огни реклам отражаются на мокром асфальте, стеклах витрин, блестящих капотах автомобилей.

Возле сквера, где обычно встречаются Наима и Аббас, затормозил «жигуленок», вышел Шавкат — оживленный, по моде одетый: светлые вельветовые брюки и кроссовки, светлая же рубашка с красно-синей полосой наискосок, голубая курточка, дымчатые очки «феррари».

Наима с удивлением и некоторым замешательством смотрела со скамьи, однако навстречу не встала.

— Добрый вечер! — Шавкат галантно поцеловал ей руку и продолжал держать в своей, не торопился отпустить.

— Добрый вечер, — откликнулась Наима. — Однако что-то не припоминаю, чтоб я назначала вам свидание.

— Долг дружбы! — Шавкат картинно развел руками. — Приходится заменить товарища. Дублер, так сказать.

— Говорят, всякая копия хуже оригинала, — колко заметила Наима.

— Это еще требует доказательств.

— И кто же их должен представить?

— Ну, не оригинал, конечно.

— Это, между прочим, тоже требует доказательств. — Оба посмеялись. — А где же потерялся оригинал?

— Грызет гранит науки. Завтра научная конференция, и ему поручено выступить с сообщением. Так что бедняга пыхтит над рукописью, а вы на сегодняшний вечер обречены терпеть мое общество.

— Обречена? Хотите сказать — вам нужно занять мной ваше свободное время? — с легкой издевкой спросила девушка.

— Свободного времени у меня не бывает. Но ради друга пойдешь и не на такое... Тем более что ваше общество мне, откровенно скажу, весьма приятно.

Наима смотрела изучающе, но и не без интереса.

— Признавайтесь-ка честно: Аббас и вправду просил вас заменить его на сегодняшний вечер?

Шавкат почувствовал опасность и отступил:

— Нет, конечно. Он лишь просил извиниться за него и передать, что срочное задание научного руководителя вынуждает его провести вечер за письменным столом. Но раз уж судьба в лице научного руководителя распорядилась, чтобы мы встретились в такой прекрасный вечер, так почему бы нам не поболтать за бокалом шампанского где-нибудь в хорошем месте — хоть в ресторане, хоть у меня дома. Послушали бы музыку, есть хорошие записи.

— А как расценит такое приглашение ваш друг? — с усмешкой осведомилась Наима.

— Ну... он же человек широких взглядов,— не растерялся Шавкат.

— Так-так... Значит, нашли дурочку, которой легко можно вскружить голову, а? — насмешничала Наима.

— Ну вот... Так я и знал, что неверно истолкуете... а я ведь из лучших побуждений!

— Отвезите-ка меня домой,— уже серьезно сказала Наима и поднялась.

Они пошли по аллее к машине.

— Сегодня был суд,— грустно, однако и с ноткой торжества в голосе объявил Шавкат.

— Что еще за суд?

— Я наконец-то получил развод. Конечно, и выплату алиментов в придачу.

— Не знаю, как принято в таких случаях — поздравлять или выражать сочувствие? Сожалеть...

— Сожалеть не о чем. Как говорится, что бы ни делалось, все к лучшему.

— Что значит — не о чем? Если разлюбили друг друга — и это к лучшему, получается?

— А...— Шавкат в раздражении махнул рукой.— Какая там любовь!

— Не понимаю, зачем же тогда надо было жениться?

— Молодость, глупость,— без сожаления сообщил Шавкат.— Связался с одной, ну и влип. Она забеременела — пришлось вести ее в загс, иначе горела длительная командировка за границу. В общем-то, баба она внешне ничего, красивая, но тупая до того — аж выть хочется. Прожил я с ней кое-как около двух месяцев и уехал работать за границу. Вернулся — девочке полтора годика, уже бегают, «папа» говорит. Пытался смириться, устроить жизнь — ничего не получилось. Оставил жене квартиру, себе забрал машину.

Мчались по городу новенькие «Жигули», по блестящему капоту, причудливо растягиваясь и сужаясь, скользили разноцветные огни улицы. В машине Шавкат рассказывал Наиме о несправедливости судьбы.

В операционной врач закончил переливание крови.

— Кружится? (Аббас в ответ качнул головой: нет, мол.) Теперь — в палату. Идти сможете?

Аббас с усилием приподнялся. Врач взял его под мышки, помог. Вдвоем, медленно переступая, прошли по коридорчику. В палате врач откинул на койке одеяло, помог Аббасу лечь — у того на лбу выступили капельки пота.

— Постарайтесь пока не засыпать, сейчас Гуля принесет вам горячего чаю.

— Я знаю, — едва слышно вымолвил Аббас. — Не впервой.

— Ах да, вы же были донором, верно. Гуля сейчас придет. Я пока побуду с вашим другом. Отдыхайте.

Глаза Аббаса неудержимо слипались, он засыпал, но в это время в палату вошла медсестра, принесла горячий сладкий чай в термосе.

— Подкрепитесь, а потом спите. (Аббас открыл глаза.) Вашему другу лучше.

Аббас с трудом приподнялся, взял стакан.

— Спасибо, сестра. — Он отхлебнул глоток, другой. — У меня к вам просьба. Там, в приемной, девушка. Она еще ждет?

— Да, сидит.

— Она промокла насквозь. Не сочтите за труд...

— Не волнуйтесь, мы о ней позаботимся.

Аббас, слабый, как грудной ребенок, то засыпал, то просыпался, отпивал глоток чая и опять проваливался в забытье.

Показалось солнце. На омытых дождем деревьях и цветах весело сверкали под голубым небом невысохшие капли, от земли поднимался пар.

В палате районной больницы крепко спал Аббас. На соседней койке спал Шавкат. Он осунулся, но грудь вздымалась ровно, сон был спокойным. Возле коек, укутавшись в больничный халат, на стуле дремала Наима. Когда в коридоре послышались голоса, открыла глаза.

Вышла на больничное крыльцо — увидела поселок, пустая улица, лишь стайка ребятишек в красных галстуках спешила, видно, в школу. Проехал грузовой мотороллер, в низком кузове позвякивали молочные бутылки. Молодая женщина вела за руку малыша, тот капризничал.

Наима, оставив в приемной халат, спустилась с крыльца и пошла по мокрому асфальту, обходя лужи в выбоинах. Не торопилась. Навстречу попался человек в спецовке; спросила, где останавливается автобус. Тот показал. Ее догоняла машина — тот самый «Москвич»-фургон, что не остановился вчера на шоссе. Она подняла руку, водитель затормозил, распахнул дверцу. Она села, и машина, разбрызгивая лужи, укатила.

УЧКУН НАЗАРОВ

ДОРОГА К ДОМУ

*Авторизованный перевод с узбекского
С. Шевелева*

I

Я отпустил машину — у меня уже вошло в привычку выходить здесь и дальше идти пешком. Сначала дорожка через кладбище, потом мостик над арыком, пересекаешь небольшую рощицу джиды, а там уж гордо поднимаются новые девятиэтажные дома-башни. В одной из них живу я. Вот уже два года я обычно возвращаюсь домой этой тропинкой: короче путь, печальная тишина кладбища вместо грохота и гари магистрали, но главное — могила Манзуры здесь; я останавливаюсь, смотрю, думаю... иногда беседую со стариком сторожем; он обязательно упомянет о том, что, поднявшись по привычке на рассвете, подмел возле могилы Манзуры, прочитал над нею молитву из Корана...

Быстро темнело.

Вечер выдался прохладный, осень уже давала себя знать, я поднял воротник, засунул руки в карманы плаща и, не спеша, двинулся по дорожке.

Гул большого города остался за спиной, отодвинулся лишь вороны возмутили вдруг грустное спокойствие кладбища встревоженным карканьем, покружили над деревьями и снова расселись на голых верхушках тополей. Я тихонько шел мимо могил, привычно ориентируясь в темноте, — и вдруг словно невидимая рука остановила меня. По спине поползли мурашки страха. Где-то впереди, но недалеко раздался тихий, словно приглушенный чем-то стон. Застыв на месте, я напряженно вслушивался. Стоны усилились, потом перешли в хрип, как если бы кого-то душили. Что было делать? Я вытащил из кармана перочинный нож и, осторожно вглядываясь в темноту, пошел на звук. Скоро я увидел впереди на земле что-то темное, а когда до этого темного осталось несколько шагов, я наклонился и всмотрелся, стараясь разобрать, что же это такое. На земле лежала женщина. Я чиркнул спичкой.

— Что с вами?

Уставившись на меня расширенными, безумными от панического страха глазами, она что-то пробормотала — я не смог разобрать ее слов, но все же понял, что она рожает.

Я бросился за помощью.

Вскочил на улицу — пусто, лишь на автобусной остановке две расфранченные девицы; одна все слюнявила палец и терла им сумку. Да, явно не те, что нужно... Оглянулся, на другой стороне улицы разглядел в полутьме силуэт — похоже, женщина. Бегом туда. И правда, тетушка лет за пятьдесят, засучив рукава, мыла под водопроводным краном потроха. Услышав, как я из темноты с разбегу кинулся к ней, испуганно подняла голову.

— Холоджан... тетушка... простите... — задыхаясь, торопливо выговаривал я, — там... на кладбище... у женщины начались схватки.

— Вай, беда на мою голову! Где, кто такая? — закричала тетушка и, не дожидаясь объяснений, бросилась бежать в сторону кладбища, на ходу вытирая подолом руки.

Я показывал дорогу.

Женщина торопливо что-то спрашивала, я же, не зная, что отвечать, невнятно бормотал себе под нос, пытаюсь объяснить, что совершенно непричастен к происходящему, случайно оказался свидетелем.

Когда я снова услышал стоны, я показал тетушке направление, а сам остался ждать в сторонке... ведь не уходить же было, не бросать их.

Женщина ушла в темноту, откуда теперь беспрестанно неслись придушенно-хриплые стоны.

Я отошел еще немного назад и стал ждать. Закурил, в темноте мне не видно было, что там делает пожилая женщина, только изредка доносились ее успокаивающий голос и невнятное бормотание роженицы.

Прошло еще немного времени, и в тишине вечера прозвенел крик новорожденного. Я словно сам избавился от страданий — с таким облегчением вздохнул.

Пожилая женщина подбежала ко мне и зашептала почему-то на ухо:

— Теперь суюнчи¹ с вас! Мальчик! Поздравляю с мальчиком!

¹ Суюнчи — подарок принесшему радостную весть.

Я не знал, что отвечать, и лишь вежливо улыбнулся. «Кто же эта молодая женщина? — вертелось у меня в голове. — Почему она не в роддоме, как очутилась на кладбище? Или просто не успела добраться? Да, но почему она здесь одна, никого рядом?»

Пока я пытался найти ответ на эти вопросы, новоявленная «повитуха» снова исчезла в темноте, вернулась — и протянула мне завернутого во что-то белое младенца. Я рот разинул от удивления, но не бросать же было этот «подарок».

«Повитуха» опять ушла, еще повозилась в темноте, вернулась, спросила:

— Где ваш дом, братец?

— Мой? — я не понял, почему она этим интересуется.

— Ваш, конечно. Ведь ее надо — в дом... Далеко ли?

— За арыком, с той стороны кладбища, — ответил я, совсем уже растерявшись.

— А, ну если так, хорошо... — женщина облегченно вздохнула. — Машину, я думаю, вызывать не стоит, сюда все равно не подойдет, а от кладбища вам рукой подать... Подождите еще немного, она чуть оправится — и пешком потихонечку доберется. Слава богу, что рядом...

Сказав так, женщина удалилась, а я остался ждать в темноте с притихшим младенцем на руках. Не прошло и десяти минут, как она вернулась обратно. Принесла большой алюминиевый чайник и еще что-то завернутое в скатерть. Склонилась над молодой женщиной, похоже, дала ей что-то выпить, затем, повернувшись ко мне, махнула рукой. Я отошел шагов на пятьдесят и, что она там делала дальше, не знаю. Младенец все раскрывал рот и вертел головой, иногда начинал пищать, а они все не торопились звать меня. Минуты тянулись. Наконец появилась спасительница-«повитуха», забрала у меня ребенка, исчезла. И снова пришлось ждать. Но вот она показалась снова, в руке болтается пустой чайник. Объявила:

— Идите к ней, все... осторожнее ведите ее. Хорошо, что дом рядом...

* * *

Когда мы, тихо-тихо ступая, медленно вышли с кладбища — я нес ребенка, мать тяжело опиралась о мою руку, — в доме моем в окнах уже не было света; в черном небе сияла луна. Молодая женщина остановилась и тяжело вздохнула.

— Присядьте вот здесь, отдохните,— я показал на доску, прибитую между двумя деревьями на берегу арыка.

Женщина с видимым облегчением опустилась на скамью. Я с ребенком на руках отошел немного и повернулся к женщине спиной, чтобы не смущать ее.

Ночь выдалась холодной, я дрожал мелкой дрожью — она, кажется, шла откуда-то изнутри.

Вдруг я услышал тихие всхлипывания. Обернулся — женщина спрятала лицо в ладонях, плечи вздрагивают.

«Только этого мне недоставало»,— с досадой подумал я и направился к ней.

— Отчего вы плачете? — спросил я; женщина, словно дожидалась моих слов, отчаянно зарыдала. Я растерянно стоял возле, не зная, что сказать.

Ребенок у меня на руках тоже заплакал. Ночь, луна, скамейка над арыком... и вместо романтической сцены — я, продрогший, и два теплых плачущих существа. Наконец всхлипывания стали тише; наплакавшись, женщина сама обратилась ко мне:

— Пусть судьба возблагодарит вас за все...— голос ее дрожал.— Я всегда буду помнить добро, которое вы для меня сделали, спасибо вам... только вы не задерживайтесь из-за меня, прошу... вас, наверное, ждут... а я здесь чуточку посижу еще и пойду...

— Как же я брошу вас? Сейчас выйдем на улицу, я вызову «скорую помощь».

— Нет-нет! — горячо возразила женщина.— Ни в коем случае! Умоляю вас! Вы можете идти, я сама доберусь как-нибудь до своего дома...

Меня крайне удивило как само это предложение, так и отчаянное волнение, даже надрыв в ее голосе; казалось, она сейчас снова заплачет.

— Почему вы так говорите? — тоном стараясь успокоить ее, спросил я.— Отчего вы не пошли в роддом?

Женщина помолчала, словно не решаясь отвечать, потом тихо сказала:

— Этот ребенок должен был умереть...— рыдания не дали ей договорить.

— Почему?! В чем он-то виноват? И перед кем?

— Иначе умереть придется мне! — сквозь слезы, но решительно заявила молодая мать.

— Ну что за вздор! — возмутился я.— Вы сами не понимаете, что говорите!

Женщина не отвечала. Я видел, что у нее нет сил

подняться и идти куда-нибудь со своим ребенком. Потом она вытерла слезы и взмолилась:

— Уходите, ради бога, уходите же!

— Пойдемте к нам,— неожиданно для себя предложил я.

Женщина открыла рот — и ни слова, молчала. Я почувствовал, что она уступает, осторожно взял ее за локоть.

— Соберитесь с силами, постарайтесь встать.

— Что скажут у вас дома, когда приведете незнакомую женщину, да еще в таком виде? Ночью...

— Это не ваша забота. Ну, поднимаемся?

II

Кое-как мы добрались до подъезда. Увидев, что в квартире пусто, незнакомка растерялась.

— Почему здесь никого нет? — спросила она испуганно, озираясь по сторонам.

— Я живу один.

Женщина недоверчиво улыбнулась.

Положив ребенка на диван, я сказал:

— Вы пока устраивайтесь, я зажгу газ в колонке, сейчас будет горячая вода.

Возвратившись через несколько минут, я вытащил из шкафа мохнатый халат Манзуры, махровую простыню и отнес все это в ванную.

Женщина с усилием поднялась, взяла ребенка и осторожно прошла мимо меня.

Я проворно сменил белье на постели и побежал на кухню. Поставил чай и принялся готовить рисовый суп. До меня доносились плеск воды и громкий крик младенца.

Прошло с полчаса.

Дверь распахнулась, на пороге показалась мать с ребенком на руках. Я рот раскрыл от удивления: передо мной стояла очень красивая молодая женщина, лет двадцати двух, не больше. Отяжелевшие от усталости веки, даже болезненная бледность лица — все, как ни странно, красило ее. Была в ней какая-то печальная, тихая прелесть...

И едва на ногах держалась, обессиленно прислонилась к дверному косяку.

Я пробормотал торопливо:

— Там постель... все уже приготовлено... идите ложитесь.

— Вы не беспокойтесь, пожалуйста... — Женщина явно чувствовала себя очень неловко. — Может, я прилягу пока

вот здесь, на диване? А как наступит рассвет, там будет видно...

— Не стесняйтесь, идите и ложитесь,— уже тверже повторил я.— Не то совсем без сил останетесь.

В общем, хоть она и смущалась и возражала, я все же отвел ее в спальню.

Когда я вернулся из кухни с горячим супом и чайником на подносе, она уже лежала в постели, завернувшись в одеяло. Увидев меня, виновато улыбнулась. Я подал ей касу¹, и она съела немного супа. От горячего ей, видно, наконец-то стало тепло, на лбу выступила испарина, она поставила еще почти полную касу рядом с собой на стул и в изнеможении откинулась на подушку. Я смотрел на нее — и острое чувство жалости проснулось вдруг во мне. Хотелось расспросить ее, почему оказалась одна, без помощи в беде, отчего хотела убить своего ребенка, почему пряталась от людей, но, боясь причинить ей душевную боль, я только молча смотрел, не мог отвести взгляда от ее измученного лица.

Веки ее задрожали, она приоткрыла глаза.

— Устали вы, наверное, из-за меня. И зачем только вы привели меня к себе домой?.. Если бы я достойна была такого участия...— у нее не хватило сил договорить, слова заглушались судорожными всхлипываниями.

— Не надо, не плачьте,— попытался я утешить ее.— Сейчас вам нужно отдохнуть — о прочем поговорим завтра. Спокойной ночи!

Я поднялся и вышел в соседнюю комнату.

Растянулся на диване.

Что же теперь будет? Хорошо, пусть она поживет у меня неделю-полторы, а потом, надо полагать, все уладится и она вернется к себе домой.

Интересно, кто она такая? Работает? Учится? Кто ее родители? Кто этот мужчина, который стал причиной ее страданий, почему оставил ее в беде одну?

За размышлениями я даже не заметил, что в окне посветлело. Плач младенца вернул меня к действительности. Взглянул на часы: начало восьмого. Заварив чаю, я вошел в комнату к незнакомке.

Она кормила ребенка. Увидев меня, быстро прикрыла грудь.

— И зачем вам было беспокоиться, вот ведь у меня еще полная пиала!

¹ К а с а — чаша, большая пиала.

— Заварил вам свежего,— объяснил я, ставя чайник на стул. Взял чистую пиалу, положил сахару.— Попробуйте горячего, сладкого — сразу сил прибавится.

Бросив на меня благодарный взгляд, женщина приняла пиалу и стала пить из нее маленькими глотками. Спихватилась:

— А сами-то вы поели?

Я неопределенно мотнул головой, что можно было истолковать как «да», и, ожидая, когда она возвратит мне пустую пиалу, на минуту задержался возле ее постели.

— Что вы делали на кладбище ночью? — спросила она, укладывая младенца рядом с собой.

— Возвращался домой.

Женщина смотрела, не понимая.

— Там могила моей жены... — я невесело улыбнулся. — Обычно хожу этой дорогой.

— И давно она... умерла?

— Скоро два года.

— А дети у вас есть?

— Жена должна была родить... мы даже приготовили все для ребенка. Только сердце у нее большое было, не выдержало.

Женщина горестно охнула, помолчала, потом указала взглядом на портрет на стене:

— Она?

Я кивнул.

— Бедная... Красивая была...

Я спросил:

— Хотите еще чаю?

В этот момент малыш повернул головку в ту сторону, где его щеки касалась пеленка, и принялся хватать ее ротиком, потом беспокойно заворочался. Мы оба невольно улыбнулись такому проявлению аппетита, понимающе переглянулись. Но молодая мать тут же перестала улыбаться, взгляд ее потемнел.

— Мальчик... оказался... — тихо сказала она и отвернула лицо от меня. Поняв, что ей надо выплакаться, я тихо вышел.

III

Я брился, когда с улицы послышался сигнал машины. Выйдя на балкон, я сказал водителю, что скоро спущусь, и отправился в ванную. В глаза мне бросился ворох гряз-

ной одежды, кое-как завязанной в узел. Умывшись, я занялся приготовлением завтрака. Сам закусил чем бог послал, прямо на кухне, а для гостьи приготовил омлет и отнес его с кипяченым молоком к ней в комнату. Женщина спала; похоже, ей большую часть ночи пришлось провозиться с ребенком и только сейчас удалось сомкнуть глаза. Я не стал будить ее. Поставил поднос с едой на стул возле постели, накрыл салфеткой; встанет — позавтракает. Оставил записку — несколько слов: чтобы поела (запасы — в холодильнике) да не вставала с постели; что белье для малыша — на стуле, что я уезжаю на работу, вернусь вечером. Принес и положил рядом стопку пеленок, чистую марлю — все это лежало нетронутое два года... Запер квартиру и вышел. Ключи были у меня, так что я мог не беспокоиться за свою гостью; даже если захочет сделать глупость, сбежать, — выйти не сможет.

На работу немного опоздал. Секретарша сообщила, что меня только что спрашивал директор. В директорском кабинете, кроме хозяина — Нишанова, меня ожидала и главный технолог нашей фабрики Зарифахон.

— Предложение наше одобрили на коллегии министерства, — сообщил Нишанов радостно-приподнятым тоном. — Теперь нужно подготовить расчеты. Придется поторопиться, ибо, как вы сами знаете, если мы выпишем станки из Ленинграда, необходимо пораньше подать заявку. В Ленинграде должны успеть включить наш заказ в план выпуска продукции.

Я пообещал завершить расчеты к концу недели. Затем мы обсудили некоторые наши внутренние фабричные дела, и я ушел в свой кабинет. Сделав все необходимое по службе, съездил в Гипропроект, затем еще успел в строительный трест и оттуда отправился домой.

Сегодня я не стал выходить у кладбища, а проехал прямо к дому. Увидев льющийся из моих окон свет, я понял, до чего же мне осточертело возвращаться вечерами в темную квартиру. Свет в окнах показался мне — сам не знаю почему — предзнаменованием чего-то хорошего. С легким сердцем поднялся по лестнице, отворил дверь и прошел прямо в ту комнату, где лежала женщина. Представляю, каково ей было целый день одной в чужой пустой квартире, слабой и беззащитной, как ее новорожденный. Во всяком случае, увидев меня, она просияла. Краснолицый младенец преспокойно почивал рядом с матерью. Кажется, я тоже разулыбался во все лицо.

— Ну, как дела? — бодро спрашивал я, самым тоном

отвергая всякую, даже отдаленную возможность неблагополучия.

— Ничего... С этой писклей не соскучишься.

— Вы ели что-нибудь, не голодны?

— Спасибо вам, вы же приготовили мне поесть... а днем я еще пила чай.

— Прекрасно! — заключил я, снимая плащ. — Что приготовить теперь?

— Ужин скоро поспеет, — объявила женщина и застенчиво улыбнулась.

— Зачем же вы поднимались! — пожурил я ее. — Ведь я предупреждал, что все сделаю сам.

— Ничего страшного, это же не тяжело, вода и газ под рукой... Я и не устала...

Что было ей отвечать! Только посмотрел укоризненно — и отправился на кухню.

— Вы чудесно готовите, очень вкусно, спасибо, — поблагодарил я ее, когда мы вместе поужинали. Некоторое время я смотрел на нее, размышляя, достаточно ли она успокоилась и пришла в себя, чтобы можно было поговорить всерьез, а потом прямо спросил: — Теперь, может быть, вы откроете мне наконец, как вас зовут?

Женщина подняла голову и тихо ответила:

— Надира...

Ребенок проснулся и тихонечко заскулил, но, видно, стесняясь кормить его при мне, Надира замешкалась, нерешительно поглядывая то на меня, то на ребенка. Забрав касы, я вышел из-за стола. Надира сказала вслед:

— Поставьте в раковину, я покормлю, потом сама вымою их.

— Не думайте об этом, я и сам справлюсь, — успокоил я ее и вышел.

Возвратившись минут через пятнадцать, я увидел, что она перепеленывает младенца.

— Надира, если вам что-нибудь понадобится, прошу вас, говорите без стеснения, я ведь сам могу и не догадаться. И потом... рядом живет мой друг, он хороший врач, я попросил его зайти.

— Ничего не нужно... — смутилась Надира. — Не беспокойтесь так о нас... Потом... я думаю, может быть, мне лучше уйти завтра... Сегодня уже поздновато...

— Куда вы хотите уйти? — спросил я.

Надира задумалась.

— Откровенно говоря, еще не знаю. Может быть, к одной из моих подружек...

— Прошу вас, не думайте пока об этом, окрепнете, тогда посмотрим.

— Представляю, как проклинают меня мои домашние...— Надира тихонько вздохнула.— К родителям мне теперь нет возврата. Если только в махалле¹ пройдет слух, что я убежала из дома, родила,— переполох будет на весь мир. Отец оторвет мне голову — при всем народе. Да, не сладко им теперь... Нет, домой я никогда не смогу возвратиться. Попрошу место в общежитии. Хотя бы дали...

— А где вы работаете?

— Окончила техникум, работала в почтовом отделении,— рассеянно ответила Надира, перевела взгляд на ребенка и продолжила: — Упустила время... Начались сильные головные боли. Сказали, что это осложнение после гриппа. Два месяца пролежала в больнице. До сих пор жалею, что не сотворила там же что-нибудь над собой. Тогда люди в махалле думали бы, что умерла от болезни. Но нет, где-то в уголке сердца у меня жила надежда, я все еще верила... Теперь-то знаю, что совершила ошибку. Так все и покатилося, все рассыпалось у меня... просто судьба злосчастная...

— А что сказал тот... отец?

Брови Надиры сдвинулись, она отвернулась от меня.

— Его я больше не встречала... Да и кому теперь жаловаться, чего плакать — сама виновата. Поверила его обещаниям, лучше бы уж действительно помереть мне... теперь только и остается — либо тайком от всех, даже от домашних, уехать в другой город, либо уж совсем отказаться от жизни...

Надира заплакала. Я искал и не мог найти слова утешения. Но надо же было хоть как-то поднять ее дух, поддержать ее...

— Не убивайтесь так, авось найдется какой-нибудь выход,— нерешительно говорил я.— Вы еще так молоды... все у вас впереди... И потом, какой бы ни был тот человек — ребенок-то это ваш собственный, как же можно желать ему плохого?..

Надира сидела на постели, низко опустив голову, и плакала.

Я поднялся.

— Вы еще не оправились, ложитесь, не то совсем выбьетесь из сил. Если что-то понадобится, зовите, а сами не вставайте, сплю я чуток, проснусь легко.

¹ М а х а л л а — городской квартал.

Я вышел, оставив дверь слегка приоткрытой.

Постоял на балконе, покурил, подумал. Жизнь так иногда обходится с нами... но во всех ситуациях надо оставаться человеком.

Время летело незаметно. Я лег, но спал тревожно, просыпался и всегда слышал плач ребенка. Однако ни разу Надира не позвала меня помочь и ничего не попросила.

Так прошло четыре дня.

IV

До самого вечера я был занят на фабрике, но мысли о доме не покидали меня. Мысли являлись до того противоречивые, что у меня голова пухла. Никак я не мог ухватить ниточку, чтобы размотать проклятый клубок, найти разумное решение. Спрашиваю себя беспрестанно: что же теперь будет делать Надира? То прихожу к решению отвезти ее домой, пусть испытает все, что причитается, что суждено ей. Но как же тогда придется ее бедным родителям! А что с ними сейчас? Неужто им теперь легко?.. Потом начинаю думать, что лучше бы ей действительно пожить пока что подальше от родной махаллы. Но где?

День выдался напряженный, я выехал домой позже обычного и тут же увидел на тротуаре Зарифу. Остановив машину, я окликнул ее:

— Садитесь, подбросим вас.

Зарифа без возражений села рядом со мной. Тронулись.

Мы с Зарифой оба молчали — как будто между нами черная кошка пробежала. Занятый своими мыслями, я не видел ничего вокруг, только раз почувствовал, что Зарифа смотрит на меня. Впрочем, она вела себя тактично и, когда я с ощущением неловкости обернулся к ней, сделала вид, будто разглядывает что-то на улице. Она чувствовала мою тревогу и растерянность, раза два словно бы собиралась спросить о чем-то, но не осмелилась.

— Что-то вы невеселы сегодня, Сабит-ака?.. — решила она наконец.

На секунду я смешался, не зная, что ответить.

— Устал, наверное...

— Давно уже мы с вами не виделись... — тихо укорила Зарифа.

— Ну что вы говорите! Ведь по сто раз на дню встреча-

емя. — Я притворился, будто не понимаю скрытого смысла ее слов.

Зарифа лишь улыбнулась, но в улыбке ее была тревога.

После смерти Манзуры я какое-то время находился в прострации, все на свете было мне безразлично. Мы с женой были очень близки, и теперь я остался совершенно одиноким и не подготовленным к этому одиночеству. Не стало близкого человека, которому я посвящал все свободное время; не говорю уже о том, что ни развлечений, ни веселья не было больше в моей жизни. Только работа. Привез было из кишлака свою мать, но она не смогла пробыть у меня долго, — видно, слишком привыкла к вольной жизни на свежем воздухе, в городе начала часто болеть. Пришлось отвезти ее обратно в кишлак. В это тяжелое время я по-человечески сблизился с Зарифой — то ли ее мягкий характер и тактичность сыграли роль, то ли скромная непритязательность. Вот уже скоро полгода, как мы иногда встречаемся после работы, гуляем с ней по городу, болтаем о том о сем, и я не так остро чувствую тоску одиночества.

Кажется, я допустил бестактность. «Сто раз на дню» — это, пожалуй, даже грубовато вышло, — во всяком случае, Зарифа сразу замолчала. Я почувствовал неловкость, даже стыд, но не старался загладить свою оплошность. Не хотелось затевать разговор, а усложнять его — тем более.

Во весь дальнейший путь мы не проронили ни слова. Когда машина остановилась возле ее подъезда, Зарифа, уже открыв дверцу, спросила:

— Наверное, у вас накопилось много белья для стирки?

— Спасибо... соседка уже постирала... — поспешно отозвался я.

— Ведь просила же — скажите, когда наберется, — обиделась Зарифа.

Я только виновато улыбнулся в ответ.

Попрощавшись, Зарифа вышла из машины.

Возле дома я зашел в магазин, потом в аптеку и, нагруженный свертками, поднялся в свою квартиру.

Еще на лестнице я услышал сердитый плач младенца.

Сложив покупки на кухне, я раздевался в коридоре, когда из ванной показалась взлохмаченная Надира. Увидев меня, поспешно запахнула халат поплотнее и открыто и доверчиво улыбнулась мне.

За ее спиной через полуотворенную дверь ванной я увидел развешанные пеленки.

— Кажется, скучать вам некогда?

— Малыш плачет, совсем замучил, — пожаловалась Надира. — Может, у него болит что-то...

— Сейчас посмотрим, — сказал я и пошел в спальню. Надира за мной. — Если нужно, вызовем врача.

Младенец исходил криком.

— А если он голодный? — предположил я.

— Сколько же можно есть? — удивилась Надира. — Хотя... уже часа два прошло.

Я молча вышел на кухню, развернул свои покупки, добыл соску, вымыл ее и, вернувшись, дал малышу. Тот звучно зачмокал и сразу успокоился.

— Имя вы ему придумали? — спросил я у Надиры.

Она застенчиво потупилась:

— Как вы скажете, так и будет.

Я недолго раздумывал:

— Давайте назовем его Бахтияр — Счастливый!

Надира согласно кивнула.

— Пусть он будет счастливым, маленький Бахтияр! — уже тверже заключил я.

V

Прошла неделя. Щеки Надиры из мертвенно-бледных сделались нежно-розовыми, она значительно окрепла. Правда, я видел, что настроение у нее плохое, тоскливое. Когда я возвращался с работы, она старалась выглядеть довольной и спокойной, держалась приветливо, но я чувствовал, каких усилий ей это стоит. Чувствовал — и бессилен был помочь ей. Накупил для маленького Бахтияра распашонок и ползунков, думая этим развлечь и утешить Надиру, но покупки пришлись не впору, все оказалось слишком большое. Посмеялись, и снова Надира погрустнела. «Не скоро пригодятся — сколько времени ждать... его еще прожить надо», — сказала.

Прошло еще несколько дней. Как-то так само собой получилось, что за, в общем, очень небольшое время я не только привык, но и привязался к своим «гостям». Обнаружил вдруг, что еле-еле могу дождаться конца рабочего дня; освободившись от дел, тороплюсь не куда-нибудь, а побыстрее домой, на лестнице перепрыгиваю через несколько ступенек, радостный, влетаю в квартиру. Слышу льющуюся из радиоприемника музыку, бульканье варящегося в котле ужина, вижу светлеющее лицо Надиры, шевелящего ручками и ножками распеленатого Бахтия-

ра — и чувствую себя счастливым. Мир вдруг делается прекрасным, жизнь окрашивается в яркие тона.

Настал день, я вошел утром к себе в кабинет — и вижу: на моем письменном столе цветы в вазе и рядом коробка. Я искренне удивился. Открыл коробку — там оказалась электробритва и лежала записка: «Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья!» Конечно, это Зарифа. Чуткий, прекрасный человек. И вот ведь — сам я позабыл о собственном дне рождения, а Зарифа помнит.

После работы с бутылкой шампанского и коробкой шоколада я поднялся к себе домой. Открыл дверь, смотрю — в комнатах темно. Ни плача Бахтияра, ни музыки из радиоприемника! Мертвая тишина. У меня сердце упало. Зажег скорее свет, бросился в спальню. Никого. Кровать, на которой спала Надира, застелена. В ногах оставлен мохнатый халат Манзуры. Огорошенный, растерянный, я вышел в свою комнату. На столе — листочек бумаги. Записка. Схватив, пробежал взглядом:

«Сабит-ака! Прошу Вас, не посчитайте мой уход проявлением неуважения к Вам. Просто я не знаю, как сделать иначе. До каких пор можно оставаться обузой! Ведь даже самые большие доброта и заботливость — не бесконечны. И я должна об этом помнить. Что скажут Ваши знакомые, друзья? Ведь, по сути, я для Вас посторонний, случайный человек, зачем же Вам к своим заботам прибавлять еще новые! Вы сделали для меня много доброго. Не знаю, что стало бы со мной, если бы не вы, — тут и объяснять ничего не нужно. Я буду помнить Вас столько, сколько буду жить. Я еще никогда не встречала такого человека, как Вы. Я посвящу всю свою жизнь тому, чтобы вырастить моего Бахтияра таким же благородным человеком, как Вы.

Если бы я спросила Вас, Вы бы, я знаю, не разрешили мне уйти. Только поэтому я уйду тайком. Простите меня. Простите, если я этим обижаю Вас, — что я могу сказать в свое оправдание...

Прощайте. Пусть Ваша жизнь будет долгой. Будьте счастливы!

Надира».

Я как сел у стола, так и просидел сам не знаю сколько. Когда наконец взглянул на часы, оказалось, что уже больше двенадцати. Не раздеваясь, я прилег на диване.

Несколько следующих дней я ходил сам не свой. Настроение было отвратительное. Все валилось из рук. Уж не помню, что и как говорил людям; приходилось делать над собой усилие, чтобы взяться за работу. Беспреданно курил. Даже милый голосок Зарифы теперь резал мне ухо. Окружающие сочувственно перешептывались. Тем, кто вдруг начинал осведомляться о моем здоровье, я отвечал, что просто устал без отпуска. Я, конечно, не был болен, но и здоров, видимо, тоже не был.

Как-то раз я ушел с работы пораньше, вернулся домой, лег на диване, неспособный что-либо делать, что-то предпринять. Вдруг пришла Зарифа. Пыталась разговаривать, развеселить меня, но я оставался безучастным; почувствовав мою холодность, она вскоре ушла.

Может быть, Зарифа-то и подтолкнула меня — сейчас уж трудно сказать.

Наутро я не пошел на работу, а стал одно за одним обходить почтовые отделения. Потратив полдня, я наконец-то напал на след Надиры. В почтовом отделении на Куйлюке молоденькая голубоглазая девица, загадочно понизив голос, принялась допрашивать меня: «Кто вы? Кем вам доводится Надира? Для чего нужна вам?» Я рассказал обо всем, как оно было на самом деле. Ну, понятно, не совсем уж обо всем, а почти. Девица не поверила. Кажется, она решила, что родители Надиры заявили в милицию, и вот я хожу и расследую.

— Если вы все же увидите с Надирой, передайте ей, что я приходил. Передайте, что беспокоюсь, как приняли, не обидели ли ее родственники,— попросил я в конце концов и, обескураженный, повернулся, чтобы идти, но голубоглазая девушка вдруг остановила меня:

— Скажите правду, вы и есть тот самый человек? — она испытующе смотрела мне в глаза.

Я поклялся — именно тот самый!

— Надира не хотела возвращаться домой,— заговорщическим шепотом сообщила девушка.— Сначала она встретила со мной. Я ей рассказала, что отец ее все стоит на своем и отвернулся от нее, и тогда она не поехала к себе. Сейчас живет у меня, но об этом никто не знает.

Волна радости окатила меня.

— Что же вы молчали! — выкрикивал я это или что-то столь же бессмысленно-счастливое.

— Тс-с! — голубоглазая беспокойно оглянулась, явно

опасаясь, чтобы нас не услышали.— Если хотите что-нибудь передать ей, говорите...

— Я должен увидеться с ней сам, что еще за разговоры через третьего человека! — нетерпеливо прервал я девушку, стараясь скрыть охватившее меня волнение.

Подружка, кажется, смягчилась,— во всяком случае, она сделала знак следовать за ней. Мы долго шли по каким-то узеньким кривым улочкам, пока, наконец, не уперлись в калитку ее дома. Сердце у меня бешено колотилось.

Надира была во дворе — склонилась над тазом на табуретке и стирала. Увидев меня, она застыла, с рук капала мыльная пена...

Я никак не мог собраться и сказать что-то осмысленное.

— Ну вот, как хорошо... все у вас в порядке,— выдавил наконец я.

Надира смотрела растерянно и грустно.

Она первая овладела собой — рассмеялась:

— Нашли все же!

— Я очень беспокоился о вас...

Машинально вытирая мокрые руки, Надира не сводила с меня вопрошающего взгляда, и я читал в нем: «Неужели!»

— Проходите в дом, пожалуйста,— спохватилась она.

— Я только на минутку... взглянуть и узнать, как у вас... все ли в порядке. Теперь я не беспокоюсь...

— Спасибо вам...

«Собирайтесь, я увезу вас»,— слова эти вертелись у меня на языке, но подруга была тут же, во дворе, и я стеснялся ее. Почувствовав мою скованность и замешательство, Надира быстро глянула на свою подругу, и та, сообразив, скрылась в доме. Теперь Надира повернулась ко мне и, смущенно улыбаясь, посмотрела вопросительно. Я старался выглядеть спокойным и уверенным, но, кажется, у меня плохо получалось. Голос предательски дрожал.

— Как Бахтияр?..

— Хорошо...

— Холодно, не простудите...— и больше я ничего не мог выговорить.

Надира, растерявшаяся не меньше моего, согласно кивнула:

— Постараюсь...

Я не знал, что еще сказать ей. Все слова вдруг обесценились в сравнении с тем, что происходило. Мне показалось, что Надира понимает, с какой целью я пришел к ней,

но не смеет мне помочь, а я не мог решиться, язык словно бы перестал повиноваться мне

Мы оба молчали.

Тоска одиночества вдруг сжала мне горло. Заставив себя улыбнуться, я взглянул Надире в лицо.

— Ну ладно, пойду я... Пусть у вас все будет хорошо... — и повернулся к выходу со двора.

Надира проводила меня до калитки, мягко поблагодарила:

— Спасибо вам за то, что пришли.

Я лишь усмехнулся, стыдясь своей неожиданной немоты, и вдруг решил:

— Если вы согласитесь, я увезу вас к себе домой.

Опустив глаза, Надира молчала.

Я подождал, потом попрощался — что мне еще оставалось?

Надира так и не подняла головы.

VII

То ли и взаправду так, то ли оттого, что у меня было скверно на душе, но показалось мне, что дел накопилось выше головы. Разговор с Надирой неожиданно обескуражил меня, и, чтобы не изводить себя сменой надежд и разочарований, я окунулся в работу, утонул в ней — и вынырнул на поверхность и огляделся, лишь когда уже стемнело. Еще днем я отпустил своего шофера, поэтому пустился в обратный путь пешком. Пронизывающий холод заставлял идти быстрее; похоже было, что выпадет снег. Оголившиеся ветви деревьев хлестали друг дружку под ветром, стараясь сбить последние, непонятно как удержавшиеся сухие листья. Людей на улице не было, непогода всех разогнала по домам. Через час пути я добрался до кладбища. Повернул на знакомую тропинку. Тихо. Только вой ветра слышится.

В доме моем большинство окон уже темные, лишь витрина магазина празднично сверкает. В подъезде тускло светит одинокая лампочка; поднимаясь, нужно смотреть под ноги. Когда, помню, повернул на площадке — последние девять ступенек до квартиры остались, — вздрогнул от неожиданности: у двери сидела на корточках Надира, прижимая к себе ребенка. От радости я не мог и слова сказать, лишь бормотал что-то нечленораздельное. Наконец я догадался отворить дверь:

— И давно вы ждете здесь?

Надира, смущаясь, молча кивнула.

— Пойдемте скорее, — я помог ей подняться, взял под руку, — замерзли, наверное.

Мы вошли в квартиру.

Надира занялась ребенком, покормила и уложила его, потом, став перед зеркалом, принялась расчесывать волосы. Я отправился на кухню готовить ужин. Засыпал в котел рис, поставил плов томиться на медленном огне; увидел в холодильнике так и оставшуюся не открытой в день моего рождения, завернутую в бумагу бутылку шампанского — откупорил. Наполнил два бокала, принес, один протянул Надире.

— Нет-нет, что вы, бог с вами, я не буду пить, — отказалась она, растерянно хлопая ресницами.

— Ну как же... нельзя не выпить, — настойчиво уверял я, — за ваше возвращение, за Бахтияра! Поднимайте!

Надира, стесняясь, приняла из моих рук бокал.

— Только я не смогу все... Один глоток, ладно? — попросила она.

— Да сколько сами захотите... Хоть пригубите!

Мы чокнулись и как стояли возле стола, так, не присаживаясь, принялись маленькими глотками тянуть шампанское. Я увидел в глазах Надиры радостные искорки, и на душе у меня сделалось легко, пришло ощущение праздника. Хотелось даже поднять Надиру на руки и покружить по комнате. Расстегнув тугий воротник рубашки, я спустил узел галстука и, напевая себе под нос привязавшуюся модную мелодию, отправился на кухню, чтобы выложить уже готовый плов на блюдо. Плов получился отменный. Приготовив стол, я снова наполнил свой бокал и чокнулся с бокалом Надиры — там еще оставалось немножко шампанского. Надира снова стала отказываться, но я настаивал.

— Да вы не бойтесь, это же шампанское, от него крови больше станет, — повторял я то, что обычно говорят в таких случаях. — Здоровее только сделаетесь, сил прибавится!

Я выпил, Надира тоже справилась со своим бокалом.

— Ну вот, молодчина!

То ли от моих похвал, то ли под действием вина Надира покраснелась, ее черные глаза загорелись ярким блеском. Она, казалось, забыла о тяжелом, и красота ее расцвела на глазах. Я засмотрелся на нее, в ответ она смущенно, застенчиво улыбнулась.

— Прошу вас, попробуйте плов,— сказала она, чтобы отвлечь мое внимание,— видно, я слишком откровенно любовался ею.

Мы принялись за плов, а потом я почувствовал, что у меня стали слипаться глаза. Посмотрел на часы — оказалось, третий час ночи.

Тут еще проснулся Бахтияр, заплакал. Я лег и скоро заснул, но спал беспокойно и слышал, что Надира ходит с ним по комнате из одного конца в другой, не спускает с рук,— похоже, оберегает мой сон. Мне стало жалко ее — ведь ни на минуту глаз сомкнуть не удалось. Я поднялся, пошел к ней.

— Отчего вы не спите? — растерялась Надира.— Мы, наверное, отдохнуть вам не даем?

— Я-то поспал, а вот вы, кажется, и не ложились,— поспешно возразил я.— До рассвета еще час-полтора. Ребенка дайте мне, а сами постарайтесь вздремнуть.

— Нет! Что вы! — испуганно отказалась она.— Вам утром на работу, вы должны спокойно выспаться. А я могу отдохнуть и днем...

— Днем — это совсем другое дело, да и не выдержите вы, если спать не будете...— Я протянул руки: — Давайте Бахтиярчика, я все равно не сплю, посмотрю за ним. А вы ложитесь, постарайтесь заснуть.

Неожиданно Надира каким-то словно бы безотчетным, доверчивым движением передала мне ребенка: кажется, она даже растерялась, не понимая, как это у нее получилось. В ее глазах блеснуло тепло признательности, и я почувствовал, что и в душе ее тоже проснулось теплое чувство.

VIII

Бахтияр стал подолгу разглядывать нас, улыбаться, с ним становилось интересно. Если раньше я обедал на фабрике, то теперь у меня вошло в привычку приезжать днем домой — так мне хотелось видеть малыша.

Как только войду в комнату, беру его на руки, не могу удержаться, даже если он спит. Надиру это, кажется, радует. Не успеваю оглянуться — перерыв уже кончается, пора ехать на фабрику.

Сегодня после конца работы заглянул в магазин, купил целую кучу игрушек-погремушек. Выхожу на улицу, смотрю — возле машины стоит Зарифа и болтает с шофером. Меня словно ледяным душем окатило. «Постою-ка лучше,

пережду в магазине», — подумал я и только повернул обратно, как Зарифа посмотрела в мою сторону. А, была не была, пошел к машине. Увидев в моих руках игрушки, Зарифа улыбнулась:

— У кого-то из ваших друзей прибавление в семействе?

— У меня самого.

Зарифа приняла сказанное за шутку.

— Значит, вас можно поздравить? А когда торжество — сегодня?

— Поздравить можно. Поехали, отпразднуете вместе с нами, — пригласил я и сложил покупки в машину.

Безмятежная улыбка на лице Зарифы погасла, глаза сверкнули тревожным блеском.

— Значит, чужие дни рождения отмечаете, только о собственном забыли?

— Этот — не чужой.

— А чей же?

— Моего сына.

— Шутите?

— Нет. Если не верите, поедem — посмотрите.

Зарифа смешалась, но из гордости постаралась скрыть растерянность, попробовала улыбнуться. И все равно видно было, что нервничает.

— Значит, вас и вправду можно поздравить? — голос ее дрогнул.

— Можно...

— Так вот какими делами вы занимаетесь тайком от друзей, а? Вообще-то я и сама предполагала... раз уж вы забыли обо всех других...

— Мне нечего скрывать от друзей. Я ничего такого не сделал, чего надо было бы стыдиться.

— Ну конечно... — Зарифа холодно кивнула. — Конечно... Прощайте, извините, что отняла у вас столько времени, я не предполагала...

— Ничего страшного, — ответил я мягко.

На глазах девушки выступили слезы, и, чтобы не показать их, она поспешила скрыться за спинами прохожих.

Придя домой, я застал Надиру возле ребенка. Подперев голову рукой, она лежала с малышом на тахте, смотрела — и лицо у нее было грустное.

Вот уже скоро два месяца, как Надира пришла в мой дом. Иногда я вижу ее веселой и радостной, она расцветает и хорошеет, но вот снова припомнит свои горести, вернется к ним — и опять делается замкнутой и печальной. Я знал,

что ее беспокоит больше всего: родители. Думая о них, она не может заснуть.

Утром, собираясь выйти из дома, я передал Надире листок бумаги, над которым долго думал ночью.

— Это письмо вашему отцу,— объяснил я.— Если вы согласны, так и сделаем. Надпишите адрес и отправляйте.

Надира пробежала взглядом написанное и быстро и испуганно посмотрела на меня. Из ее глаз брызнули слезы. Потом она бросилась мне на грудь...

IX

Зарифа вышла из штамповочного цеха и, сделав вид, что не видит меня, направилась к сырьевому складу. Я занялся вентиляционными трубами. Через некоторое время она вернулась и сообщила мне, что несколько кусков кожи были оставлены на цементном полу и отсырели. Теперь эту кожу уже нельзя пускать на обувь. Во-первых, ее тяжело кроить на станках, а во-вторых, сшитая из нее обувь садится. Заведующий складом жаловался, что помещение тесное — оттого все и получилось. Отдав необходимые распоряжения, я попросил Зарифу зайти ко мне до конца рабочего дня и отправился на стройку, где возводился наш новый цех.

Ближе к пяти Зарифа заглянула в кабинет:

— Чем могу быть полезна?

— Я хотел бы поговорить с вами, давайте пройдемся после работы, время у вас, надеюсь, найдется? — я старался выглядеть беспечным.

— Хорошо,— радостно согласилась девушка, но тотчас осеклась: — А если ваши домашние беспокоятся станут, что тогда будет, выговор не получите?

Я усмехнулся, но ничего не сказал.

* * *

Мы медленно шли вдоль принарядившихся в первую весеннюю зелень похорошевших улиц. Я люблю наш город, его улицы, вечернее убранство его широких проспектов. Люблю стройные высокие мачты фонарей, тянущиеся двумя рядами вдоль тротуаров. А когда лампы наполняются мягким сиянием, а в небе зажигаются звезды, мне кажется, что освещенная молочным светом улица уходит прямо в небо, теряется среди звезд.

По дороге мы болтали о чем угодно, только не о наших

личных планах и проблемах — этой темы мы старательно избегали. И мне не могло не вспомниться — какой же открытой и дружелюбной была Зарифа со мною раньше, с каким жадным вниманием слушала меня, о чем бы я ни говорил; теперь же она держалась подчеркнуто независимо, и лишь иногда, сменяя маску безразличия, в лице ее проскальзывала растерянность.

— Вы обещали о чем-то поговорить со мной, кажется... — напомнила она, стараясь иронией замаскировать тревогу.

— Даже не знаю, как объяснить вам... — вырвалось у меня.

— А вы не мучайтесь зря, говорите прямо.

— Вы знаете, Зарифа, как я к вам отношусь...

Зарифа только иронически хмыкнула; она шла рядом со мной и делала вид, что внимательно смотрит под ноги, как бы не поскользнуться.

Чтобы она лучше поняла меня, я обстоятельно рассказал обо всем, что произошло в моем доме.

— Простите, — прервала меня Зарифа, — только зачем вы расписываете мне это? Разве я говорила вам когда-нибудь или, может, намекала, что обижена, недовольна?

— Конечно, нет, — поспешил согласиться я, — просто я хотел объяснить, что невольно оказался в сложной ситуации... и чувствую теперь определенную ответственность — и только.

— После смерти вашей жены вы болезненно переживали свое одиночество, я видела это и проявила по отношению к вам естественное человеческое участие... ну и что же, я ни о чем не жалею, любая другая девушка на моем месте поступила бы, я думаю, точно так же... и выводить отсюда какие-то обязывающие заключения просто неуместно...

— Вы, конечно, правы, — остановил я ее. — Я и сам думаю так же... Просто я хотел сказать вам... признаться... если после смерти жены я и думал о ком-то, так только о вас... Наверное, не надо объяснять, почему я не считал возможным говорить с вами об этом...

Зарифа опять усмехнулась, не стала отвечать.

Дальше мы шли молча. Возле трамвайной остановки Зарифа замедлила шаг.

— Уже поздно, — наверное, она ждет вас, волнуется. Вон трамвай.

Поднялись в вагон. Никого, только в углу дремала, спрятав нос в ватную телогрейку, узбечка-кондуктор. Уви-

дев нас, с неохотой подняла голову, сонным голосом объявила:

— Трамвай идет в парк,— и снова задремала.

Там, где трамвай заворачивал в парк, мы вышли.

Я направился было в ту сторону, где жила Зарифа, но она остановила меня.

— Будет лучше, если вы пойдете домой.

— Я провожу вас.

— В этом нет надобности,— искренне сказала девушка.— Да и вам еще далеко добираться. Я уж сама добегу, тут близко, да и улицы спокойные.

— Как же это?..— удивленно протянул я.— Оставляю вас на полдороге, сам уйду? Нет уж!

Зарифа стала передо мной, уперлась в мою грудь обеими руками.

— Нет, Сабит-ака!..— Затем добавила мягче, попросила:

— Не нужно!

На все мои резоны она находила ответ и в конце концов отправила-таки меня домой.

Когда я поднялся в свою квартиру, Надира не спала, гладила мне рубашку на завтра.

— Вы чем-то встревожены? — обеспокоенно спросила она.

— Ничего... Все в порядке. Дела задержали.

Надира поспешила на кухню приготовить ужин, а я отворил дверь в спальню и долго стоял и смотрел на сладко спящего Бахтияра. Потом Надира позвала меня за стол.

Поужинав, я прилег на диване, закрыл глаза.

Рядом со мной села Надира, положила ладонь мне на лоб, спросила:

— Почему вы такой грустный?

Я ничего не ответил.

— Что-нибудь на работе?

Я покачал головой.

Х

Прошло еще недели две. Как-то прихожу я домой, а там сидит незнакомый мне мужчина под шестьдесят. Надира стоит испуганная, скрестила руки на груди, плечом прислонилась к буфету. В лице ни кровинки, длинные ресницы слиплись — видно, только что плакала. У меня сердце упало. Одна рука незнакомца тяжело лежала на колене, другая — на столе. Судя по выражению лица, пришел он не с добром.

Надира грустно улыбнулась.

— Это мой отец,— объяснила она.

Хотя на первый взгляд отец не вызывал симпатии и показался мне агрессивен, я приветствовал его как можно радушнее. Как полагается, расспросил его о семье, о здоровье каждого, о доме, о хозяйстве — все ли благополучно? На все мои вопросы он отвечал сухо и односложно: «Слава богу, неплохо».

— Ты уже приготовила что нужно для плова, Надира? — я повернулся к ней и мигнул подбадривающе.

— Сейчас! — и она бросилась было на кухню.

— Стой! Плов не нужен, садитесь вот сюда! — приказал старик, и Надира снова замерла в испуге.— Разговор есть...

— Если есть о чем поговорить, так это ведь никуда не денется. К чему спешить? — я решил попробовать взять хитростью.— Еще рано, торопиться нам некуда — отведаем плова, подкрепим силы, а тогда уж и побеседуем обо всем. Ступай же, Надира, начинай готовить.

Мне показалось, что гость наш немного поостыл, во всяком случае, вид его сделался несколько менее грозный.

Надира поняла, что отец чуточку смягчился, и в глазах ее заблестели радостные искорки.

— Правильно, дада, немного отдохните, а потом уж пойдете,— умоляюще проговорила она.

— О чем может быть речь! — уверенно вмешался я.— Конечно, пойдете только после плова... Теперь вы полностью в нашей власти. Не зря же сказано: «Гость приходит по своей воле, а уходит лишь по воле хозяина!» Ну иди же, Надира, поторопись, готовь быстрее, я тоже очень проголодался.

В общем, мы с Надирой старику и слова не дали вставить. Я нажимал изо всех сил — на всякий случай. На самом же деле ее отец был, как оказалось, очень тихий и мирный человек. Он даже растерялся от такого натиска. Только что исполненные гнева и жестокости, глаза его сейчас поблескивали едва ли не испуганно, кроткие, как у ребенка.

— У меня готова шурпа,— предложила Надира,— тогда я, может быть, подам ее, немножечко перекусите, а там и плов подоспеет...

— Превосходно! Пойду принесу касы,— объявил я, поднимаясь с места.

На кухне мы с Надирой посмотрели друг на друга и рассмеялись.

— Как хорошо, что ты пришел,— шепнула она мне.— Чего он только тут не наговорил...

— Ладно, не бойся, самое трудное уже позади, теперь будет легче. Да, а может, нам немного выпить? Как он?..

— А удобно это?

На столе разостлали скатерть, появились дымящиеся касы. Мой гость смущенно взялся за ложку. Чтобы он чувствовал себя получше и посвободнее и чтобы не дать ему возможности начать разговор, который неизвестно куда заведет — а он все порывался высказаться,— я пустился болтать о чем попало и в том числе рассказал несколько смешных и поучительных историй, которые случились у меня на фабрике. Постоянно лицо нашего гостя прояснилось, он кивал головой, одобряя мои слова. Неприязненной отчужденности как не бывало.

Когда мы съели примерно по половине касы вкуснейшей шурпы, я словно бы вдруг вспомнил:

— Эх, надо же быть таким бестолковым! Вовремя не догадался предложить!.. Что за дурная голова!

Мой тесть с самой искренней озабоченностью стал спрашивать, что же все-таки произошло.

— Да не догадался, совсем забыл, у меня ведь было немного где-то припрятано, надо же — и на стол не поставил... а то как славно посидели бы, душевно поговорили бы... Сейчас пойду поищу, должна же она отыскаться!

— Да что вы, не надо! — стал возражать тесть.

— Почему, ведь мы же не чужие люди! Когда душе охота немножечко пропустить, какой уж тут грех! По чуть-чуть...

Сделав вид, что ничего не слышит, отец Надиры принялся вытирать полотенцем шею, цветом напоминавшую сушеную дыню.

Вскочив с места, я принес початую бутылку водки, тут же наполнил рюмки и предложил:

— За ваше здоровье!

Тесть, словно желая сказать «ай, как нехорошо», покачал головой.

— У меня никого нет, я вырос сиротой,— продолжал я, и что-то в моем голосе было такое, ну, в общем, отец Надиры стал слушать меня внимательнее.— Мой отец погиб на войне. Прихожу в дома к друзьям, вижу их отцов — и, бывает, такое одиночество чувствую, будто я самый несчастный человек... И мечтаю тогда — вот если бы и у меня был отец! Наверное, мольбы мои дошли до аллаха, вот вы и сидите здесь!

Видно, душа старика встрепенулась, отозвалась живым сочувствием, потому что он судорожно глотнул воздух и, как бы умеряя свое волнение, слегка усмехнулся.

Мы помянули моего отца, потом выпили за здоровье тестя.

Когда я снова наполнил рюмки, отец Надиры заговорил:

— Сынок, я тоже думал, придет ли такое время, когда я буду радоваться, увидев зятя... думал, исполнятся ли мои надежды, мечты о счастье дочери... и вот аллах исполнил мои желания, хвала ему за это! Будьте счастливы, живите вместе до глубокой старости, пусть аллах всегда наделяет тебя удачей и счастьем! Ты, оказывается, очень душевный человек. Я тысячу раз согласен и счастлив!

В это время из соседней комнаты слышался плач Бахтияра.

— Да! Самое интересное-то позабыли, сейчас! — закричал я и, сбегав в спальню, вынес оттуда Бахтияра. — Вот, дедушка, взгляните на своего внука! — и протянул ему малыша.

Тесть мой принял ребенка с волнением, взгляделся в его личико, затем крепко прижал к груди. По морщинистой, напоминающей кожуру грецкого ореха щеке скатилась слезинка.

Надира пришла из кухни за блюдом для плова, увидела Бахтиярчика на руках у деда, заплакала и убежала. Я не знал, куда кидаться, кого утешать.

— Поздравляю тебя, сын, — торжественно произнес старик, вытирая рукавом слезы на глазах.

— И вас тоже поздравляю, дада... поздравляю с внуком!

Тесть еще что-то бормотал, но я уже ничего не мог разобрать: его волнение, его теплое чувство ко мне настолько тронули меня, что я и сам разволновался.

— Дада, — тихо заговорил я, чуть успокоившись. — Мы — и я, и Надира, — мы вместе провинились перед вами. Но мы были вынуждены тайно начать нашу совместную жизнь... Почему? Дело в том, что между нами... — Не зная, как еще объяснить, я взглянул на Бахтиярчика. Тесть тоже перевел взгляд на малыша и укоризненно покачал головой. — Но мы уже давно друг друга... — Не находя нужных слов, я беспомощно обернулся к Надире; она молча, опустив голову, стояла в дверях. — Одним словом, мы любим друг друга...

— Так если любите, не могли разве хоть слово ска-

зять?! — рассердился мой тесть. — Мы ведь тоже люди, поняли бы!

Сдвинув брови на переносице, я серьезно кивнул в знак согласия со сказанным.

— Как я теперь появлюсь среди людей, как подниму перед ними голову? Прежде никому и слова не давал сказать, но вот уже полгода не смею рта раскрыть. Соседи расспрашивают, я отвечаю — мол, дочка уехала учиться, так они только плечами пожимают. Стыдно мне! А мать — та теперь боится через порог на улицу выглянуть... «Чем дочь такую, лучше бы я камень родила!» — вот что она говорит.

Надира тихо заплакала, и я тоже опустил голову, чувствуя себя без вины виноватым.

— Сейчас я ищу место для жилья в другой махалле, и в тот же день, как найду, так и переедем, — объявил в заключение тесть.

— Зачем же вам искать место? — предложил я. — Вот, чем вам не жилье, приходите жить к нам, всем места хватит...

— Э, да кто выдержит в этих клетушках! — оборвал старик. — Ни неба, ни света — задохнуться можно. Такие дома нам не подходят. Сами живите и радуйтесь здесь.

— Дада, — серьезно сказал я. — Понятно, соображения деликатного свойства, связанные с проведением традиционного свадебного обряда, нужно уважать, и я готов...

— Ребенку твоему уже шесть месяцев, а ты хочешь свадьбу сыграть?! — вспыхнул мой тесть. — Свадьба не обязательна, мы переезжаем в другую махаллу, все разговоры утихнут сами собой. Единственно что... ну, аминь! — он развел руками и, прочитав коротенькую молитву — фатиху, объявил: — Поскорее пойду к старухе своей, успокою ее немного. А то, бедная, сидит, наверное, за сердце схватившись. Да и время уже позднее.

Он поднялся.

— Передайте маме привет, дада. Пусть она не переживает, — сказала Надира вслед отцу.

На улице, сердечно попрощавшись со своим тестем, я посадил его в такси; когда красные огоньки машины исчезли за поворотом, у меня вырвался вздох облегчения.

Наша с Надирой семейная жизнь наладилась, была она дружной и мирной. Бахтиярчик быстро подрастал, сделался пухленьким и веселым — каждому хотелось его

приласкать. Если раньше я думал, что скучаю по нему, то теперь это кажется пустяком по сравнению с постоянным чувством тоски, если я не с ним, не держу его на руках. Где бы я ни был, что бы ни делал, он всегда присутствует в моих мыслях. Днем жду не дождусь, когда приеду домой, а вечером занимаюсь одним Бахтияром, даже на Надиру стал меньше обращать внимания.

Но, кажется, ей это пришлось по душе: не только не жаловалась, а наоборот — видя мою любовь к ребенку, чувствовала себя счастливой. И с ее родителями отношения наладились. Тесть продал свой дом и переехал жить в другую махаллу. У него прибавилось знакомых, от прежних забот не осталось и следа. Надира о прежних своих страданиях и горестях не вспоминает и часто смеется.

УЧКУН НАЗАРОВ

ТЕАТРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

*Авторизованный перевод с узбекского
С. Шевелева*

По окончании театрального института Махира получила распределение в провинциальный театр, в один из небольших городков Ферганской долины.

Нельзя сказать, что назначение было неожиданным для нее. Скорее уж оно ввергло в растерянность парня, который ухаживал за ней и хотел бы считаться ее женихом, Масудджана.

Сейчас они сидели на скамеечке в городском сквере и никак не могли прийти к общему решению.

— Что же делать, — говорила Махира, — будь моя воля, я бы, конечно, осталась в Ташкенте.

Масудджан только вздохнул.

— И потом, — продолжала Махира, — нельзя не учитывать: пока в Ташкентском театре добьешься приличной, заметной роли — сколько лет ждать придется. Все мои знакомые одно и то же говорят...

Масудджан снова вздохнул. Решительным характером он не отличался, но все же попытался возразить.

— Конечно, инженеру везде место найдется, — рассуждал он, — но какой же резон мне бросать работу в Ташкенте? Кроме того, не кажется ли тебе, что чем играть принцессу в Фергане, лучше играть ее служанку в Ташкенте? И подумай еще: здесь ты ведь станешь работать с известными артистами, многое сможешь у них перенять. А чему ты сможешь научиться там? У кого?

— Ну да, все это правильно, наверное. Но ведь меня не хотят оставлять в Ташкенте, что же мне прикажешь делать! — Махира уже сердилась. — Не могу же я их за горло хватать!

Масудджан помолчал с минуту.

— Если все так складывается, то... — он не осмеливался сразу сказать. — Если мы сыграем свадьбу, а? Все решится тогда само собой.

Махира покачала головой, усмехнулась иронически.

— Разве я сказал что-то смешное? — растерялся Масуджан.

— Странный ты все же. Зачем же было столько учиться — лишь для того, чтобы оказаться запертой в четырех стенах?

— В Ташкенте не один театр, в какой-нибудь я уж тебя пристроил бы.

Махира опять покачала головой:

— Мне просто не выдадут диплом, если откажусь ехать.

Масуджан взял в руки белую легкую ладонь Махиры, погладил, прижал к своему лицу.

— А как же я? — просительно, с укоризной прошептал он. — Мне-то что теперь делать?

— А мои мечты? Ведь я всю жизнь мечтаю о театре, — серьезно ответила Махира.

Через неделю она стояла в рассветном полумраке на пустой платформе и глядела вслед красным огонькам своего поезда, уже отправившегося дальше. Хотя она и знала, что стоянка здесь три минуты, но то, как быстро ушел поезд, тишина и безлюдность вокруг рождали ощущение заброшенности, случайности, ошибки.

Очень захотелось обратно в Ташкент.

Но она храбрилась, даже самой себе не призналась бы, что боится и, кажется, сбежала бы с первым же возвращающимся поездом.

Подхватила чемодан, вышла на вокзальную площадь. Просторно, пусто, неудобно. В центре площади — пересохший фонтан с бетонной аляповатой коробочкой хлопка, больше похожей на надувшегося индюка.

Чувствуя себя очень несчастной, всеми покинутой и никому не нужной, Махира подошла к фонтану, поставила чемодан на бордюр; на пыльном, забытом о воде со времени последнего дождя дне валялись бутылки, галоша, окурки, мятая фуражка с полуоторванным козырьком.

Съжившись от утреннего холодка, Махира присела на чемодан и вздохнула.

Площадь была окружена низенькими бесцветными строениями. По вывескам, по слабо светившим в полутьме лампочкам можно было заключить, что здесь сосредоточена значительная часть городской торговли.

К ступеням вокзала подъехал крытый грузовик, высо-

чил щупленький человечек в тюбетейке, подтянул брюки и побежал на перрон.

Махира разочарованно отвернулась. До чего же плохо быть бесприютным в чужом городе... Невольно она вспомнила вчерашний разговор с Масудджаном — он провожал ее, — и разговор этот, его советы и наставления, его обещания казались сейчас чем-то давнишним и нереальным, полузабытым сном. Она и не разобрала хорошенько, что там Масудджан говорил и обещал такое, потому что у нее от его поцелуев закружилась голова. Целовались они впервые, и сейчас, вспомнив, Махира покраснела.

— Простите...

Она испуганно обернулась. Возле себя увидела давешнего мужчину в тюбетейке — он смотрел на нее, смешно склонив голову набок.

— Простите, сестрица, — повторил он баском, неожиданным для его щуплой фигурки. — Вы не Алиева будете?

Невольно улыбнувшись, Махира встала с чемодана, застенчиво кивнула головой и опустила длинные густые ресницы.

— Салам... — человек протянул руку с длинными тонкими пальцами. — Саидали Тураев, главный администратор театра.

При этих словах он привычным движением подтянул брюки. Махире снова пришлось опустить взгляд.

— Простите, Махирахон — так ведь вас зовут, я не ошибаюсь? — вы нас извините, Махирахон, уж так получилось — заставили вас ждать. Водитель очень поздно возвратился с концерта, проспал, бедняга.

— Ничего, ничего, — успокоила Махира.

— Ну, пойдемте к машине, вы тут, наверное, замерзли. — Тураев поднял чемодан.

Езды всего-то было минуты три.

Спустившись на землю, Махира оправила платье, огляделась. Первое, что она увидела на площадке перед зданием, — сухой фонтан, точь-в-точь как у вокзала, с такой же бетонной коробочкой хлопка.

— Вот это и есть наш театр, — Тураев повел рукой. Махира не уловила, то ли он с гордостью сказал, то ли несколько стыдясь.

Она посмотрела. Длинное одноэтажное строение с шестью колоннами впереди. Колонны — шероховатые от многих побелок. К одной прислонена доска объявлений.

Сбоку театра прилепилась сторожка, у распахнутой

двери на потертом автомобильном сиденье пил чай старик; увидев Тураева, поднялся.

— Гостя. Из Ташкента,— сказал Тураев, ставя чемодан на землю.— Махирахон.

Махира поздоровалась, сторож, приложив руку к сердцу, ответил.

— Вот, приехала к нам работать,— продолжал Тураев.

— Спасибо, добро пожаловать,— приветливо, не отнимая руки от сердца, проговорил сторож. Другой рукой указал на старое сиденье: — Присядьте, доченька, наверное, устали,— и подтянул, поправил обтрепанное одеяло, закрывавшее дыры.

Махира благодарно улыбнулась.

— Спасибо, бабушка, я совсем не устала.

— Садитесь, садитесь, Махирахон, отдохните,— посоветовал Тураев.— Надо немного подождать. Я сейчас...— и он скрылся в сторожке.

— Доченька,— старик протянул ей пиалу,— выпейте чаю, только заварил. (Махира приняла пиалу.) И лепешку...— старик поставил перед ней табуретку вместо столика.

В какое-то мгновение Махире показалось, что этот старик словно бы ее дальний родственник, заботливый и душевный человек, с которым она просто давно не виделась. Она выпила чаю и отведала лепешки.

Из каморки сторожа послышался голос Тураева:

— Салам алейкум, Джура-ака. Приехала. Да, уже у нас. Хм... хм... Хоп, хорошо.

Звук положенной телефонной трубки; в дверях появился администратор, подтянул брюки.

— Так... так...— протянул он, обращаясь как бы к старику.— С жильем туговато... Придется пока поместить Махирахон где-нибудь у нас в театре, а потом авось и найдется что-то получше, более подходящее.— Посмотрел на девушку: — Вы согласны, Махирахон? (Та вымученно улыбнулась, пожала плечами.) Ну и отлично! Пойдемте? — он подхватил чемодан и двинулся к театру.

Махира кивнула старику сторожу, который снова стоял, прижав руку к сердцу, и поспешила за администратором, который уже скрылся в дверях.

Она оказалась в полутемном фойе — скрипучий пол, низкий потолок. По стенам — портреты актеров в рамках.

За фойе был длинный узкий коридор с единственным

окном в самом конце. В тишине шаги Тураева казались топотом. Он открыл какую-то дверь, подождал Махиру.

— Жить пока будете здесь.

Судя по обстановке, это была гримерная: тесно, два пожелтевших зеркала над узким столиком, разбросаны клочья ваты, мятой бумаги, в коробке из-под зубного порошка — вазелин. Запах спирта и пыли.

Вдоль стены слева — диван под когда-то белым, а сейчас почерневшим чехлом, на стене две вешалки, посреди комнаты — четыре стула с продавленными сиденьями, валяется бутылка.

— Вы, наверное, устали, отдохните пока. — Тураев поставил чемодан у дивана, больше похожего на топчан со спинкой. — Наверное, скоро придет реквизитор, тогда принесем вам одеяло и подушку. Я пока побегу по своим делам, работы, знаете, хватает...

Махира уныло кивнула, и администратор исчез.

Она постояла посреди комнатки, растерянно оглядываясь, потом вздохнула, шагнула по скрипучим половицам к окну, открыла его. Увидела двор, загроможденный декорациями к спектаклям, прямо под окном — пожарный водоем с застоявшейся зеленоватой водой, деревянный щит с красными ведерками. Из пруда тянуло гнилью.

Захлопнув окно, Махира села, спрятала лицо в ладонях. Потом бросилась на диван. Плечи ее затряслись.

— Ну, как устроились, Махирахон? — стараясь голосом выразить участие, устало потирая рукою висок, осведомился директор — худой немолодой человек за столом с бархатной скатертью.

Махира втянула голову в плечи.

— Как вам понравился наш город?

— Я еще никуда не выходила.

— Конечно, это не Ташкент, наш городок маленький, Махирахон, но вы привыкнете. — Он нажал кнопку на столе: стук машинки за дверью прекратился, в кабинет заглянула девушка-секретарша. — Позовите Асрора Хамидовича.

Скоро в кабинете появился мужчина лет пятидесяти, курчавый, с нездоровым цветом лица и мешками под глазами. Одет скромно, но опрятно, при галстукке.

— Знакомьтесь, — директор поднялся с места и указал на Махиру. — Махирахон Алиева, прямо из Ташкента,

к нам по распределению. Вашего полку прибыло — примайте молодой талант. — Тут он повернулся к Махире: — Этот человек, Махирахон, — Асрор Хамидович, наш главный режиссер, заслуженный артист республики.

Махира поднялась со стула, поздоровалась.

Главреж вежливо поинтересовался, как она доехала, где родилась, живы ли родители.

Махира ответила, что выросла в детском доме.

Главреж гмыкнул, запнулся, потом спросил, у кого она занималась в институте, задал еще несколько вопросов. Оценивая ее шурил глаза, одобрительно покачивал головой. Видно было, что внешность Махиры произвела на него впечатление. И под конец спросил с надеждой:

— Извините... как у вас с вокалом?

— Немножко пою, — застенчиво ответила Махира.

— Отлично! — воскликнул директор, он даже руки потирал от удовольствия. — Просто отлично, Махирахон! — Потом, сбавив тон, пояснил тихо, словно стесняясь: — Это не секрет — наш театр на хозрасчете... Поэтому нам приходится время от времени организовывать концерты. Станете выступать как солистка, да еще роли в спектаклях... одним словом, жизнь ваша будет насыщенной, полнокровной. Вы молоды, красивы, думаю, и способны — вам работать и работать, в ваши-то годы. Не так ли, Асрор Хамидович?

— Конечно, — поддержал главреж. — Сейчас мы как раз заняты подготовкой музыкального варианта «Халисхон», и я ее себе представлял именно такой: молодой, изящной, красивой. Для актрисы, делающей в искусстве первые шаги, играть эту роль — почетная творческая задача, не все удаются, знаете ли... Кстати, какую роль вы исполняли в дипломном спектакле?

— Катерину в «Грозе» Островского, — Махира чувствовала, что воскресает. Сейчас жизнь не казалась ей погубленной, как пятнадцать минут назад, а наоборот — исполненной смысла. Ожили лучшие надежды. Она уже представляла себя играющей роль Халисхон и выступающей в концертах. Она поет — и зал в восторженном изумлении...

Как и предсказывал директор, для Махиры наступили напряженные, насыщенные работой дни.

В роли Халисхон она выступила с успехом. После этого ее признали как ведущую исполнительницу лирического

плана, ввели в остальные спектакли, почти в каждом доверив центральные роли.

Хотя всем было ясно, что сама Махира не добивалась этого, да и не могла бы добиться, если б не расположение руководства театра к молодой способной актрисе и явный успех у зрителей, все же некоторые актеры косились на нее, как на выскочку. Особенно недовольной казалась Зийнатхон, игравшая до появления молодой соперницы почти все главные женские роли. Ей было около сорока, она обладала артистическими способностями и неплохо пела. До приезда Махиры у нее не было конкуренток, теперь же слава ее поубавилась. Конечно, они продолжали выступать в главных ролях по очереди, а в некоторых спектаклях, где примой оставалась Зийнатхон, Махира участвовала лишь в эпизодах, однако все же всем сделалось ясно, что теперь в театре две ведущие актрисы на амплу героинь. Более того, при распределении ролей в новых спектаклях, где должны были выступать обе соперницы, режиссер уже обычно первой называл Махиру, а только потом — Зийнатхон, да и на репетициях уделял девушке больше времени и внимания. В таких случаях Зийнатхон объявляла, что больна, и начинала искать предлоги, чтобы вообще отказаться от роли. Когда же, случалось, неопытная Махира допускала какую-либо промашку, Зийнатхон тут же поднимала ее на смех, всячески старалась унижить; все это вызывало у Махиры лишь удивление, — по своей наивности, да еще несколько опьяненная собственным успехом, она никак не желала понять, чего эта женщина так злобствует.

Кстати, эта же ее наивность и простодушие отчасти защищали ее.

Зийнатхон обладала красивым, сильным голосом. Махира, не скрывая своих чувств, отдавала должное ее пению, иногда даже пыталась подражать. Как-то раз не выдержала, сказала ей:

— Ой, как вы поете, сестрица! Я прихожу на этот спектакль, только чтобы послушать ваш чудесный голос!

Такое признание было для Зийнатхон что бальзам на раны. Она про себя была уверена, что во многом превосходит эту удачливую девочку. В ней, Зийнатхон, все же больше нуждаются в театре, она популярна в городе, а такие, как эта приезжая, через полгода удирают обратно в Ташкент. Вот так-то. И в театре остаются настоящие, преданные, проверенные...

Вслух же она сказала:

— Ну что вы, милая, что вы! Можно ли так преувеличивать! Где уж нам, вышедшим из самодеятельности, необразованным... Вот если б нам довелось учиться в Ташкенте, тогда бы, конечно, другое дело...

Театр, в котором начала работать Махира, принадлежал к тем учреждениям, что вынуждены существовать на собственные доходы. Город был небольшой, каждая новая постановка собирала два-три раза полный зал, затем количество зрителей все уменьшалось. Но посещаемость для театра — это ведь и деньги, доходы. Поэтому руководство театра организовывало концерты в райцентрах, в колхозных клубах, и сборы от таких выступлений были основным источником денежных поступлений.

Учитывая все эти причины, в городе театр давал спектакли далеко не каждый день.

Днем репетировали, ближе к вечеру садились в крытый грузовик и отправлялись с выступлениями по колхозам.

В свои клубы колхозники обычно собирались с полей и ферм довольно поздно, поэтому концерты чаще всего начинались часов в десять вечера и заканчивались в полночь.

Но это еще не все.

После выступлений уставшие артисты не возвращаются в город, нет, они держат путь к шийпону — особому помещению в колхозном саду, летнему павильону с отдельными комнатами, с богатым убранством, то есть к тому самому месту, где руководство колхоза принимает уважаемых гостей.

Подаются напитки, готовится плов. За столом — председатель колхоза, его заместитель, кассир и другие необходимые люди.

Концерт начинается заново. Отказаться невозможно — председатель уйдет куда-нибудь кассира, а потом Тураев месяцами должен будет маяться, пытаясь получить причитающееся за выступление.

Вот и сегодня — председатель на концерте в клубе не появился.

Заметив это, Махира подошла после своего номера к Тураеву, выпускавшему актеров из-за кулис, спросила озабоченно:

— Председателя не видать... неужели и сегодня придется оставаться?

— Оказывается, он уже распорядился приготовить

место в саду,— предостерегающе зашептал Тураев.— Смотрите, никаких фокусов, это ведь Бердыев! Хозяин! Сама щедрость! Весной мы тут давали концерт, так когда уезжали — каждый участник получил за два выступления!

Представление для колхозников окончилось в первом часу ночи. Люди были довольны, долго не отпускали артистов. Наконец все разошлись, стих шум толпы, клуб опустел.

Порядком утомившиеся актеры послушно поплелись в колхозный сад.

По случаю холодной осенней погоды застолье готовилось в просторной застекленной зале домика-шийпона.

Вокруг богатого дастархана были разостланы одеяла — курпачи, разбросаны красные бархатные подушки. Гости сняли обувь, расселись поудобнее, благо места было предостаточно, и принялись за угощение.

Через полчаса появился и сам Бердыев, высокий, тучный, меднолицый, в белом кителе, черных галифе и хромовых сапогах. За ним следовали его заместитель и Тураев.

— Добро пожаловать, гости,— низким басом прогудел Бердыев.

Сидевшие и полулежавшие на курпачах актеры дружно поднялись и приветствовали хозяев застолья.

Усевшись и скрестив ноги под одеялом, Бердыев по старинному мусульманскому обычаю пожелал присутствующим всех благ, и все провели кончиками пальцев по лицу, как при молитве.

— Прошу, прошу, гости дорогие, угощайтесь, не стесняйтесь,— говорил Бердыев. Каждого оделил взглядом и словом, выказывая расположение.— Э-э-э, да что ж это у нас делается! Бутылки еще не открыты. Или прикажете мне самому открывать?

Гости и хозяева засуетились, одни спешно начали открывать бутылки, другие — разламывать лепешки, третьи — отжимать гранатовый сок.

— Не обессудьте, гости дорогие,— снова, теперь уже более торжественно, обратился к застолью Бердыев.— Очень редко, раз в год, а то и того реже, встречаемся мы, скромные труженики полей, с вами, посланцами искусства. И только поэтому, хотя понимаю, для вас это очень и очень затруднительно после концерта, мы решили хоть раз в год доставить себе радость, прямо скажем, побаловать себя общением с вами, пригласить вас за наш скромный дастархан.

— Спасибо!.. Что вы, что вы, мы совсем не устали!.. Благодарим!.. Право, что еще остается на свете, как не радовать ближнего!..— послышалось со всех сторон.

— Тогда — прошу! Давайте все будем здоровы! — распорядился председатель.— Поднимайте! — вдруг посмотрел на Махиру, спросил ласково, благосклонно: — А вы, милая, почему свою пиалу обратно поставили?

— Я не пью, амаки¹,— извиняющимся тоном объяснила девушка. Просительного взглядела всех сидящих за дастарханом.— Я просто не могу.

— Вы впервые в гостях у нас...

— Это Махирахон, раис-ака,— быстро подсказал Тураев.— Вот уже полтора месяца в нашем театре... А как поет!..

— Хорошо, хорошо,— не слушая дальше, прогудел председатель.— Махирахон, милая, пьют ведь не для того, чтобы напиться, надо выпить для украшения нашего вечера, пусть он станет от этой пиалы хоть чуточку веселее.— Тут Бердыев хозяйским взглядом обвел застолье, и сразу посыпались шуточки, поговорки, присловья — и все на тему, все об одном,— сидящие наперебой, даже с подбострастием, старались поддержать раиса.

— Ну что ж, милая Махирахон! Вы сами видите — все ждут вас одну. Разве хорошо заставлять старших ждать?

— Может, все же необязательно мне пить?..— по-детски наивно спросила председателя Махира.

— Не хочет — зачем добро переводить? — попытался прийти ей на помощь толстяк, играющий в их оркестрике на гиджаке.

— Ну что же, уважаемая...— председатель кивнул с выражением обиды и недовольства, перевел взгляд на Тураева.— Не будем неволить человека. Коли наш убогий дастархан недостоин вашего внимания...

Сидевший напротив Тураев беспокойно заерзал, то искательно взглядывал на раиса, то возмущенно — на Махиру. Казалось, готов был сейчас разорвать ее на куски.

— Да выпейте-же, наконец,— нарушил неприятное молчание кто-то из актеров.— Разве можно заставлять упрашивать себя человека, который в отцы годится!

— Вот именно! Пейте, большого вреда не будет! — поддержал и другой.

Махира, раз уж ее начали обвинять в недостойном

¹ Амаки — дядя.

поведении, подняла пиалу и залпом выпила, морщась и от водки, и от злости и раздражения.

Со всех сторон послышались довольные выкрики: «Браво!», «Молодец!»

— Спасибо, — перекрыл их уверенный голос председателя; теперь в нем не было обиды, а только сознание собственного достоинства. — Не отвергли нашего слова, спасибо. Да сопутствует вам удача, Махирахон. — Он обвел застолье удовлетворенным взглядом. — Ну что же, гости, приступим...

В чашах-касах подали суп шурпу, ароматную, с большими, аппетитными кусками мяса. Пиалы снова были наполнены.

— Махирахон, — раис улыбнулся девушке, поднимая на ладони свою пиалу, — не будете опять заставлять нас тратить драгоценное время на уговоры?

Тут уж Махира уперлась — нет, ни за что не станет пить!

К ней пробрался, подсел Тураев, зло зашептал в самое ухо:

— Из-за глотка водки все дело хотите нам испортить! Раис уже хмуриться начинает! Можно подумать, будто остальные все мед пьют! Не от сладкой ведь жизни, понимать надо!

Махира, пересиливая отвращение, заставила себя выпить водку.

К ней тут же протянулись руки — кто предлагал гранатовый сок, кто — помидор, кто — мясо на косточке.

— Да, смотрю я — вы подходящий джигит, а, Саида-либай! — похохатывал председатель, взглядывая на Тураева. — Черт возьми, у вас какой-то дар особенный, в один миг такую девушку взяли да и уговорили! А-ха-ха-ха!..

И все смеялись вместе с раисом, и вместе со всеми смеялась уже и Махира — действие выпитого начинало сказываться.

Для Тураева сейчас похвала раиса значила больше, чем для артистов аплодисменты зала во время спектакля. «Кажется, денежки будут сегодня же», — обрадовался он и единым духом опорожнил свою пиалу.

— Ну что ж, друзья мои, — председатель вытер салфеткой губы. — Теперь, я думаю, и послушать не грех.

Музыканты не торопясь вытерли жирные руки полотенцами и принялись настраивать инструменты.

За песнями следовали танцы, за танцами — частушки, за частушками — состязание в остроумии — аския, потом

все опять подняли пиалы. Словом, пир катился обычной колеей.

Наконец дошла очередь и до Махиры. Бердыев после очередной пиалы указал на осоловело хлопавшую глазами девушку, почти уже засыпавшую от выпитого и от усталости:

— Теперь дадим слово нашей новой гостье.

— Это о вас говорят... что-нибудь надо спеть, — шепнула девушке соседка и еще локтем подтолкнула — про-
снись, мол.

Сонная Махира не могла сразу включиться в происходящее, понять, чего от нее хотят.

— Что вы будете петь? — подсказывая, спросил у нее музыкант с гиджаком.

Полилась известная всем собравшимся красивая мелодия, и в нее влился чистый голос девушки:

Стоит выйти в сад, мне кудри
Вешний ветер развевает.
Стоит в дом войти, как сердце
Мать-бедняжка мне терзает...

Бердыев откровенно пожирал взглядом Махиру, ему нравились ее красивые глаза, затуманенные грустью; разглядывал нежный подбородок и белую шею, покачивался в такт мелодии.

Потом Махира, сонная, уже потеряла счет времени. Она прилегла на бархатную подушку и откровенно дремала.

Еще пили и ели, играла музыка, подали плов.

Потом, воспользовавшись минутной паузой в общем шуме, музыкант с гиджаком, деликатно посмеиваясь, осторожно протянул:

— Раис-ака, теперь вы разрешите нам удалиться? Да и время позднее, а завтра всем рано на работу...

— Ладно, гости, — не стал возражать Бердыев. Он удобно расположился, опираясь о несколько заботливо придвинутых ему подушек. — Конечно, устали, видим. Отдыхайте, места достаточно.

— Раис-ака, — просительно улыбаясь, заговорил Тураев. — Благодарим от души, но ночевать у вас мы не всегда можем. Бог даст, еще не один, не два раза приедем сюда. У вас, нам сказали, план уже на восемьдесят процентов выполнен, а какой той по случаю ста процентов без нас, ака! Теперь же мы, пожалуй, потихонечку тронемся в путь.

— Скоро рассветет, дорога долгая, — равнодушно протянул Бердыев. — Ну да как знаете.

— Мы ведь уже привыкли, ака, вы же понимаете... — заискивающим тоном объяснил Тураев.

— Ладно, ладно, — Бердыев кивнул. — Зайдите на кухню, там Тешабай...

Только того и ожидавшийся Тураев при этих словах попытился к двери и исчез.

Актеры и музыканты разом засуетились, начали собираться, укладывать инструменты в футляры.

— Оставьте... пусть спит, — властно распорядился Бердыев, когда одна из женщин принялась будить прикорнувшую на подушке Махиру.

Присутствующие замерли, обменялись понимающими многозначительными взглядами.

— Поднимите ее на руки, отнесите вон в ту комнату, там есть кровать, — тоном, не терпящим возражений, приказал Бердыев.

Гости опешили от неожиданности, воцарилось молчание.

Бердыев обвел всех взглядом и добавил, добродушно улыбаясь:

— Ну коли вам так уж не хочется оставлять ее здесь одну, пусть с нею ночует еще кто-нибудь. — Он задержал взгляд на Зийнатхон. — Вот вы и оставайтесь. А завтра мы вас доставим в город, прямо в театр. — С этими словами председатель кивнул своему заместителю, как и артисты, давно уже клевавшему носом.

Тот оживился, поспешил к стоявшей в углу громоздкой, на ножках, радиоле и взял с нее приготовленный заранее узел. Развязал и начал раздавать гостям по отрезу ханатласа — оделил каждого.

— Если кому не по вкусу придется или маловато покажется — уж не обессудьте, гости дорогие, — благодушествовал председатель. — Ежели кому чего недостаточно — должок за нами. План выполним, тогда еще приедете, уж не обидим...

Наутро Бердыев лично проводил Махиру и Зийнатхон. Радушно улыбаясь, говорил девушке:

— Этот приезд не в счет, не смогли хорошо встретить.

— Ну что вы, разве бывает лучше! — засмеялась Махира. — Большое, большое вам спасибо!

— Там, в машине, два узла, — Бердыев кивком указал

на «Волгу», где уже сидела Зийнатхон.— Синий — для вас, желтый — для вашей сестрицы.

— Ну зачем же вы...— девушка покраснела.— Право, не нужно... не стоит...

— Да, еще ваша сестрица рассказала мне,— продолжал Бердыев, как бы не слыша протестов Махиры,— у вас, оказывается, даже собственной комнаты нет, живете в гриберной. Об этом мы тоже подумаем, примем меры.

На губах Зийнатхон, слушавшей разговор, проскользнула усмешка.

— До свидания...— раис долго не выпускал мягкой, пухленькой ручки Махиры.— Счастливо добраться...

Когда машина тронулась, Махира зашептала Зийнатхон на ушко:

— Как неудобно, нехорошо получилось, что я заснула вчера за ужином. Стыдно перед нашими, как покажусь теперь в театре...

— Ну что тут такого? — успокаивала ее более опытная Зийнатхон.— Можно подумать, такой уж большой грех — заснула!

— Грех не грех, а все же некрасиво получилось, что мы ночевали там. И вы из-за меня... Да еще и узлы эти...

— Да не только нам — всем сделали подарки. Надо знать Бердыева — очень щедрый человек. Большой поклонник искусства.

Махира стремительно выбежала на сцену, оглянулась, перевела дух и радостно закричала:

— Какое счастье, не заметили, проклятые!

— Стоп, стоп! — остановил ее недовольный голос из темноты зала. Асрор Хамидович, главный режиссер театра, опершись локтями о зеленый бархат барьера перед оркестровой ямой, следил за репетицией.— Махирахон, вы спаслись от преследования, вы долго бежали, у вас перехватывает дыхание, ноги подкашиваются... А что вы нам показываете? Выпорхнули на сцену этак легко и мило, словно прибежали с соседнего двора, где вас угощали персиками.

— Я поняла, домла¹.— Махире сделалось немножечко стыдно.— Повторить выход?

— Прошу.

Махира ушла за кулисы и ждала сигнала режиссера.

¹ Домла — учитель.

Тут ей и передали просьбу после репетиции зайти к директору театра.

Услышав режиссерское «начали», она стрелой метнулась на сцену...

— Ну вот, совсем другое дело,— громко сказал до-вольный Асрор Хамидович.— Сабитджан!

Из-за кулис показался молодой лысоватый парень, помощник режиссера.

— Деревья наверху есть? — спросил у него Асрор Хамидович.

Сабитджан задрал голову.

— Одно есть, из «Нурхан».

— Пусть опустят на то место, где сейчас стоит Махира.

— Сейчас...— Сабитджан скрылся.

— Махирахон,— обратился режиссер к девушке,— сейчас спустят дерево. Слова «какое счастье...» вы произносите, когда укроетесь от погони за деревом. И побольше жизни, побольше радости — вы же спаслись от верной смерти. Представьте, что бы с вами было, если б вас поймали.

На сцене появился Сабитджан, бодро доложил:

— Асрор Хамидович, дерево, оказывается, приколочено к беседке из «Алишера Навои». Прикажете спускать вместе?

— За каким чертом нам на городской улице беседка! — нервно закричал Асрор Хамидович.— О чем вы думаете!

— Так вы же сами знаете, отдельного дерева у нас нет,— равнодушно протянул Сабитджан.

— О господи, да неужели же в этом театре не найдется второго дерева, почему все хватаются за одно-единственное?! — закричал Асрор Хамидович, воздев руки к небу.

— Было еще дерево с дуплом из «Халисхон»,— невозмутимо объяснил Сабитджан,— во дворе валяется, забыли под дождем, вот и вымокло. Если вам нужно, можно принести и установить. Только самое малое — час.

— Ничего мне не нужно! — окончательно вышел из себя главреж.— Ничего!..

— Что-нибудь случилось, Асрорджан? — директор, мельком глянув на режиссера, улыбнулся и продолжал подписывать бумаги.— Что-то вид у вас кислотоватый.

Асрор Хамидович тяжело опустился на диван, вздохнул.

— Не надо было нам переходить на хозрасчет. Артисты на репетициях вялые, сонные. И не скажешь им ничего — ведь под утро с концерта вернулись.

Директор только плечами пожал — мол, я-то что могу поделать? — и продолжал писать.

Асрор Хамидович взорвался:

— Это же творческие работники! Творческие! Они должны заучивать роли, входить в образ, вырабатывать свое понимание текста... наконец, они должны иметь время отдыхать! А у нас что?!

Махира в нерешительности остановилась в дверях кабинета.

Директор поднял голову, кивком пригласил войти.

Кипевший негодованием Асрор Хамидович вынужден был умолкнуть.

— Хочу обрадовать вас, Махирахон,— с улыбкой обратился к девушке директор, оторвавшись наконец от бумаг.— Исполком выделил нашему театру однокомнатную квартиру в новом доме. Мы посоветались и решили, что эту квартиру дадим вам, как способной молодой актрисе, активно участвующей... пользующейся успехом у зрителей... обещающей. В общем, поздравляем вас, Махирахон, хотя, должен сказать, у нас немало людей, которые нуждаются в жилье не меньше вашего. Ну да сейчас — ваш час, так что...

Махира краснела, бледнела, у нее пропал дар речи. Происходящее казалось ей сном. Такое признание ее, молодой, начинающей актрисы, способностей и успехов! Могла ли она надеяться!..

— Квартира ваша находится в новом микрорайоне, это край города, конечно, далековато, но автобус там уже ходит,— продолжил директор и посмотрел на Асрора Хамидовича, как бы приглашая его присоединиться к поздравлениям, но тот лишь угрюмо кивнул.— Так что, Махира, поскорее отправляйтесь в исполком, ордер и ключ уже приготовлены, дожидаются вас.

Махира стояла посреди светлой просторной комнаты, радующей глаз свежими красками. Потолок низковат, но это ничего. Широкое окно, рядом дверь на балкон. Махира всю жизнь мечтала о квартире с балконом, поэтому сейчас, не разглядывая больше ничего, поспешила туда.

Ясный холодный день.

Дом стоял на пустыре — это был край города. В сотне метров, за асфальтированной дорогой, начиналось нео-

бозримое хлопковое поле. Огромный диск заходящего солнца катился по его краю, словно апельсин по зеленому столу.

Махира вернулась в комнату, прошла на кухню, огляделась, постояла у плиты, потом еще полюбовалась ванной.

Об этом она мечтала...

И вдруг — может быть, оттого, что комната не была еще обставлена, не было милых глазу привычных вещей, — квартира в какой-то миг показалась девушке неудобной и холодной, она почувствовала себя здесь очень одинокой и поспешила выбраться на улицу, словно она была гостем, заглянувшим на минутку и не заставшим хозяев дома. Отчего-то ей трудно было представить себе, как она здесь будет жить, в этой прекрасной квартире.

В театре уже собрались зрители, пришедшие на спектакль, — человек пятьдесят, разглядывали пока фотографии артистов в фойе, толпились у буфета.

Быстро переодевшись, Махира села к гримировочному столику.

Раскрашенная, увешанная к спектаклю блестящими украшениями, Зийнатхон посмотрела с удивлением:

— Куда вы пропали, Махирахон?

— Так... прошлась по городу, — девушка сделала вид, что целиком занята гримом.

— Ну и как, понравилось? — в голосе Зийнатхон слышалось лукавство, хотя она тоже вроде бы целиком была занята прической.

— Город? — невинным тоном переспросила Махира.

— Нет, квартира!

— Откуда вы узнали?

— Слухом земля полнится. В театре, милая, ничего не скроешь. Поздравляю. — Но глядела Зийнатхон с упреком — чего ж от нее-то таиться?

Махире ничего не оставалось, как поблагодарить.

— Что-то не вижу у вас радости, — заметила Зийнатхон. — Или, может, квартира нехороша?

— Нет, что вы! После неоттапливаемой гримерной получить собственное жилье — о чем еще может мечтать одинокая женщина!

После спектакля Махира с непонятной ей самой грустью складывала в чемодан вещи. Потом села за письмо Масудджану — звала его приехать навестить ее, при-

знавалась, что скучает. Затем до двенадцати заучивала роль.

Потушив свет, долго еще лежала, обдумывала дела на завтра.

С утра надо будет пройтись по магазинам. Ей очень нравилась деревянная кровать, выставленная в мебельном...

Но наутро она вовремя сообразила, что покупки покупками, а жить-то ей на что-то надо, вести свое маленькое хозяйство одинокого человека.

Все же она купила небольшой казан, чайник с пиалами, половник, ложки, касы и другое необходимое из посуды, а главное — на оставшиеся деньги приобрела раскладушку. Водитель театрального грузовичка помог ей погрузить ее чемодан, одежду и остальные вещи в машину и перевез все в новую квартиру.

Вскоре Махира забыла о своих недавних грустных мыслях, с головой уйдя в милые сердцу хозяйственные хлопоты, занявшись устройством нового гнезда.

Хотя везде было чисто, она наново вымыла полы, балкон и лестничную площадку. Посуду расставила на кухне на газете на полу, в комнате выбрала место для раскладушки и застелила ее. Потом вскипятила воду, заварила чай, устроилась на раскладушке и принялась мечтать о том, как на следующую зарплату купит шторы, люстру, а потом стол и стулья, скатерть...

В эти минуты она была счастлива, жизнь представлялась интересной, насыщенной и полной заманчивых надежд.

Ей захотелось как можно быстрее обставить и украсить свою квартиру, превратить ее в уютное, радующее душу и глаз гнездышко.

Вечером, вернувшись после спектакля, она снова написала Масудджану. Это письмо получилось вовсе не грустным, как вчерашнее, а веселым и радостным. Она рассказала о своем переезде и о том, что сразу же, даже не переночевав еще ни разу, привыкла к своему новому жилью, и еще упоминала о том, что над изголовьем у нее прикреплена его, Масудджана, фотография.

Не выключая свет — одной в пустой квартире с непривычки было жутковато, — она легла спать. А наутро неожиданно проспала — и тут только по-настоящему поняла, как хорошо спится в своем собственном доме. Ручные

часики показывали половину десятого, за окном разгорался неяркий осенний денек, до работы оставался еще целый час, и она, завернувшись в одеяло, решила еще немножечко понежиться в теплой постели.

Но тут вдруг в дверь постучали.

Наверное, это из театра, пришли навестить, посмотреть квартиру, решила Махира, поспешно одеваясь.

Бросилась к двери, открыла — и застыла пораженная!

— Ассалом алейкум! — прогудел голос председателя колхоза Бердыева — его могучая фигура заполнила, казалось, всю лестничную площадку.

— Салом алейкум, амаки,— не скрывая удивления, ответила Махира.

— Вот видите — пришел к вам в гости, не дожидаясь приглашения,— шутливым тоном говорил Бердыев.— Оказывается, квартиру получили. Ехал мимо, вот и решил — дай, думаю, зайду поздравлю.

— Прошу... входите...— Махира попятилась, пропуская председателя.

— Ну, как вы тут устроились? — Бердыев шагнул через порог, и сразу квартирка сделалась тесной.

— Спасибо, амаки, неплохо,— вежливо ответила Махира, следуя за гостем.

Бердыев вошел в комнату, огляделся, покачал головой. Повернулся к Махире, хорошенькой, раскрасневшейся со сна, протянул руку:

— Хоть и бедновато пока, а все ж своя крыша над головой! Поздравляю! — он захватил обеими ладонями маленькую руку девушки и не отпускал ее, улыбаясь.

— Спасибо, амаки.— Махира в смущении освободила руку.— Не могу пригласить вас присесть — у меня еще и стульев нет... Пожалуйста, садитесь на раскладушку,— не зная, как быть, пролепетала она. Оправила одеяло, жестом предложила гостю устраиваться.— Я сейчас заварю чай...

— Не беспокойтесь, милая Махираxon,— Бердыев добродушно улыбнулся.— Мы были в Ташкенте, ехали оттуда всю ночь. Если вы не против, я вздремну у вас немножко.

Ошеломленная неожиданной просьбой, Махира онемела, только в растерянности хлопала ресницами. Председатель откровенно любовался ею, юной, растерянной, такой беззащитной и слабой. Наконец Махира обрела дар речи:

— Конечно, амаки, я понимаю... Вы очень устали —

ложитесь, отдыхайте. Я сейчас должна идти на работу, так что вам никто не помешает. Располагайтесь, прошу вас.

— Может, у вас есть покрывало — набросьте на кровать, чтоб я ненароком не испачкал.

— Ничего, не беспокойтесь.

Она вышла, чтобы умыться и привести себя в порядок. Когда вернулась, Бердыев сидел на раскладушке, задумчиво поглаживал лысину, о чем-то размышлял.

— Я уйду, амаки, а вы спокойно отдыхайте, — сказала Махира, остановившись в дверях.

— Внизу моя машина. — Бердыев поднялся. — Скажу, пусть вас подбросят до театра.

Не слушая возражений Махиры, раис вышел на балкон и громогласно отдал приказание шоферу. Обернулся к девушке:

— Я поеду часа через два. Как быть с ключом, соседям оставить можно?

— Оставьте, наверное, можно... — и Махира вышла из квартиры.

Улучив момент, когда режиссер занялся с другими исполнителями и Махира оказалась свободной, к ней подошла Зийнатхон, отвела в сторонку.

— Вы не заняты сегодня вечером? — спросила шепотом.

— Сегодня? — Махира задумалась. — Ах да, приехала грузинская эстрада, я хочу пойти.

— А на завтра нельзя эту эстраду отложить?

— Не знаю... А что?

— Хочу пригласить вас... если захотите, конечно. Можете поехать с нами, хорошо заработаете.

— Это куда же? — Махира тоже говорила шепотом.

— Нас зовут на той.

— На свадьбу?

— Да нет, просто... что-то отмечают, решили повеселиться.

— А что я там должна делать?

— Может, и ничего — до вас, я думаю, дело не дойдет... — Зийнатхон вкрадчиво улыбнулась. — Ну а если дойдет, очень будут упрашивать — споете что-нибудь, и полная тубетейка бумажек. Эта вот Рахимахон пристала как мука, просилась с нами, да мы не взяли... сама как сыр в масле катается, муж на складе работает, дома чего только нет!.. А вам деньги необходимы — новая квартира

затрат требует. Небось пол да голые стены. А при нашей-то зарплате...

— Нет, нет, сестрица, — Махира, мягко улыбаясь, смотрела прямо в глаза Зийнатхон. — Мне стыдно петь перед...

— О господи, ну что вы говорите! — у Зийнатхон брови полезли наверх. — Стыдно ей, надо же! А на концертах, на спектаклях — не стыдно? Те же самые люди.

— Не совсем, сестрица, — серьезно ответила Махира. — На концерте они слушают, на тое — едят и пьют. И главное, за концерт или спектакль мне платят зарплату, а на тое — это подачка. Спасибо вам, сестрица, но не упрашивайте, не гожусь я для этого.

— Воля ваша, конечно... — разочарованно протянула Зийнатхон. — Как будто легкие деньги тяжелы для вашего кошелька. Но вы все же подумайте до вечера, я для вашей же пользы...

— Нет, сестрица, я не передумую.

— Ну ладно, Махира, как знаете, — не стала настаивать Зийнатхон. Когда девушка вернулась на сцену, усмехнулась ей вслед: «Видали мы таких чистюль, ишь, то ей зарплата, а другое — подачка, посмотрим, надолго ли тебя хватит. Один раз попробуешь вкус этой самой подачки, потом сама прибежишь, еще навязываться будешь. Да без подачек не проживешь, миленькая...»

Махира уже выходила из театра после репетиции, когда ее позвала секретарь директора и вручила письмо. Увидев подпись на конверте, Махира обрадовалась — весточка была от институтской подруги, работавшей сейчас в наманганском театре. Присев на знакомое ей автомобильное сиденье у каморки сторожа, девушка прочитала письмо — улыбалась, смеялась, даже всплакнула немножко.

После письма подруги светлее стало на душе.

И в автобусе, по дороге, Махира, полностью отключившись от окружающего, вспоминала счастливые студенческие годы, стремительно отодвигавшиеся в прошлое, и дорогих сердцу людей.

Погруженная в воспоминания, она незаметно для себя добралась от автобусной остановки к дому, поднялась на второй этаж. Позвонила к соседям — дверь открыла девушка лет восьми. Сбегала, принесла ключ. Махира вошла в квартиру, разделась, заглянула в комнату — и остолбенела. На мгновение она даже подумала — не ошиблась ли домом.

Комнату невозможно было узнать.

Середину ее занимал сверкающий полированный круглый стол со стульями, у стены — дорогой сервант, напротив окна, в нише, — красивая деревянная кровать, куда богаче той, на которую Махира мечтательно заглядывалась несколько дней назад.

Купленная только что на последние деньги раскладушка, аккуратно сложенная, сиротливо притулилась в уголке, будто случайно забытая кем-то чужая, ненужная в доме вещь.

Бердыев! Так вот зачем он выманил у нее ключ!

Первым побуждением Махиры было тотчас вернуться в театр и рассказать обо всем Асрору Хамидовичу. Однако она тут же испуганно сообразила, что начнутся крайне нежелательные для нее, для ее репутации разговоры, а то и сплетни поползут — завистников, а особенно завистниц у нее достаточно. Как ей отвечать на вопрос, почему Бердыев оказался в ее квартире? Кто ему дал ключ? А если у мужчины есть ключ от квартиры, где живет одинокая молодая женщина... ну и так далее. Тут же Махира подумала, что самое разумное да и, может быть, единственно возможное в ее положении — держать все происшедшее в секрете. А с Бердыевым она при случае объяснится.

Повинуясь первому побуждению, она вышла было в переднюю, чтобы бежать в театр, но теперь снова вернулась в комнату.

Обвела взглядом доставшуюся ей таким нежелательным способом прекрасную мебель.

Мебель-то сама по себе ни в чем не была виновата и очень нравилась девушке, в смятении она не знала, как правильнее поступить, и не смела прикоснуться к подаренным вещам, словно к музейным экспонатам, лишь любовалась ими.

Концерт грузинских артистов закончился в десять вечера.

Подняв воротник пальто, Махира стыла на пронизывающем ветру. Вот уже полчаса она простояла на остановке, а автобуса все не было.

Идти в вечерней темноте пешком она не решалась, хотя путь был недалек.

Проехала машина с зеленым огоньком, она подняла руку, но водитель даже не затормозил.

Махира чуть не заплакала от острого ощущения полной своей беспомощности. Еще и ноги стали коченеть... Такой

жалкой и несчастной она, казалось, никогда себя не чувствовала.

На остановке появился мужчина в телогрейке и шапке-ушанке. Тоже, видать, замерзли ноги — постукивал сапогом о сапог.

Махира подождала еще, но долго выдержать не могла.

— Амаки,— робко прозвучал ее голос,— вы тоже ждете автобус?

— Да.

— Вам в какую сторону?

— В микрорайон. А что?

— Мне тоже туда. Только одной идти страшновато. А автобуса нет и нет.

— Да я и сам подумываю, не отправиться ли пешком. Хорошо, пошли. Дом ваш далеко?

— Последний, у поля.

— Мой-то немного поближе, но уж я вас доведу, ладно.

Они дошли за полчаса, потом Махира остановилась:

— Спасибо, амаки, вон тот дом — мой, теперь я добегу. Извините, вам пришлось из-за меня пройти лишнее.

— Ничего, дочка. Счастливо тебе,— мужчина не спешил возвращаться.— Ты иди, я постою пока, посмотрю, как ты доберешься.

— Нет, не надо, амаки,— Махира чувствовала себя неловко.— Теперь уже не страшно. Спасибо вам огромное!

Она побежала к дому. Мужчина проводил ее взглядом, помедлил, потом двинулся обратно.

Услышав на лестнице шаги Махиры, на площадку выглянула соседка:

— Вернулись, наконец? К вам приехал гость, сидит у меня дожидается.

У Махиры сердце упало: «Бердыев!»

— Какой... гость?..— спросила она растерянно.

— Заходите, посмотрите.— Женщина загадочно улыбнулась.

Махире показалось, что соседка смеется над ней. Этого она не могла вынести.

— Сейчас...— еле выдавила она и поспешила спрятаться в своей квартире.

Она разделась, зажгла в кухне газ и грела над плитой руки, лихорадочно соображая, как ей поступить. Может быть, запереться на ключ и лечь спать? Нет, это будет уж слишком невежливо. Но что ему сказать, Бердыеву? Она не готова к разговору... И так поздно уже... Перед соседями стыдно.

Тут она услышала, как скрипнула входная дверь, в прихожей кто-то кашлянул. Девушка обмерла от страха.

Однако она тут же взяла себя в руки. Нельзя же так распускаться!

Придав лицу решительное и спокойное выражение, твердым шагом направилась к прихожей.

И тут глаза ее наполнились слезами, к горлу подкатил комок...

В прихожей топтался, вытирал ноги Масудджан, ласково улыбался Махире.

Она чувствовала себя такой одинокой и беззащитной, была такой замерзшей, так напугана ночной дорогой, а потом вероятным появлением Бердыева, что сейчас, забыв обо всем, кинулась к Масудджану, повисла у него на шее и не отпускала его, словно боялась, что он вдруг исчезнет так же неожиданно, как появился.

Масудджан бережно обнял ее, вздрагивающую от рыданий, отстранился, нежно погладил по голове. Он улыбался, радуясь встрече, но слезы девушки пробуждали в его душе тревогу. Он всматривался в ее пылающее лицо, покрасневшие, полные слез глаза.

— Почему ты плачешь? Что случилось?

Махира только головой покачала — ничего, мол, и постаралась улыбнуться.

— Как хорошо, что ты приехал... — чуть слышно повторяла она.

Потащила Масудджана в комнату и тут только с ужасом вспомнила, что он увидит там чужую мебель.

А Масудджан пришел в восторг.

— Вот это да! — он даже присвистнул. — Всего ничего работаешь, а уже столько накупила! Актриса процветающего театра, а?

Что оставалось делать бедной Махире?

Краснея, она соврала:

— Коллеги по театру собрали деньги. Пока меня не было дома, вот привезли и оставили... Но это все в долг, я скоро расплачусь со всеми...

Потом они долго сидели за ужином и разговаривали, вспоминая важные и неважные подробности прошедших месяцев, чувствуя, как соскучились друг по другу.

Масудджан с трудом, но все же нашел для себя работу поближе к городу, где жила сейчас Махира; в самом городе он не смог устроиться, тогда он согласился пойти сменным инженером на хлопкоочистительный завод в кишлаке.

— Ты сможешь ездить на работу отсюда?

— Далековато...— Масудджан пригасил сигарету в пепельнице.— Там мне дают комнату. Буду почаще приезжать к тебе. Пока другого выхода нет.

Махира постелила Масудджану на новой кровати, на которой и сама-то еще ни разу не спала, а для себя поставила раскладушку на кухне.

Утром встала пораньше, принялась готовить завтрак. В комнату не заглядывала, чтобы не потревожить сон Масудджана, не разбудить раньше необходимого.

Когда пришло время собираться на работу, она тихонечко приоткрыла дверь — и увидела пустую кровать, на столе белела записка:

«Махира, я не хотел будить тебя. Уезжаю на завод, дня через три-четыре постараюсь выбраться. До свидания. М.».

Бердыевская «Волга» остановилась у театра, вышел шофер, постучал в запотевшее оконце сторожки.

Старик сторож встретил гостя приветливо, усадил на табуретку, поднес пиалу с горячим чаем.

— Чем могу служить, братец? — спросил, кротко улыбаясь.

— Срочное дело к Тураеву, отец.

— Что ж, пойду взгляну. Он должен быть в театре.

Через несколько минут старик вернулся вместе с администратором.

Шофер поднялся с табуретки навстречу. Согласно обычаю они с Тураевым долго обменивались традиционными приветствиями, интересовались здоровьем родственников и выражали надежды, что в доме у собеседника все благополучно.

По несколько смущенному виду шофера старик сторож понял, что он здесь лишний, взял свой чайник и вышел из сторожки.

— Я рад вас видеть, Эминджан...— Тураев вопросительно посмотрел на шофера.

— Меня послал хозяин. Вас зовут на следующей неделе, во вторник.

— Значит, во вторник... так, так...— Тураев задумался.— Минуточку...— Набрал номер, он поднес трубку к уху.— Джура-ака, салам, это я, Тураев. Бердыев-ака приглашает нашу бригаду на следующей неделе, во вторник.

Да, председатель колхоза «Передовик». Внести в план? Хоп, хорошо! — Положив трубку, Тураев подтянул брюки и приосанился. — Вот все и решено, Эминджан. Включим в план, а там уже железно. Приедем.

— Теперь еще... — шофер мялся, не зная, как начать. — В общем, сегодня у нас, у хозяина то есть, маленькая вечеринка — для своих... Мне велели привезти Зийнатхон и Махирахон... Без них не возвращайся — так хозяин и сказал...

— Так они же сейчас заняты в спектакле, — озадаченно объяснил Тураев.

— Может, их заменит кто-нибудь?

— Смеетесь, Эминджан! Срывать спектакль мы не можем, у нас ползала зрителей сидит.

— Да... А когда заканчивается ваш спектакль?

Тураев посмотрел на часы:

— Еще час примерно.

— Ладно, подожду. Спешить некуда.

— Так вы пока пройдите в зал. И пьесу интересную посмотрите, и время незаметно пройдет. А я тем временем схожу за кулисы, предупредить надо наших исполнителей.

— Сначала уломайте нашу капризную красотку, — Зийнатхон мотнула головой в сторону сцены, где в главной роли сегодня выступала Махира: сейчас она сидела за прялкой.

— Как я могу ее уломать? — Тураев пожал плечами. — Женщина женщину лучше поймет. Постарайтесь объяснить ей, что это в интересах театра, нас же хотят пригласить туда через неделю, — сами понимаете, от кого оплата зависит.

— А если все-таки откажется?

— Куда ей деваться, при ее-то доходах, — невесело усмехнулся Тураев. — Вы-то сами, душенька, я знаю, охочи до таких поездок. Так и скажите ей прямо — надо, мол, пользоваться моментом, пока на Бердыева щедрость накатила, и тебе и людям польза. Авось поймет!

— Как же, поймет! — поморщилась Зийнатхон. — Сами знаете, какой у нее характер! — Зийнатхон все еще не могла простить Махире ее слова о подачках на тое.

— Смотрите, ответственность на вас! Нам на следующей неделе давать там концерт! И вообще — нам с ними еще жить и жить!

— Что вы заладили: концерт, концерт! За меня-то всегда можете быть спокойны, сами знаете. Лучше попробуйте сами ее уломать, горячку!

После спектакля Тураев отозвал Махиру в сторонку и выложил начистоту, что надо сделать и почему, объяснив все причины.

— Так пусть вместо меня поедет еще кто-нибудь, — не решаясь резко отказывать всегда внимательному к ней Тураеву, говорила Махира. — Из тех, что не прочь подзаработать.

— А вам не кажется, что вы не очень-то красиво поступаете, не уважая просьбу председателя, — он же вам в отцы годится! Ведь он вам честь оказывает, приглашая, — значит, считает вас достойной такого уважения. Безусловно, он имеет полное право пригласить вас, — с искренним огорчением отчитывал непонятливую Махиру администратор. — Наконец, должны же вы подумать и о престиже нашего театра, о выгоде и заработках, теперешних и будущих, ваших товарищей. Ведь у многих дети... А нам там через неделю выступать — сами понимаете. И на будущее надо рассчитывать. Это жизнь, Махирахон, ничего не поделаешь.

У Махиры от всех этих многочисленных соображений и доводов голова пошла кругом. Она и соглашаться на поездку не хотела — ведь Тураев ничего не знал о визите Бердыева к ней и о мебели, считал приглашение разовым, — и отказаться не могла: это было бы черной неблагодарностью по отношению к театру и ее же товарищам, да и Бердыев тоже имел право ожидать от нее благодарности — он же постарался для нее, сделал доброе дело, как он его понимал, и не сделал ничего плохого... Ах, эта мебель! Если бы не этот подарок!..

— Решайтесь скорее, — начал торопить девушку администратор, заметив, что она колеблется. — Время идет, за вами специально машину прислали, шофер больше часа сидит ждет, — неужели вам такого уважения мало!

Вздыхнув, Махира сказала:

— Ну что ж поделаешь. Я поеду.

— Вот и молодец, вот и по-деловому! — обрадовался Тураев. — Хвалю!

До самого рассвета не смолкали пение и музыка, веселые, хмельные речи и смех в том самом павильонешийпоне для приема гостей, где Бердыев не так давно впервые заставил Махиру выпить налитую ей пиалу.

Однако сегодня он был добродушен, ни на чем не настаивал, называл ее не иначе как дочкой. Домой ее снова доставили на председательской «Волге», и на сиденье, как и в прошлый раз, лежали узлы с подарками для нее и Зийнатхон. Но сейчас Махира отказалась взять предназначенный ей дар, как ни настаивал, ни упрашивал шофер.

Вернувшись в свою квартиру, она бросилась на постель и проспала до полудня.

Когда поднялась — под дверью ее ждала записка:

«Махира, извини, что не мог навестить тебя, как обещал, — подхватил грипп. Приезжал в город по делам, но не нашел тебя ни в театре, ни дома. Выберусь на выходные. До свидания. М.».

Ну вот, еще и это: Масудджан приезжал, а она спала, не слышала! Сначала должна отправляться туда, куда не хочется, потом из-за этого не видит того, кого хочет видеть! На душе у нее было нехорошо, в какой-то момент она чуть не бросила все и не кинулась в дальний кишлак к Масудджану.

Чтобы успокоиться, занялась уборкой и стиркой. Чувствовала она себя усталой, разбитой, разочарованной и очень была недовольна собой.

В пятницу она вернулась домой после спектакля и уже собиралась было лечь спать, как послышался стук в дверь.

«Масудджан!» — обрадовалась девушка.

Побежала открывать — и застыла в испуге: увидела на площадке Бердыева — улыбался, в руке держал транзисторный приемник.

— Ой, это вы? — Махира судорожно пыталась улыбнуться гостю.

— Я, кому ж еще быть! Или не рады, что заглянул?

— Нет, нет, отчего же... Прошу, входите.

Оказавшись в квартире, Бердыев торжественно протянул ей «Спидолу»:

— Вот вам игрушка, не станете скучать одна. Держите, держите, будете забавляться.

— Вы заставляете меня краснеть, амаки.

— А вы не краснейте! — Бердыев был отечески благодушен. Видя, что девушка не протягивает руку, не берет приемник, хозяйски прошел в комнату, поставил его на стол.— Я, дочка, знаю, что это такое — жить в чужом городе, далеко от дома.— Он снял пальто, потер озябшие руки.— Надо же, посреди дороги машина стала, пропади она пропадом. Шофер час бился, ничего поделывать не мог. И попутки не было, замерз на ветру... вот завернул к вам, Махирахон, согреться,— уж не сердитесь, что поздно...

— Конечно, хорошо сделали, что пришли, амаки,— вежливо, как требует закон гостеприимства, ответила Махира — что ей оставалось!

Председатель вернулся в комнату, удовлетворенно огляделся:

— Прямо чудеса! В вашей квартире, похоже, побывал сам святой Хизр!

— Зачем вы это сделали, амаки! Ведь все это деньги, и не малые...

— Сначала скажите — нравится? Хороший у меня вкус?

— Очень нравится, но...

— Вы же без родных здесь,— Бердыев сделался серьезен.— А у меня такой обычай: коли могу, всегда помогаю людям. Люблю творить добро. Так что не обижайтесь на меня.

— Я не обижаюсь, амаки, спасибо вам за такую заботу. Но только принять все эти вещи я могу лишь в долг. Сколько бы это ни стоило, потихоньку выплачу.

— В долг так в долг,— миролюбиво прогудел Бердыев.— Я в дороге проголодался, дочка, может, хоть корочка какая найдется?

— У меня есть мясо, если хотите, я поджарю.

— Что может сравниться с таким благодеянием, милая Махирахон!

Скоро на столе появился дымящийся каурдак.

— Ох, да вы еще и хозяйка отменная! — Бердыев легонько обнял Махиру за плечи.— Умница, дочка моя золотая, молодчина...

Махира тут же испуганно выскользнула из крепких рук председателя.

Взяв со стола чайник, поспешила на кухню. Сердце ее лихорадочно стучало, одолевали тревога, томительный страх — что еще позволит себе ее поздний гость?

Меж тем Бердыев вышел в прихожую, достал из

кармана пальто бутылку коньяка. Вернулся к столу, налил до половины две пиалы.

Махира все еще оставалась на кухне — честно говоря, боялась выходить.

Бердыеву надоело ждать, он позвал:

— Махирахон!

— Да, амаки?

— Вы там не заснули?

— Я сейчас, амаки... Вскипячу чай... Вы, пожалуйста, ужинайте, не обращайтесь на меня внимания.

— Да как же есть без хозяйки? Странно как-то даже. Раз хозяйка не хочет быть за столом с гостем, получается — не хочет, чтобы он ел.

Тут уж Махира вынуждена была вернуться из кухни.

Бердыев протянул ей пиалу:

— За компанию, Махирахон!

— Нет, амаки, не могу я, не настаивайте,— чуть не плача, жалобно упрасивала девушка.— Умоляю вас!..

Такая она еще больше нравилась раису.

Но внешне он был огорчен — был обижен хозяйкой.

— Неужели законы гостеприимства для вас ничего не значат, Махирахон?

— Если б я могла, я бы, конечно, не стала отказываться, но я не могу, амаки, неужели вы не верите мне? — в глазах ее блестели подступившие слезы.

Теперь Бердыев улыбался, довольный:

— Но вы ведь знаете, Махира, желание гостя — закон.

— Я знаю... но я не пью, вы же помните. Разве это к лицу девушке? Пожалуйста, не мучайте меня, я очень прошу!

— Ну что ж,— Бердыев, изображая крайнее огорчение, отодвинул пиалу.— Если на то пошло, если вы не хотите, придется и мне отказаться.

— И правильно, амаки,— наивно обрадовалась Махира.— Конечно, не пейте, какая вам польза?

— Нет, я не о том.— Бердыев сделал вид, что хочет подняться.— Ваш отказ означает, что вы просто желаете выставить своего гостя на улицу.

Махира лишь покачала головой — нет, мол.

Правильно истолковав ее неуверенность, Бердыев снова поднес ей пиалу:

— Выпейте только это, больше не буду настаивать.

Против своей воли Махира взяла все же пиалу.

— Будьте счастливы, Махирахон! — раис чокнулся

с ней.— Спасибо, что уважили, не отказались принять из моих рук.

Девушка, зажмурившись, залпом выпила коньяк и передернулась от отвращения.

— Ну вот, наконец-то! — Бердыев был удовлетворен.— Все так просто, а вы гостя столько времени мучили!

Встать сейчас и уйти было бы невежливо, и Махира терпеливо сидела за столом с раисом, пока он наедался и опустошал бутылку коньяка.

Голова у нее кружилась от усталости и выпитого, слипались глаза.

Наконец Бердыев кончил ужинать.

Махира поднялась и постелила на кровати:

— Теперь вы ложитесь, амаки, вам нужно отдохнуть.

— А как же вы сама?

— У меня есть раскладушка, попрошусь переночевать у соседей.

Махира пошла на балкон за раскладушкой, Бердыев ждал ее в комнате.

Когда девушка вернулась, он остановил ее:

— Вы обиделись на меня?

— Ой, да почему я должна обижаться?

— Я смотрю, вы сегодня очень невеселая.

— Просто я очень устала.

— Ай-яй-яй,— Бердыев неожиданно обнял ее, погладил по спине: — Утомил я ее, мою красавицу...

— Что вы?! Сейчас же отпустите! — Махира вырвалась и, таща раскладушку, чуть не бегом направилась в прихожую.

Бердыев, багроволицый от выпитого, с бешеными глазами, крепко взял девушку за руку. Она от испуга выронила раскладушку — та грохнулась об пол, — в страхе уставилась на раиса. Поняв ее растерянность как слабость и уступчивость, Бердыев схватил ее в охапку. Махира, с расширившимися от отвращения и гнева глазами, наконец-то овладела собой и неистово вырывалась, барахталась в его сильных ручищах. В конце концов она высвободилась.

Жаркая волна ударила Бердыеву в голову, он снова шагнул к девушке.

Тогда Махира бросилась на кухню, схватила молоток, которым она отбивала мясо, и подняла его над головой.

Оружие было смехотворное, но Бердыев остановился, взгляд его прояснел — вспомнил, что находится в чужом

доме, в гостях. Однако намерений своих не оставил. Заговорил хрипло и сдавленно:

— Не пугайся, Махира... извини, что я так... Я ведь добра тебе желаю, не будь дуручкой, пойми! Будешь послушной — каждое твое слово закон... все для тебя сделаю...

— Уходите сейчас же!

— Такой особнячок тебе поставлю, весь город завидовать станет... Будешь жить в свое удовольствие!

— Немедленно!..

— Ведь босяку достанешься — лучше уж мне... — глаза Бердыева снова помутнели, коньяк разбирал его. — Убудет от тебя, что ли?..

— Мерзавец!

— Здесь все — мое! — Бердыев с силой ударил себя по груди. — Знаешь об этом, нет? Или забыла, может?! Все — и квартира, и обстановка! Да если б не я — ты б и сейчас дрожала в своей вонючей каморке! Не будь дурой, пораскинь мозгами, что для тебя лучше, кто для тебя постарался!

— Я сейчас буду звать на помощь! Соберу людей!

Покачиваясь на широко расставленных ногах, Бердыев провел рукой по лицу, усилием воли одолевая опьянение, потом по-хозяйски, с легким презрением оглядел Махиру, усмехнулся ее молотку.

— Сама, девочка, придешь. Да не придешь — прибежишь! Не таких, как ты, обламывали!

Накинув на плечи пальто, вышел, с силой захлопнул за собой дверь.

Услышав, как он спускается по лестнице, Махира подбежала, трясущимися руками заперла дверь на ключ.

Бросилась на кровать и отчаянно зарыдала.

Когда наутро в дверь постучал Масудджан, она долго не решалась открыть. Потом сообразила спросить, кто пришел.

Увидев измученное лицо, покрасневшие, припухшие глаза девушки, Масудджан поразился:

— Что случилось?

Махира бросилась ему на грудь и всхлипнула.

— Махира, дорогая, что с тобой? — в растерянности спрашивал парень, легонько гладил ее по волосам.

Наконец Махира отстранилась от него. Слабая улыбка тронула ее губы.

— Ничего... Страшный сон приснился...

— Только и всего-то? И ты так испугалась? — Масуджан нежно взял ее за руку.

Прикрыв глаза, Махира кивнула: да, испугалась.

— Я все понимаю, Махирахон, только...— директор оборвал себя на полуфразе: в кабинет вошел старик сторож с чайником и пиалами.

Поставив чайник на край стола, сторож, мягко ступая, удалился. В приемной он попросил девушку-секретаршу:

— Доченька, у меня крыша что-то стала протекать. Не напишете мне заявление? Может, даст исполком шифер...

— Конечно, амаки,— продолжая печатать, ответила та.— Посидите, я скоро кончу.

Старик опустил на стул, терпеливо стал ждать.

Приоткрылась дверь в кабинет: Махира, держась за ручку, слушала последние слова директора.

— И все же мой вам совет, Махирахон, не принимайте близко к сердцу... Вы понимаете, я забочусь только о вас и о вашей репутации. Знаете, один скажет одно, другой другое, пойдут чесать языками. Больше всего я бы не хотел, чтобы ваше доброе имя было хоть на самую малую долю опорочено, девочка моя...

Махира тихо сказала «спасибо» и, не поднимая головы, вышла из кабинета, миновала приемную.

Вскоре из приемной вышел сторож, аккуратно сложив и спрятав в нагрудный карман заявление насчет шифера.

На старом автомобильном сиденье у дверей своей каморки он увидел Махиру, грустную, задумавшуюся.

Старик угостил ее чаем, нехитрыми своими разговорами постарался развеять ее дурное настроение. Когда Махира наконец улыбнулась, отважился спросить:

— Доченька, я привык видеть тебя радующейся жизни, что случилось сейчас?

Поколебавшись, Махира прямо посмотрела в глаза старику:

— Дядюшка, кто самый главный в нашем городе, кто бы выслушал меня?

— Хозяин в городе — Акбарходжаев. Зачем он тебе, доченька?

— Хочу рассказать ему...

— А с нашим директором ты тоже об этом же своем деле говорила?

Махира кивнула...

— Он дал тебе правильный совет, доченька,— серьезно сказал сторож.

— Значит, и вы знаете о том, что произошло?

— Я налью тебе еще чаю, дочка? Свежий заварил.

Махира не стала переспрашивать.

Помолчав немного, она сказала старику:

— Я хочу пойти жаловаться.

Сторож налил ей чаю, на слова ее покачал с сомнением головой:

— Послушает ли он твои жалобы? У нас в городе так говорят: кто вздумает тягаться с Бердыевым, у того поясница разломится.

Махира допила чай, поднялась и, возвращая старику пиалу, тихо, но решительно сказала:

— Раз так, я пойду туда, где меня обязательно выслушают.

УЧКУН НАЗАРОВ

МГЛА

*Авторизованный перевод с узбекского
С. Шевелева*

1

Погода внезапно испортилась. Налетел ветер, с грохотом распахнулись створки окна, курица, смешно вздыбив перья, побежала в курятник, гулко загредел опрокинувшийся таз, трещали электрические провода на столбе, из керамической чаши, подвешенной в плетеном из прутьев кольце, выплеснулось молоко.

Самад в одной майке выскочил на террасу.

На улице хозяйничала пыльная буря, в воздухе кружились какие-то бумаги, мать закрывала снаружи окно, платье облепило ее худенькое тело, концы платка она зажала в зубах.

Ночью он плохо спал, давила духота, кусали комары, тело спящей жены было жарким — он мучился, отодвигался... Сейчас он рад был непогоде. Вернулся в дом, но в комнате скопилась духота; он поспешил вернуться на террасу — пусть пыльно, зато прохладнее. Закурил.

Ветер успокоился так же быстро, как и налетел. Обвисла надломившаяся ветка черешни, пустая бутылка, катившаяся по земле, уткнулась в забор и затихла, не раскачивалась больше чаша с молоком, прижался к цветнику унесенный порывом ветра с террасы палас, двор был усеян сорвавшимися с веток яблоками.

Пыль еще не осела, окружающие предметы виделись как бы сквозь пелену, везде был разбросан мусор, клочки бумаги, на соседнем дворе жалобно мычала корова. Вздрогнул, затрясся и наконец ровно загудел холодильник — видимо, соединили оборванные провода.

Наконец легкое дуновение ветерка развеяло стоявшую всю неделю в воздухе муть, небо очистилось, заголубело.

«Интересно, где сейчас этот недавний ураган?» — подумал Самад. Вот так и бывает: неделю стоит, копится духота, листочек не шелохнется, ни днем ни ночью не вздохнешь свободно — и вдруг налетает неизвестно где

притаившийся ветер, шумит, хозяйничает, разгоняет духоту. И — опять тишина, будто и не было бури.

— Ты когда идешь на работу? — мать повернулась к нему, держа в руках сорванное ветром с веревок белье.

— Сейчас. Уже собираюсь.

Мать бросила собранные вещи на топчан.

— Зайди на кладбище, — она старательно отряхнула от пыли руки, платье. — Я вчера отнесла цветы Замире. Ваза, наверное, разбилась. (Самад кивнул в знак согласия.) Кувшин с собой захвати. — Она намочила веник в арыке, стряхнула лишнее. — Только посмотри, что за ветер такой ненормальный — все во дворе вверх дном...

— Хорошо хоть, похолодало, — Самад отбросил окурок. — Дышать можно наконец.

— Похолодало, да. Что теперь будет с хлопком, только ведь зацвел?

— Пропади он пропадом! — пробурчал Самад. Открыл кран во дворе, умылся. Позавтракал, обмакнул кусочек лепешки в сливки, отхлебнул из пиалы зеленого чая. Взял приготовленный матерью кувшин и вышел на улицу.

Кладбище было недалеко.

У входа, под старой шелковицей, текла струйкой вода из всегда открытого крана. Самад попросил у служителя ведро, набрал воды в ведро и в кувшин и направился к могиле сестры.

Прошел уже год, как умерла Замира. Умерла внезапно. Врачи сказали — большое сердце, бывает. Родителей Самада и его самого это поразило: Замира никогда не жаловалась на сердце. Но не спорить же с врачебным диагнозом — пришлось смириться.

Замира была моложе Самада на четыре года. В то лето, когда он окончил пединститут в областном городе, Замира получила аттестат зрелости и поступила в тот же педагогический институт, что и брат.

Самад вернулся с аттестатом в районный городок, где жили родители, начал преподавать в школе. Еще в институте он сотрудничал в стенной печати. Сейчас несколько его выступлений на школьные темы напечатала районная газета, затем областная и, наконец, республиканская. В своей районной газете Самад начал писать и на другие злободневные темы, не только о педагогике, и через год редактор предложил Самаду зачислить его в штат на должность корреспондента. Так Самад сделался журналистом.

Вскоре по возвращении в родной городок он женился. Муяссар родила ему дочь, дом наполнился светом. Оглянуться не успели, как Надире исполнился год.

А потом и Замира вернулась в родительский дом после института, начала работать в той же школе, что когда-то и брат.

И вот с этого времени все и началось.

В институте Замира дружила с парнем из того же областного города, звали его Равшан. Молодые люди любили друг друга, решили не расставаться. Равшан послал свою мать к родителям Замиры сватать девушку, сговор состоялся, преломили хлеб.

Теперь Равшан часто приезжал на подаренной отцом машине к школе, где преподавала Замира.

Через месяц должна была состояться свадьба.

Однако судьба распорядилась иначе.

Сын председателя райисполкома в городке, человека влиятельного, ожидавшего повышения по службе, несколько раз останавливал Замиру на улице, пытался заговорить с ней. Девушка упорно избегала Хамдама — так звали этого парня, заносчивого и необузданного, — ясно давала понять, что не хочет видеть его. Однако вскоре после ее возвращения из института и начала работы в школе в дом ее родителей пришли сваты от Хамдама.

Мать Замиры ответила гостям неопределенно, проводила их, а уж затем сообщила новость мужу.

У Джалала-ака, отца Самада и Замиры, небольшого чиновника в райторге, голова пошла кругом. Сам Холбаев! Если б все зависело от него, от Джалала-ака, он бы и не искал другого родства. Будущий свояк — так он сразу в мыслях стал называть отца Хамдама — большой человек, руководитель с перспективой, вожжи района в его руках. Польза от таких родственников была бы непосредственная и ощутимая. Но были и трудности. Джалал-ака маялся: дочь была помолвлена. Как переступить через это? Значит, как ни вздыхай, а Хамдаму придется отказать. Но что такое отказать Холбаевым в городке, где они хозяева? Все выгоды возможного родства тут же обернутся невыгодами, и какими! Сам Холбаев на все способен, считал Джалал-ака. Говорят, у него в самом Ташкенте связи, все может. Да, дочь просватана, по обычаю сломана лепешка, этой осенью должна совершиться свадьба... И ту сторону, сторону жениха Замиры, тоже ведь нельзя сбрасывать со счетов... чуть что не так сделаешь — стыда потом не обе-

решься. И сама Замира — что она скажет, если заговорить с ней о Холбаевых?

Джалал-ака поделился своими сомнениями с сыном.

Самад задумался. Он хорошо понимал колебания отца. Однако ответил определенно:

— Пусть мама все же ответит им, что сестра уже сосватана. Должны ведь они понять, что мы не можем нарушить обещание. И сама Замира — она же скандал поднимет. А Равшан — он ведь если узнает, убьет этого парня, сына Холбаева. Вот морока...

Джалал-ака сокрушенно вздохнул:

— Зря мы им сразу дали согласие, этим приедем. Мать поторопилась. Можно ведь было потянуть, поломаться... — Джалал-ака потер небритый подбородок, вытащил из кармана носовой платок, высморкался. — Разве мы можем спорить с Холбаевым? Да он нас со всем потомством раздавит.

— Ну зачем уж так пугаться, — возразил Самад. — Если дело примет плохой оборот, продадим дом, переедем в областной центр, как-нибудь проживем.

— Это еще если успеем, — Джалал-ака озабоченно покачал головой. — Да он мигом найдет какую-нибудь зацепку и привлечет к ответственности. Вот тогда сам увидишь — и сказать о нашей беде некому будет.

— Какую же зацепку он может найти?

— Эх, сынок, мало, что ли... Милиция-то в его распоряжении, — ответил Джалал-ака с горечью. — И сын его, Хамдам этот, говорят, упрямый — весь в отца! Вроде бы он сказал: мол, женюсь только на ней, а иначе дом подожгу. Эта собака и с сестренкой твоей сделать что-нибудь может, от него всего ожидай. Ты, верно, слышал об этом случае: старуха шла с базара, устала, поставила корзинку с яйцами на его машину — так он всю корзинку оземь... А мимо мотоциклист ехал, попал на скользкое — и об дерево. Сейчас инвалид, врачи сшили ему хомут на шею — говорят, у него без хомута голова не держится. Вот так, и никто ничего сказать не может — все боятся его отца.

Так Джалал-ака с Самадом и не смогли ничего придумать, чтобы защитить семью от неприятностей.

Дальше все покатило как под гору.

От Хамдама снова пришли сваты. Сожида-апа отказала им, сославшись на то, что девушка сговорена, и гости, холодно попрощавшись, удалились.

За две недели до свадьбы «Жигули» Равшана нашли

в враге. Прошел слух, что Равшан врезался в грузовую машину и что он сам виноват — был нетрезв.

Хотя свадьбы еще не играли и родственные связи не были закреплены, Джалал-ака с женой и сыном участвовали во всех обрядах, связанных с похоронами. В городке им открыто сочувствовали, и даже мать Хамдама приходила к Сожиде-апа с соболезнованиями.

Замира несколько раз побывала на могиле Равшана. Возвращалась оттуда с покрасневшими глазами, с пустотой на сердце.

Соблюдая приличия, мать Хамдама подождала месяц после смерти жениха девушки и снова пришла сватать Замиру.

Поскольку прежняя помолвка со смертью Равшана утратила силу и груз обещания больше не тяготил родителей девушки, они считали своим долгом подумать о судьбе дочери: ведь уже год как она окончила институт, ее сверстницы все давно повыходили замуж, имеют по двое детей... кроме того, если и в этот раз отказаться, получится, будто они не желают сблизиться с семьей Холбаева — ведь Замира теперь свободна.

В итоге родители девушки дали согласие Хамдаму, причем Джалал-ака в душе рад был такому повороту дела и намечавшемуся родству с председателем райисполкома.

Замира не хотела соглашаться, упрямилась, пыталась было сказать, что слишком мало времени прошло со смерти Равшана, но родители были тверды:

— Э, дочка, ты соображаешь, что означают для людей твои слова? — рассердилась Сожида-апа. — Разве носят траур по жениху, с которым еще не расписаны, дитя мое! Чтобы я больше не слышала от тебя подобного! Что о нас подумают люди!

Поздней осенью сыграли свадьбу Хамдама и Замиры.

Прошло еще три месяца.

Замира, опустошенная и безразличная, ничего не чувствовала, ничто ее не радовало и не огорчало — она отдалась течению событий. Долгое время не могла заставить себя улыбнуться. Понимала, что так нельзя себя вести, делала над собой усилие, старалась показать, что спокойна, улыбалась, но тут же снова печаль овладевала ею.

Хамдам зорко подмечал все, вскипал злобой; родители, зная его характер, старались успокоить его, убеждая

потерпеть, выждать — время, мол, все перемелет. Однако он все же бывал груб с Замирой, несмотря на то что она была беременна, ревновал ее к умершему Равшану, мучился сам и мучил жену.

Может быть, и правы оказались бы родители Хамдама, веди он себя поумнее, прояви терпение и понимание, может, и наладились бы отношения в молодой семье. Может быть... Но одна его фраза, один злой выкрик перевернули все.

«Это я, я сам убил твоего любовника! — заявил Хамдам в пьяной злобе. — Аварию организовал я!»

Говорил он правду или бахвалился, терзаемый ревностью, Замира не могла знать, но она вдруг поверила этим словам, будто ждала уже подобного признания. Ведь авария-то произошла на территории их района, где и милиция и все расследование, по сути, подчинено Холбаеву!

В душе ее оборвалась еще одна ниточка...

Под утро Холбаев, войдя в ванную, увидел свою невестку в петле, рядом валялась опрокинутая табуретка.

Освободив от веревки еще не успевшее остыть тело, Холбаев лихорадочно соображал, как выбраться из создавшегося положения. Если городок узнает о самоубийстве его невестки, начнется следствие, всплывет история с аварией и смертью ее первого жениха, Равшана... Дело тогда, в октябре, завершили по его совету срочно, квалифицировав как несчастный случай. Но ни одна душа не знала, что его личное вмешательство в это дело и совет были вызваны опасением: он не мог с уверенностью сказать себе, что его сын, этот сошедший от страсти с ума Хамдам, не приложил тут руку... Как на самом деле все случилось, Холбаев не знал, но на всякий случай постарался, чтобы следствие пошло по безопасному для него пути. Но если следствие начнется сейчас и многое всплывет — попробуй тогда выкрутись... А у него столько планов, столько дел впереди! Сколько сил и средств потрачено!.. Расходы — ладно, он уже возместил их... Черт побери, секретаря райкома хотят взять в область, это не секрет, а кандидатура Холбаева будет названа, когда станут решать вопрос о преемнике. Как нехорошо получилось, какую глупость все же совершила его молодая невестка! Несомненно, это Хамдам довел ее до крайности — не будет же беременная женщина вешаться ни с того ни с сего. Видно, до того все ей опостылело — жизнь стала неважною. Ну и тихоня, а! Или, может, больна была чем-то? А? Может, она психически больная, а домашние и не заметили?..

Это мысль! Психически больная, да!

Холбаев бросился к телефону, и через десять минут главный врач районной больницы, запыхавшись, вбежал в его дом.

Осмотрел тело, покачал головой:

— То, что она была нездорова психически, сейчас доказать невозможно. На учете не состояла, к врачу не обращалась. Никакой зацепки. Заключение, конечно, написать можно, но... если ее родители не поверят в ее ненормальность и потребуют экспертизы... обман тут же откроется — след на шее все же существует...

— А если распространится слух, что невестка Холбаева повесилась, это, по-вашему, хорошо? — раздраженно спросил хозяин дома.— Пойдут проверки! Соображайте сами!

Главный врач не спешил с ответом — пусть начальство почувствует свою зависимость, пусть знает ему, врачу, цену!

— Решайте быстрее, уже светает! — зашипел Холбаев, поняв, что врач нарочно тянет время. Добавил тихо: — То, о чем вы беспокоитесь, с этим все будет в порядке, не волнуйтесь. Родителей девушки я беру на себя.

— Я думаю, у девушки было больное сердце, — сказал наконец главврач.— Болезнь часто протекает скрыто, человек сам может не знать о ней. И вообще сердце — это такой орган... неожиданно может быть эксцесс. Возраст тут не имеет значения. Так что, думаю, надо ее везти в больницу.

— Вы на какой машине?

— На «скорой помощи».

— Пусть ее заведут во двор.

— Да, понимаю,— главврач пошел к воротам.

Когда тело Замиры увезли, еще только рассветало. Стволы деревьев, черные и влажные, высокие ветки с набухшими почками еле можно было различить в тумане.

Проводив машину, Холбаев закрыл ворота и побежал в дом, разбудил жену.

— Вышел в туалет, вижу: в ванне невестка лежит. Перевернул ее — не дышит. Сразу позвонил врачам, приехали. Говорят, сердце остановилось!

— Ой, какое горе!

— Ты не знала, что она больная?

— Нет...

— Скрыли, значит, от нас! — Холбаев ударил кулаком о ладонь.— Да вставай же ты наконец! Иди разбуди сына.

Жена, наконец-то придя в себя, стала торопливо одеваться.

Тело Замиры доставили в отделение реанимации.

Ее родственникам, отцу, матери и брату, объявили, что произошла внезапная остановка сердца, что медицина в данном случае оказалась бессильна. Потерявшим от горя рассудок родителям Замиры и в голову не пришло заподозрить обман.

Из больницы Замиру отвезли на кладбище — похоронили в тот же день.

И вот с того самого времени, с весны восемьдесят второго года родные Замиры каждый день приносили на ее могилу цветы. Если Сожида-апа почему-нибудь сама не могла пойти на кладбище, она посылала младшую дочку, Зумрад, либо Самада.

Холбаев, кроме того что организовал пышные похороны, за свой счет поставил на могиле памятник — Замиру изваяли в мраморе, огородил участок чугунной решеткой, посадил цветы, провел электричество. В общем, на могилу приходили смотреть: богатая, находившаяся под особым, постоянным присмотром служителей кладбища, она должна была напоминать и напоминала о неутешной скорби и о богатстве влиятельного тестя Замиры. Электрический свет над могилой горел постоянно, круглые сутки.

Подойдя к могиле, Самад увидел, что мать была права: буря разбила вазу, разбросала цветы. Он собрал осколки, вытер тряпкой надгробие, поставил цветы в принесенный с собой кувшин, полил цветник. Облокотился о чугунную ограду, постоял несколько минут, потом пошел к выходу с кладбища.

2

Купив в киоске центральные газеты, Самад направился в редакцию.

Старое двухэтажное здание вросло в землю — фундамент едва был виден, окна казались прорезанными необычно низко. Дом стоял неухоженный, неказистый: штукатурка кое-где облупилась, решетки на окнах первого этажа поржавели, на тусклых от грязи стеклах остались следы пальцев, пыльные занавески потеряли цвет. Перед зданием — три засохшие клумбы, украшенные обручем от бочки, старой калошей и большой обглоданной костью.

В этом запущенном доме помещалось несколько районных организаций — отдел культуры, контора кинофикации, какая-то строительная администрация. И редакция газеты «Коммунизм машъали» («Маяк коммунизма»), где работал Самад, тоже прижилась здесь. Беспризорное здание, затерявшееся среди внушительно выглядявших добротных новостроек, ни в ком не рождало мысли о ремонте, о благоустройстве территории. Если случалось, прохудится крыша, с потолка капало неделями; если где-то лопалась труба, без воды сидели месяцами: если заливало подвал, невозможно было подойти к туалету.

— Давненько мы не давали материалов об «Илгор», — сказал Самаду завотделом, сорокалетний веснушчатый толстяк. — Теперь запланировали. Съездите-ка на пару деньков.

«Илгор» был известным, даже знаменитым передовым колхозом.

— О них ведь постоянно республиканские газеты пишут, — полунапомнил, полувозразил Самад. — Председатель — она и герой, и депутат. Наш материал никто и не заметит. В грош не оценят.

— Это поручение главного, так надо, — объявил завотделом, не вступая в дискуссию. — Если буран нанес ущерб, не забудьте отметить: «Несмотря на неблагоприятные условия погоды, мужественно преодолевая трудности...» — ну и так далее, сами знаете.

— А если ущерба не было? — спросил Самад, не очень скрывая иронию.

Заведующий расценил вопрос как бунт, глянул неприязненно:

— Короче — рассмотрите, поищите, разузнайте. Если чего нет, сами придумайте. В общем, подготовьте показательный материал, таково задание.

Вернувшись на свое место, Самад просмотрел почту, рассортировал бумаги, что нужно спрятал в ящик стола, запер на ключ. Позвонил жене на работу, сказал, что уезжает в колхоз — дня на два, не больше.

Выйдя на улицу, задумался. Пока он доберется до места, уже наступит вечер — как быть с ночлегом? Корреспондент районной газеты — человек маленький. Все внимание в знаменитом колхозе — гостям из столицы. Иногда и людям из области не уделяют должного внимания, не до них. Центральная дача колхоза и гостиница переполнены приезжими и корреспондентами из Москвы и Ташкента; угощениям нет конца, машины то и дело возят всевозмож-

ные напитки, отборные яства и фрукты; мраморные бассейны, финская баня, бильярдные никогда не пустуют, обслуживая важных гостей. Где уж таким, как Самад, проситься в колхозную гостиницу!

Однако выход был. В водхозе района работал друг Самада, дом его помещался как раз в центральном поселке «Илгора». Самад и Мансур подружились еще во время учебы в областном городе, в каникулы ездили друг к другу в гости, так что и семья Мансура, его жена и мать, хорошо знали Самада. Во время командировок ему не раз доводилось останавливаться в доме друга. К тому ж у Мансура недавно родился второй сын, надо бы заглянуть, поздравить. Только прежде — в магазин, за подарком. Когда появилась на свет Надира, Мансур с женой приезжал посмотреть на новорожденную, а его подарок — детская кроватка — и сейчас исправно служит.

В «Детском мире» Самад разглядывал игрушки — от погремушек до детской педальной машины — и не знал, что купить. Была бы рядом Муяссар, она бы сразу выбрала необходимое. Пришлось советоваться с продавщицей.

— Сколько лет мальчику? — спросила девушка.

— Полгода.

— Вон, погремушек целая полка.

Самад покачал головой:

— Мне надо что-нибудь подороже.

— Тогда возьмите трехколесный велосипед. Подрстет малыш — будет кататься.

Ехать в «Илгор» было не так уж далеко, но в нескольких местах шоссе было перегорожено поваленными бурей деревьями. Пока трактор стаскивал их с дороги, прошло время, так что до места Самад добрался лишь с наступлением сумерек.

Мансур еще не вернулся с работы, но Самада приняли радушно.

Когда стемнело, появился хозяин. Самад встал навстречу, друзья поздоровались.

— Что ж ты не предупредил, я бы пораньше вернулся!

— Да я совсем недавно...

— Присаживайся, я пока вымоюсь и переоденусь. Буря свалила в канал с десяток деревьев, с утра возимся. Адолат, принеси полотенце!

— Я только что повесила в ванной чистые, — ответила жена, выглянув из кухни; на руках у нее был шестимесячный сын, за подол тянула четырехлетняя девочка, капризничала, ревнуя мать к малышу.

— Да отдай ты пока ребят бабушке! — крикнул Мансур, жалея Адолат.

Та смутилась:

— Она пошла читать вечерний намаз... Сейчас выйдет.

— Чего ты нам приготовишь?

— Плов. Уже скоро, рис кладу.

Самад поднялся, сделал несколько шагов к кухне:

— Адолатхон, давайте-ка пока что я пригляжу за детьми.

— Да они не захотят без меня. Не беспокойтесь... — и хозяйка снова скрылась в кухне.

После плова нарезали дынь хандаляшек, в воздухе поплыл их тонкий аромат.

Взошла луна, осветила листья тополей.

Самад с Мансуром устроились спать во дворе, на помосте, опустили марлевый полог, спасающий от комаров, закурили.

— Отец твой, я слышал, перешел в отдел снабжения, с хорошим окладом, — сказал Мансур, желая сделать приятное другу.

Однако Самаду в его словах послышался намек на родство с Холбаевым.

— Пропади они пропадом, и должность, и оклад! — в сердцах ответил он. — Холбаевы... И надо нам было попасть в их сети! Это они погубили Замиру! Муж довел ее — издевался, ревновал. Замира терпела, переживала, вот сердце и не выдержало. — Самад помолчал. — Здесь и моя вина есть. Знал, что сестра не любит этого парня, а не отговорил, не переубедил отца. А отец, наоборот, все старался ускорить свадьбу, не давал покоя матери — хотел, чтобы она скорее нажала на сестру, уговорила. И вот результат. Замиры уже год как нет, мать не может простить отцу, отношения натянутые, чуть что — ссора. У меня от их бесконечных перебранок сердце болит, да и перед женой стыдно.

Мансур сочувственно вздохнул. Постарался перевести разговор на другое:

— В каждой семье свои заботы и печали, не те, так другие, от них не скроешься. Посмотри на мою Адолат — как состарилась! — а ведь ей всего двадцать пять. Работает день и ночь, на себя минуты не остается. В этом году особенно тяжело с шелкопрядом, план спустили большой, никуда не денешься. Все тутовники обрезали. Я с водхозовскими делами мотаюсь по району, а сам еще и тутовники высматриваю — быстро срезаю ветки, в машину — и был

таков. Если поймают, конечно, по мозгам получу. Так и кручусь: колхоз не успел обеспечить листьями, а те, что с трудом добываю и привожу, по дороге успевают увянуть, гусеницы их не едят. На руках у жены грудной ребенок, старшая подола не отпускает. Детский сад отобрали, ребятишки остались на улице. Да хорошо, если б только с шелкопрядом морока, а то ведь еще и насчет посадочного материала думать надо, и овцы, коровы — их кормить надо, еще домашнее хозяйство, стирка, уборка, детей вымыть, покормить и уложить... В общем, сам понимаешь.

— Я же помню — три года назад в этом колхозе построили показательный двухэтажный детский сад с бассейном, на всю республику прогремели. Это там сейчас шелкопряда выращивают? — изумляясь спросил Самад. — Ведь говорили — образцовый, гордость района. Я тогда еще писал в газете о торжественном открытии...

— К черту всю эту показательность! — сердито бросил Мансур. — Все наши беды от показухи!

Самад с возрастающим интересом ждал продолжения.

— Если все сложить вместе, то за три года дети и месяца не провели в этом показательном саду!

— Как — месяца?! — все более удивляясь, переспросил Самад. — Ты хочешь сказать, что дети все три года не пользовались садом?

— Вот именно! Ходили и ходят в старый сад, в аварийное здание. Все та же грязь, рваные матрацы, месяцами не стиранные покрывала, хромые столы и табуретки, сломанные игрушки, гнутая алюминиевая посуда без ручек... Из такой посуды не то что человека — собаку кормить стыдно... Э, да что говорить!.. Так даже и это здание каждый год забирают под гусениц шелкопряда. И дети рады, что не надо идти в сад!

— А новый сад — что с ним? Который показательный? Почему дети туда не ходят? Я же сам видел его — прекрасно оформлен, богато обставлен, от изобилия игрушек в глазах рябит. Новые ковры, новые занавески, новые люстры... Во дворе — аттракционы, бассейны, цветники, сад!

— Все правильно! — Мансур от волнения даже повысил голос. — Цветники, сад! Все существует, не детсад — санаторий! Колхоз истратил на постройку двести пятьдесят тысяч рублей!

— Так почему дети не ходят? Что-нибудь не так?

— Все так, как положено. Ходят! — зло сказал Ман-

сур.— Когда гости из-за границы приезжают. На два-три часа, да и то под присмотром большого колхозного руководства. И пусть хоть один ребенок прикоснется к игрушкам! Да ему руки пообломают! И дети это знают. А как только зарубежные гости или столичное начальство за порог — естественно, выразив восхищение увиденным,— так детей без промедления отправляют обратно, в старое здание. А новый сад запирают на замок. И ключ от него хранится лично у председателя в сейфе — до очередных гостей. На новых накрахмаленных простынях дети ни разу не спали, и они к этому привыкли. И уже знают, что делать при гостях в новом саду: сядут на стульчики в кружок и поют песенку про цыпленка, ну, ты знаешь ее, очень популярная, гости всегда в такт хлопают.

Самад не верил своим ушам.

— Да ведь это — наглое очковтирательство! А вы почему не поднимаете скандал, почему сидите тихо?!

— Говорят, есть указание сверху,— с напускной наивностью объяснил Мансур.— Необходимо иметь хотя бы один показательный объект.

Ветер тихонько шелестел листьями, высоко поднимаясь луна освещала призрачным светом марлевый полог над помостом, где расположились два друга, и белая эта палатка была похожа на одинокий парус в ночном море.

3

Самад закрыл дверь председательского кабинета, а сама хозяйка — мужеподобная женщина лет пятидесяти, с набрякшим лицом, с родимым пятном на правой щеке,— сердито перевела дух и еще некоторое время хмуро смотрела в дверь, вслед ушедшему, соображая, что сейчас нужно сделать, как лучше нейтрализовать этого наглого мальчишку. Беседа с ним была неприятной, оставила тяжелый осадок.

Наконец она ловким, привычным движением энергично схватила телефонную трубку, соединилась с райкомом.

— Асам Пардаевич! — начала она повышенным тоном (ясно было, что райкомовские для нее не самое большое начальство).— Это что такое?! Ведь спокойно не можем работать! Здравствуйте!.. Хорошо... Сплошное цветение. Поливаем. Нет! Пока не закончим орошение, воду не трогайте! Да! Меня другие хозяйства не интересуют. Саженцы нужно напоить вдоволь. Ветер согнул, головы им не поднять... Я же вам, кажется, сказала, Асам Пардаевич, до

других колхозов мне дела нет. Воду не трогайте, не то позвоню наверх... Хотите иметь гарантированный урожай — придется делать... Что? Какой разговор! Да, кстати... Был у меня корреспондент районной газеты, здорово подпортил настроение. Фамилия его Саттаров... кажется, Самад... Это что за такой бестолковый человек?! Состояние посевов хлопка сами знаете какое, так вместо того чтобы пойти и посмотреть, он мне все про детский сад: почему старый — такой-сякой, почему детей не переводите в новое здание, очковтирательством, говорит, занимаетесь, мошенничеством, Москвой пугает, в «Правду», говорит, напишу, для детей, мол, сад построили, не для показа гостям, угрожает. В первый момент хотела в милицию его сдать, да потом сдержала себя. Что, теперь наша судьба от таких молокососов зависит, что ли? Ни со званием, ни с положением не считается! И где вы только находите таких болтунов? На весь день испортил настроение, я теперь работать не в состоянии, валидол глотаю. Да, Асам Пардаевич, но надо же знать меру! Надо приструнить кляузника. Если такие, как он, будут совать свой нос во все дела, хочу предупредить: поставлю на дорогах патруль — и пусть катятся откуда пришли. Забот полон рот, мне о хлопке надо думать или же обороняться от таких вот ищеек? Вы знаете, что делают в Намангане с такими, как он?.. Вот это другое дело! Асам Пардаевич, если кто собирается приехать, предупредите — пусть у меня спросят, о чем писать, а не то посажу на ишака задом наперед — и до свидания! Асам Пардаевич, проследите, чтобы этот не писал. Все равно, если будет проверка, материалы сначала посылают в наш район, а этот полагает и перестанет. Бег теленка — до стойла. Однако что ни говори, а знающий скажет так, незнающий — этак, а для авторитета района — минус. Не лучше ли опередить события. Асам Пардаевич, пока воду не замутили...

4

Хамдам ехал по улице на своих «Жигулях» и из машины увидел на тротуаре брата Замиры Самада, направлявшегося в сторону автобусной станции с детским велосипедом в руках. Первым побуждением Хамдама было остановиться, поздороваться, если нужно, то и подвезти... но потом он передумал — не хотел сейчас никаких разгово-

После смерти жены он места себе не находил. Все

случившееся в их доме оглушило его, потрясло, напугало, лишило воли и способности действовать как обычно.

После того, последнего скандала с женой он, пьяный, быстро заснул. Ночью проснулся от сильной жажды — рядом в постели ощутил пустоту. Позвал жену, раз, другой — ответа не было. Решил, что она, обидевшись, ушла к родителям. С трудом поднялся, вышел во двор — холодный туманный воздух помог прийти в себя. Отправился в ванную комнату — и, увидев, сдавленно вскрикнул: жена висела на веревке, босые ноги, руки вытянуты вдоль тела, на кафельном полу валялась табуретка. В ужасе, не помня себя, Хамдам вылетел из ванной, бросился в спальню, нырнул в постель, под одеяло, голову под подушку — затих. Не было, ничего не было этого... не видел, не знает, не причастен... В горле пересохло, сердце гулко стучало, темнота усиливала страх.

Минуты тянулись как часы.

Потом на поверхности сознания всплыла мысль: сейчас он встанет, заставит себя встать, и побежит через двор в дом, где спали родители. Необходимо разбудить их...

Но тут во дворе послышался кашель отца.

«Нет, я ничего не видел! — подсказал страх. — Отец сейчас все обнаружит сам, прибежит сюда, станет будить меня, а я притворюсь спящим, я еще ничего не знаю... Пусть расхлебывают без меня!»

Он ждал, от напряжения его колотила дрожь, но отец все не шел за ним, не было слышно и матери. Вместо этого вскоре скрипнули ворота, донеслись неясные голоса чужих людей, взволнованные, нервные объяснения отца, шум автомобильного мотора, топот ног...

Врачи дали заключение, связывавшее смерть с сердечным приступом; Замиру в тот же день похоронили, и Хамдам так никому и не открыл, что видел жену в петле.

Его вполне устраивало, что подлые его поступки, толкнувшие жену к самоубийству, пребудут в тайне и ни за что не придется отвечать. Нет, что за ловкач отец, а! И после смерти Равшана явно сумел оградить семью от подозрений и расследования, и сейчас с врачебным диагнозом мастерски обстряпал дело — словно волосок из теста вытащил! Закрытый котелок так и остался закрытым.

Однако самое тяжелое для Хамдама неожиданно началось позже, когда Замиру уже похоронили, опасность разоблачения миновала и страх прошел. Помимо собственной воли он еще раз выяснил для себя, что все-таки

любил жену, как ни отравлял ей жизнь, и что без нее свет белый ему не мил.

Чтобы заглушить чувство потери, раскаяния, презрение к себе и родителям, сделавшимся его сообщниками, Хамдам начал пить.

Родители не мешали ему, понимая, что в основе его поведения теперь — тоска по жене, досада на жизнь, на себя; они считали, что время излечит все. А пока — на улице сын пьяным не болтается, хулиганских выходок, как прежде, не допускает, родителей не позорит — так пусть утешается как может, скоро ему надоест.

Родители и здесь были правы: выпивка Хамдаму скоро надоела, однако — и тут родители ошиблись — он вовсе не успокоился.

Теперь он напивался реже, однако ни с кем не разговаривал, одичал, даже матери с отцом на осторожные попытки спросить, помочь отвечал грубостью.

— Надо нам женить его, — сказал однажды Холбаев своей жене Манзуре. К тому времени прошло шесть месяцев со дня гибели Замиры. — Жена отвлечет его, смягчит.

— Но ведь совсем мало времени прошло после похорон невестки, — озабоченно заметила жена. — Что люди скажут?

— Если жених с невестой сосватаны, в доме, где умер свекр, и двух дней не проходит, а свадьбу уже играют, — объяснил Холбаев.

— Но это лишь от безвыходности, если свадьба уже назначена, — робко попыталась возразить Манзура. — У нас-то нет причин спешить. Сын вполне может потерпеть. Ведь из нашего дома тело выносили.

— Беспокоюсь за сына, потому так и говорю, — отворачиваясь, пробурчал Холбаев. — Как бы чего не натворил. По мне — пусть хоть год еще ждет, даже хорошо: люди скажут — долго соблюдали траур по невестке, уважение оказали. Но посмотри на Хамдама — второй день не просыхает, еще ляпнет своим дружкам что-нибудь на пьяную голову.

— Какие дружки, он же из дома не выходит. Да и что может он такого сказать... — Манзура-апа не знала ни опасений мужа, связанных со смертью Равшана, ни тем более истинной причины смерти невестки.

— Как это — что может сказать? — раздраженно переспросил Холбаев. — Сердце у бедной Замиры, я думаю, ты понимаешь, не само собой заболело. Сын твой ее мучил,

ревновал к тому погибшему парню. Сколько раз избивал ее, она на улицу не могла выйти — знаешь не хуже меня. Терпеливая оказалась, — представляешь картину, если б она вся в синяках ушла к своим родителям! Подали бы на нас в суд, сына посадили бы, меня бы отстранили от работы. Сидели бы, жалуясь богу...

Несомненно, опасения Холбаева были обоснованны. Ему было чего бояться, случись и вправду, что Хамдам по пьянке сболтнул бы лишнее... например, об издевательствах своих над женой, приведших к ее смерти; а это дело связали бы с фактом гибели Равшана в автокатастрофе — иди тогда оправдывайся, пробуй сохранить пост и влияние... поползут слухи, людям ведь рот не закроешь. Нет, и правда это мысль: нужно побыстрее женить Хамдама, пусть будет занят собой — перестанет мучиться по Замире. Может, ему нравится кто... тогда все можно ускорить — желанная женщина так сладка, что любые самые важные проблемы отодвинет.

— Погляди, какой он хмурый ходит. — Увидев, что на улице остановилась пришедшая за ним машина, Холбаев надел шляпу. — На нас не смотрит, словно это мы его жену извели. Сам во всем виноват, шалопай. Сдерживать надо было себя... Поговори с ним, — обернулся он к жене, — пусть скажет, может, ему кто по душе...

— Нагрубит он мне, и все. — Манзура-апа помолчала, потом добавила: — Вы мужчины, вы и поговорите. А я займусь женскими заботами...

Холбаев все не мог найти удобного случая побеседовать с сыном начистоту, да и о новой невестке непросто было завести разговор. Однако он видел, что состояние Хамдама с каждым днем ухудшается, и пока тот не наделал беды (по понятиям Холбаева), необходимо было что-то предпринять.

Хамдам чувствовал намерение отца поговорить с ним и не хотел этого разговора. Он знал, что не сумеет сдержаться, и боялся — боялся бросить отцу в лицо правду, обвинить в подлых делах... неизбежно будет упомянута смерть Замиры, ложное заключение врачей, снова будут сказаны слова о гибели Равшана... Не хотел этих слов, этих разговоров Хамдам. Да, все верно, он бывал груб с женой, без причины ревновал ее, мучил нещадно. Всякий раз обнимая жену, вглядывался в ее глаза, стараясь понять, по-прежнему ли ее сердце принадлежит Равшану... а если это было не так, он хотел слышать слова преданности себе... Но, не дождавшись желанных признаний, слов

любви, страдал еще больше и доходил до того, что хотел уничтожить причину своих страданий.

Нет, какой он дурак, думал сейчас о себе Хамдам, надо же было ему жениться на Замире — ведь знал, что уже сосватана! Сам себе на голову беду накликать! Однако он отдавал себе отчет в том, что, ревнуя и мучая Замиру, все же любил ее, не мог жить без нее. Потому и бросил ей в лицо слова о гибели Равшана, чтобы сделать ей больно и в то же время показать свою силу и бесстрашие. И сейчас он понимал, что глупой, преступной похвальбой лишил себя любимой жены и будущего ребенка. Что могла тогда подумать о нем Замира, в тот вечер, — верно, ужаснулась, что живет с убийцей своего жениха и ждет от него ребенка... ужаснулась — и решила: лучше умереть, чем жить подлой, предательской жизнью...

Да, сначала Хамдам счел ловкость отца, обеспечившего «удобное» врачебное заключение, уместной и нужной — ведь была устранена опасность для семьи и для него, Хамдама, в особенности.

Но постепенно пришло отрезвление, и никакая пьянка уже не помогала, постепенно он начал осознавать, какое чудовищное дело он совершил. По сути, заставив Замиру выйти за себя, он подвел ее к смертному часу. Мало того, ее, Замиру, объявили виноватой в собственной смерти, объявили больной, ее похоронили, а сами вышли из дела чистенькими. Разве может быть преступление страшнее, чем отнять человеческую жизнь! А он, Хамдам, отнял. И отец помог. Отец кого хочешь со свету сживет, только попробуй стань поперек дороги... Взятчик. Он, Хамдам, знает, как отец продавал должности.

А мать — неужели она поверила во внезапную болезнь Замиры, в сердечный приступ? Или, может, она не видела Замиру с петлей на шее? В тот вечер, он помнит, во дворе не было слышно голоса матери. Возможно и такое, что отец, вернувшись в дом, не открыл ей правды, сказал придуманное вместе с врачом... Или же мать все знает и просто сговорилась с отцом? Неужели такое может быть? Неужели и мать такой же подлый человек, как они с отцом? Неужели...

— Сынок, ты что-то давно на работе не показываешься, три зарплаты тебя дожидаются, — сказал однажды Холбаев и, встав с кресла, выключил телевизор. — Сходи хотя бы получи деньги.

— С какими глазами я пойду в кассу, если не работал... — не поднимая глаз от пола, возразил Хамдам.

— Ну так об учебе подумай. Семь лет в институте, перешел на заочное... — Холбаев старался говорить осторожно, не раздражать сына. — Завистники болтать начнут... Чему быть, того не миновать... что ж теперь делать, ее не вернешь. Нельзя так изводить себя. Нельзя столько пить. Соберись, сынок, возьми себя в руки. Посмотри на мать — в щепку превратилась, переживая за тебя, — пожалей хоть ее.

— Что обо мне говорить, сынок, посмотри на себя, — вторила мужу Манзура-апа. — Плохо ешь, за собой перестал смотреть. Слова из тебя не вытянешь, всех нас измучил. Даже в переживаниях надо знать меру.

— Послушай меня, Хамдам, — Холбаев удобно устроился в кресле. — Шесть месяцев прошло, вполне достаточное время. Пора тебе подумать и о своей жизни в дальнейшем. Ты уже не ребенок. Если тебе кто-нибудь по душе, скажи, что-нибудь придумаем. Нам не откажут.

Хамдам встал, направился к выходу, у дверей обернулся:

— Что-нибудь придумаем, да? — И криво усмехнулся. — А если она уже сосватана? Как и тогда, все уладите?.. — голос его сорвался.

— Не кричи! — оборвал сына Холбаев: он вовсе не хотел, чтобы кто-нибудь из посторонних слышал их разговоры.

Манзура-апа, не понимая резкости мужа, с удивлением смотрела на него. Холбаев пожалел, что затеял объяснение с сыном в присутствии жены: могли всплыть подробности, которые он скрывал от ее ушей. Поэтому он тут же взял себя в руки, подавил раздражение.

— Ладно, сынок, не будем кипятиться, — предложил он и сделал рукой знак жене, чтобы она молчала. — Если ты считаешь, что времени прошло мало и что-либо предпринимать неудобно — дело твое. Мы тебя не торопим. Просто о твоём будущем думали — ну и вырвалось. Мать сказала, а я согласился с ней, не подумав. Прости нас, сынок!

— «Прости»! — с горечью повторил Хамдам. — Когда дело сделано, тогда — прости!

— Какое дело, о чем ты? — непонимающе спросила Манзура-апа. — Разве не ты сам заставлял нас устроить сватовство, уперся, покоя не знал?

— Так ведь вы — мои родители! — обидчиво вскрик-

нул Хамдам. — Почему не отговорили? Почему не объяснили, что грех разбивать помолвку? Видели же, что глупость, баловство у меня в голове, — почему не остановили, не образумили?

— Ты же сам не послушал нас, болван! — взорвался Холбаев. — Сколько раз повторяли тебе, сколько взывали к твоей совести — разве подчинился воле родителей?! «Умру, что хотите сделайте, но жените меня на ней!» — вот что ты повторял тогда. «Дом подожду, себя зарежу!» — не твои ли слова? А теперь всю вину на нас хочешь скинуть! Да, может, если б не твое ослиное упрямство, может, тот несчастный достиг бы своих желаний и судьба не заставила бы нас расплачиваться, не свалилось бы столько горя на нашу голову! И ты бы не ходил бобылем, женился бы на другой, сейчас уже внуки бы пошли — мы с матерью не оставались бы в доме одинокими! Видите ли, не предупредили его!

По недоуменным вопросам матери Хамдам понял, что она ничего не знает ни о смерти Равшана, ни о самоубийстве невестки. Получалось так, что захоти сейчас Хамдам излить злость, отомстить отцу — все скрытое от матери неизбежно выплыло бы наружу. И она может не выдержать, и так уже видно, что встревожилась из-за намеков его и отца... Жалея мать, Хамдам прекратил разговор, ушел в свою комнату, бросился на кровать и заплакал.

Мраморная плита на могиле Замиры была чистая, земля вокруг полита и подметена, в кувшине стояли цветы. «Видно, ее мать недавно приходила, — подумал Хамдам. — Бедная, такую дочь-красавицу потеряла... И ведь поверила, что из-за сердца все, даже в голову не пришло проверить врачей. Вот если б она потребовала экспертизу, было бы дело! А меня бы точно посадили... сейчас бы где-нибудь далеко отсюда валил деревья... Отца турнули бы с места... Но все это — несравнимое, мелкое рядом со смертью, этим не откупишься. Что бы с нами не случилось, еще увидим что-нибудь в жизни хорошее... а вот Замира уже ничего не увидит. Но почему, почему она не ушла из дому, почему терпела мои выходки, не поднимала скандала в ответ? Зачем сорвала обиду на себе? Почему меня, подлеца, не убила, не зарубила топором? Ведь я заслужил... И семейку мою проучила бы! Благородная какая нашлась на нашу голову! А я, собачий сын, ревновал, мучил... Как жить дальше? Есть ли у меня право жить?»

Через определенное время после свадьбы Хамдама и Замиры родители с обеих сторон, согласно традиции, начали приглашать друг друга в гости. Однако надежды Джалал-ака на быстрое выдвижение с помощью влиятельного свояка не сбылись. Сколько ни пытался он угодить Холбаеву, сколько ни намекал, что нынешняя должность его не устраивает — тщетно: Холбаев то ли просто не захотел ему помочь, сделал вид, что не понимает намеков, то ли побоялся разговоров — мол, сразу после свадьбы перевел свояка на место пожирнее; так или иначе, но когда Джалал-ака подводил разговор к нужной ему теме, Холбаев избегал прямых ответов. Однако Джалал-ака не оставлял надежду: Холбаеву хорошо были известны его заслуги в организации свадьбы. Кто, как не он, первым в семье согласился отдать дочь Хамдаму? Кто не давал покоя жене, пока дочь не была сосватана за сына Холбаева? Поэтому, по его мнению, Холбаев рано или поздно, но должен был отплатить ему за старания и помощь.

— Отец,— сказал ему однажды Самад, после того как разошлись гости,— я не понимаю, зачем вы так унижаете себя перед Холбаевым? Ведь за столом все гости равны, а вы столько внимания уделяете ему одному, можно сказать, только на него и смотрите.

— Сваяк — это свояк, ему и внимание особое полагается, сынок,— ответил Джалал-ака, не выдавая перед сыном своих истинных побуждений.— Иначе новые наши родственники скажут, что мы невоспитанные люди, не умеем встретить, уважить.

— Уважение, конечно, вещь хорошая, только все же не стоит так унижаться,— огорченно добавил Самад.— Холбаев еще ни разу не дослушал вас до конца.

— Я о Замире думаю, сынок,— сказал Джалал-ака, смутившись.— Хочу, чтобы в новом ее доме к ней хорошо относились. Замира полностью зависит от них, поэтому надо сделать все возможное.

После того как была сыграна свадьба и Замира осталась в доме Холбаевых, родители ее считали, что судьба дочери устроена. Однако Сожида-апа, вглядываясь в глаза дочери, не видела в них радости. Коли дочь у них засиживалась, мать старалась поскорее проводить ее, приговаривая, что молодой невестке неприлично возвращаться в дом мужа в темноте. Ее слова, обращенные к дочери, были одновременно намеком в адрес собственной невестки, мо-

лодой жены Самада: Муяссар частенько, навещая родителей, задерживалась там.

Когда же Сожида-апа услышала несколько раз искренний, привычный для нее смех дочери, она совершенно успокоилась: «Слава богу, девочка, кажется, начала привыкать к новой семье. Такая уж наша женская природа — вначале капризничают, а потом сдружатся, все печали позабудут. Муж то-то сказал, муж то-то купил... муж... муж...» Правда, подобных слов мать от Замиры никогда не слыхала, а если расспрашивала ее о жизни в новой семье, то слышала в ответ лишь, что все хорошо. Но уж слишком хотелось Сожиде-апа поверить в удачное замужество дочери — она и верила.

На самом деле хорошее настроение Замиры связано было не с мужем и новыми родственниками. Как бы ни складывалась жизнь, а у природы свои законы. Чувствовать под сердцем зарождение маленького существа, чувствовать себя будущей матерью было для молодой женщины единственной, но настоящей радостью. Однако Замира не торопилась сообщать Сожиде-апа о своей беременности — стеснялась. Поэтому родные Замиры, даже похоронив ее, не подозревали, что она ждала ребенка.

Неожиданно свалившаяся беда заставила Холбаева задуматься. Надо было найти выход из создавшегося положения. Молодая, здоровая, на третьем месяце беременности женщина (Холбаев не знал, что для родственников это оставалось тайной) внезапно умирает, — кто же на такое будет смотреть спокойно! Поэтому надо было срочно придумать, как бы прижать всем язык — не то, не дай бог, потребуют разбирательства.

После смерти Замиры, примерно через неделю, Холбаев перевел ее отца на другую работу, и Джалал-ака тут же попался на удочку: новое место, отдел снабжения, было не только почетным, но и весьма прибыльным, одним из самых прибыльных в районе. Новые заботы, в том числе приятные, отвлекли его внимание от обстоятельств смерти дочери.

На новой должности у Джалала-ака сразу появились свободные деньги. А сам он, еще крепкий пятидесятилетний мужчина, встречая красивых женщин, чувствовал себя молодым и сильным, сердце начинало волноваться. Поэтому, вступая в должность, Джалал-ака прежде всего перевел в свой отдел со старой работы одну юную особу.

Салимахон была разведена, весьма привлекательной внешности и не имела детей. Джалал-ака слегка заигрывал с ней и не прочь был сделать из нее любовницу, да его зарплата не позволяла делать избраннице дорогие подарки, а какая же любовница без подарков?.. Последние годы... подступающая старость... Ах, если бы позволил кошелек да коли есть желание — разве грех утолить свою жажду! И вот теперь, оказавшись на прибыльном месте, Джалал-ака приносил домой зарплату, остальные же доходы копил — и сумма набралась немалая. Пусть только минет годовщина Замиры, тогда он, Джалал-ака, потихоньку осуществит свои планы — и совесть мучить не будет. Да и почему она должна мучить? Жена волком смотрит — зло говорит, что это он погубил дочь, постоянно плачет, учиняет скандалы: мол, это он во всем виноват, он заставил ее дать согласие на свадьбу, он у домашних орехи на голове колол... а уж она уговорила бедную девочку, несмотря на ее нежелание, заставила, не давала ей покоя — и вот результат. Да, не хочется сейчас Джалалу-ака возвращаться домой с работы, боится он жены, нет ему покоя ни во сне, ни за обеденным столом. Поднявшись пораньше, торопливо бежит он на работу — и это жизнь, по-вашему? Тут и ангел перестанет быть верующим.

Безусловно, Джалал-ака любил дочь. Весть о смерти Замиры повергла в отчаяние, оглушила его, он долго не мог прийти в себя, потом разрыдался, бил себя кулаком по лбу. «Лучше бы отец твой умер, доченька!» — выкрикивал сквозь слезы. Голос его слышали в соседних дворах, и у людей, знавших его горе, сжималось сердце.

Хотя годовщину смерти Замиры справляли в доме Джалала-ака, все заботы взял на себя Холбаев. Готовили в двух огромных котлах, зарезали пятнадцать баранов, на поминки пришло более тысячи человек. По заказу Холбаева на могиле Замиры поставили мраморный памятник, из школы, где она преподавала, пришли пионеры, выстроились вокруг могилы, звучала траурная мелодия, близкие люди говорили душевные, прочувствованные слова. Со стороны могло показаться, что все тут посвящено памяти Замиры, однако на самом деле Холбаев организацией богатых поминок еще больше укрепил свой авторитет, даже из смерти сумел извлечь для себя выгоду. В определенной мере он достиг цели: многие из собравшихся восхваляли его достоинства, его щедрость, старики благословляли его, скромно стоявшего в сторонке, пожимали

его руку и — в знак особого уважения — прикладывали к глазам.

На Хамдама никто даже и не взглянул.

«Ай да отец! — удивился Хамдам: такое торжество поразило даже его. — Ну и ловкач, всех обвел вокруг пальца, всех одурачил!»

6

Выслушав жалобу председателя колхоза «Илгор» на корреспондента районной газеты, Асам Пардаевич положил телефонную трубку и задумался. Апа (Сестра), как принято было почтительно называть председателя, знаменита была не только в районе и области, но и в республике, водила знакомство с представителями высших инстанций, свободно могла звонить им по телефону, привыкла к похвалам, почету и власти. Перечить ей нельзя, никто не смеет — в случае чего она способна не только самому Асаму Пардаевичу, но и его областному руководству хвост прижать, имеет хорошую опору в Ташкенте — всем известно. У себя в колхозе она полновластная правительница, остальные у нее на побегушках. Хозяйство прочное, приносит хорошую прибыль, колхозники живут в достатке, поэтому действия Апы не подлежат обсуждению, все ее указания и распоряжения принято сразу же поддерживать, — и пусть только кто-нибудь посмеет не поддержать!

Корреспондент попал ей под горячую руку, разгневал Апу, — следовательно, он, Асам Пардаевич, должен принять меры, а потом поставить об этом хозяйку колхоза в известность, в противном случае она решит, что ее слово не уважили, и что-нибудь да выкинет недоброе, как говорится, «наденет халат наизнанку» — затаит злобу. Она из рук вожжи выпускать не любит, начатое доводит до конца. Если решит пожаловаться на него, Асама Пардаевича, в высшие инстанции, несомненно, там примут во внимание ее заслуги, — и в каком же положении тогда окажется он, секретарь райкома? Ведь сколько он сил положил, чтобы занять этот пост, старшего называл братом, младшего — братишкой, поднимал отстающий совхоз, осваивал новые земли, обводнял... Затем его назначили председателем райисполкома, через три года взяли в райком. Сейчас, похоже, есть хорошие шансы на работу областного масштаба... И вот из-за какого-то корреспондента все выстроенное, все достигнутое может пойти прахом. Да и что он такое, этот корреспондент, судьбу его можно решить одной

резолуцией. Вызвать редактора газеты, дать указание, а уж тот постарается найти изъян в поведении сотрудника — опоздание там или халатность, в общем, найдет к чему придраться, прибавит еще от себя, раздует дело — и выгонит с работы. Вот корреспондента и нет. М-да... И уволенный журналист затрепыхается, начнет писать в инстанции... Нет, действовать подобным образом — значит действовать неправильно, грубо. Гораздо умнее повернуть дело так, чтобы корреспондент сам пожалел о содеянном, сам убедился в неправильности своего поступка, более того, сам признался бы в этом — и был бы счастлив оказанным ему доверием. Только так можно его обезоружить, приручить. Все недовольства и обиды таких писак от скудной жизни, оттого, что у них маленькие оклады, живут на зарплату, не имеют власти, за работу получают мизерный гонорар — вот и все их доходы, поэтому видеть не могут тех, кто хорошо живет, завидуют, пытаются дать подножку, свалить и, если получается, ужасно гордятся и ищут другую жертву. Что нужно делать в подобной ситуации? Очень просто: нужно подбросить голодному кость — пусть грызет. Почувствовав ее вкус — превратится в верного пса, будет лаять по первому знаку на кого укажешь.

Асам Пардаевич прекрасно был осведомлен: в колхозе Апы уважаемым гостям демонстрировали не только двухэтажный детский садик с бассейном, но и другие сооружения, специально предназначенные для показа, например, новую школу, трехэтажный Дворец культуры, три-четыре полевых стана и даже специально оборудованные личные дома нескольких членов колхоза — с хорошей мебелью, кондиционерами и цветными телевизорами.

Дворец культуры открывали по случаю каких-либо торжеств или же к приезду иностранных гостей.

Полевые станы, как правило, стояли закрытыми; если их даже и открывали, то колхозники, пыльные после работы с головы до ног, стеснялись туда входить и отдыхали, как обычно, на стареньком паласе под навесом. В образцовых полевых станах висело в шкафах до десятка комплектов отглаженной и накрахмаленной одежды. Как только становилось известно о приезде гостей, заранее отобранных колхозников оповещали, а уж они хорошо знали свои обязанности: умывались, переодевались и, усевшись в мягкие кресла, попивали чай, читали газеты. По цветному телевизору шла дневная передача, кондиционер создавал приятную прохладу и ощущение комфорта, на низеньком

столике красовались выставленные для гостей фрукты, лепешки, шоколад.

Что же касается личных показательных домов, то владельцы их жили в старых, оставшихся от отцов помещениях, а в новые, выделенные для них дома они заходили для того только, чтобы полить цветы, подмести, обиходить двор — в общем, подготовить к приезду гостей. Колхозники и не хотели жить в этих новых домах, в непривычных условиях — с дорогой мебелью, посудой и хрусталем за стеклом; по отъезде гостей они закрывали немилые хоромы на ключ и шли в старое, привычное помещение, где чувствовали себя свободно, хозяевами.

Асам Пардаевич знал об этой практике, вошедшей в привычку, показухе. Мало того, он сам содействовал такому порядку вещей. Да и не приходила ему мысль что-либо изменить — указания относительно достойного приема гостей шли сверху. К тому же, рассуждал он, что получится, если открыть полевые станы, открыть, скажем, садик? Испачкают, затопчут ковры, мелюзга все перевернет в новом садике, порвет занавески, ломает игрушки — за неделю исчезнет былое великолепие. И что тогда показывать приезжающим? Ведь в каждом таком роскошном показательном помещении есть книга предложений, в которой посетители могут оставить — и оставляют — сердечные, полные восхищения строки об увиденном, выражают желание и надежду вновь посетить колхоз, район, республику.

Этот корреспондент — Асам Пардаевич глянул на листок с записью: да, Саттаров, — он увидел лишь детский сад — и то поднял шум. Интересно, что бы он сказал, доведись ему узнать и о других показательных объектах — наверное, всю страну постарался бы оповестить. Нет, необходимо сразу же его обезоружить. Бычок дальше кормушки не побежит.

Асам Пардаевич нажал кнопку селектора:

— Редактора газеты. Да... Нет, пусть лучше придет ко мне. К пяти часам.

7

Самад вернулся из колхоза «Илгор» с тяжелым сердцем, подавленный. Жалкий вид чумазых ребятишек, заброшенный двор, заменяющий детсад, заслоняли великолепие нового двухэтажного показательного помещения. А председательша, вместо того чтобы исправить явную,

вопиющую несправедливость по отношению к своим же колхозным детям, накричала на него и в конце концов просто выставила из кабинета: «Не мешайте работать, не отнимайте у меня времени, уходите...» Ничего себе своевластие! Да кто она такая — правительница, хозяйка? Он еще посмотрит, какая она хозяйка, правительница, он напишет куда следует, да так, что очковтирательница затрепыхается на виду у всех!

Он, Самад, это дело так не оставит, доведет до конца!

Однако Апа — человек известный, для борьбы с ней одной решительности и мужества мало. Если послать статью в республиканскую газету, они не посмеют выступить. Если послать в Москву, придет запрос в республику — можно ли такое печатать? И все равно проходить равнодушно мимо таких безобразий — нельзя. Если он не прочит Апу — не успокоится. Ведь оскорбила, ведь, по сути, выгнала!

Стоя под душем в собственном дворе, Самад мысленно продолжал спор, все не мог успокоиться, доказывал, убеждал — и в итоге побеждал всех своих врагов. А они, повергнутые, униженно молили о пощаде. Самад пытался избавиться от неприятных мыслей, отгонял их, однако они снова наплывали, затягивали в свой водоворот. Когда же Самад в воображении побеждал врагов, ему становилось легче, он как бы обретал утраченные силы, приходил в равновесие, и ему вновь хотелось наслаждаться жизнью.

— Вы что, уснули? — удивленно спросила Муяссар.

Самад открыл глаза, сел за столом поудобнее. Дурные навязчивые мысли рассеялись. Оказывается, занятый ими, он не заметил, как вышел из-под душа и сел обедать.

— Я, кажется, немного устал... — Он лениво поковырял ложкой в тарелке. — А где мать?

— Они с Надирой ушли на кладбище.

— А отец?

— Где-то, наверное, развлекается.

Эти слова жены и иронический тон не понравились Самаду. Узнав, что мать с дочуркой на кладбище, он уже собрался было позвать жену в спальню, но сейчас желание пропало.

— Придет, быстро переоденется и тут же убегает, словно за ним враги гонятся, — продолжала Муяссар. — С мамой не разговаривает. Разве можно мужчине быть таким обидчивым!

— Ничего... — сказал Самад, не поднимая головы.

— Полмешка хандаляшек притащил,— сказала Муяссар.— Может, принести, будете кушать?

— Нет... если только сама захочешь.

Муяссар промолчала.

— У тебя есть дело? — чуть нервничая, спросил Самад.

— А что? — заулыбалась Муяссар, по-своему истолковав вопрос мужа.

— Что ты все стоишь, сядь,— бросил Самад и, чтоб не обижать жену раздраженным тоном, добавил: — Отдохни.

Жена все же обиделась:

— Какое вам дело до того, что я стою! Ешьте, а не ковыряйте в тарелке.— Я старалась, а вы все в кашу превратили! Что случилось-то? Вас кто-то обидел, что ли? Все ли спокойно?

— Спокойно, да,— Самад улыбнулся, желая успокоить жену, однако, вспомнив о поездке, нахмурился.

— Я забыла вам сказать, приходил из райкома человек, вас искал.

— Из райкома? — удивился Самад. Его никогда прежде туда не вызывали. «Все-таки позвонила, пожаловалась,— подумал он.— Теперь начнется: расспросы, допросы. Потребуют написанную статью об «Илгоре». Постараются придать делу политическую окраску, придумают наказание. Но ведь Холбаев как-никак родственник, в стороне стоять не будет, вмешается...»

— Вам нужно пойти,— с беспокойством добавила Муяссар, видя испорченное настроение мужа.— Он поручил передать...

— А в чем дело, не сказал? — нервничая, перебил жену Самад.— Кто приходил-то?

— Не сказал, и я не спросила. Я этого человека иногда вижу за рулем «Волги». Может, шофер?

Самад посмотрел на часы — начало восьмого. «Пойти прямо сейчас? — размышлял он.— Они дотемна не расходятся, ждут сводку из колхозов и совхозов. Выслушаю обвинения, пойму, в чем дело, успокоюсь. А если ждать до завтра, может, и не усну. Рискнуть и пойти, а? Или там подумают, что я со страха прибежал?.. Но не пойти — скажут, цену себе набиваю. Что же делать? Может, сначала встретиться с Холбаевым? Посоветует, защитит — или нет? На годовщину Замиры из райкома приходили, когда памятник устанавливали, принимали участие... знают о родственных связях... Неужели заведут дело? Некрасиво получается. Почему Холбаев не предупредил меня?»

Или все до того плохо складывается, что и он не в силах помочь? Конечно, иначе вызвал бы меня, чтобы лишний раз показать свое внимание, великодушие — и влияние продемонстрировать, это он любит. Нет, пожалуй, тогда лучше с ним не встречаться — ему будет неловко, он попытается успокоить меня, а потом на меня же возложит всю вину за ссору в «Илгоре»...»

8

Хамдам сегодня снова пошел на кладбище. На дорожке к могиле Замиры увидел Сожиду-апа с внучкой, спрятался за куст, пропустил — его не заметили.

Сожиди-апа выглядела изнуренной, глаза опухли, покраснели от слез.

Бедная мать... Хамдам проводил взглядом ее сгорбленную фигурку. Какая веселая, милая женщина была — и как постарела за год. Горе раздавило. А ведь с него, с Хамдама, все началось — только сейчас цену своим поступкам понимать начал. Целый год мучений понадобилось, чтобы глаза приоткрылись.

Когда Сожида-апа с внучкой скрылись из виду, Хамдам подошел к могиле жены. Долго сидел на скамеечке, молча, не двигаясь, — напряженно думал о чем-то. Наконец, видимо, принял решение. Поднялся со скамеечки, опустился перед могилой жены на колени, прижался лицом к холодному граниту памятника. Потом, не оборачиваясь, ушел.

Когда Хамдам вернулся домой, мать, сидя у телевизора, пила чай.

Хамдам сел в плетеное кресло рядом:

— Где отец?

— В кабинете. — Мать испытующе глянула на сына: как он сегодня. — Говорит по телефону.

Хамдам помолчал, потом резко поднялся и вошел в кабинет — словно забыл что-то, а теперь вспомнил. «Деньги попросить хочет», — с облегчением решила Манзура-апа.

В кабинете Хамдам увидел, что отец стоя беседует с кем-то по телефону, и, не садясь, стал ждать окончания разговора.

— Да, тут можете быть абсолютно спокойным, Асам Пардаевич, — подытожил Холбаев. — Повторю то же, что и прежде: парень он скромный, воспитанный, смирный.

191

Видно, еще не вернулся, а то прибежал бы. Хорошо, пошлю человека, оповещу. Хорошо. До свидания.

Холбаев положил трубку, задумался на мгновение, соображая, затем обернулся, увидел сына:

— Тебе нужен телефон?

— Нет, мне нужно поговорить с вами, отец.

Увидев Хамдама, Холбаев решил, что сын в плохом настроении. Почувствовал неладное, однако скрыл это — принял нарочито бодрый вид, мол, к разговору всегда готов.

— Ну, присаживайся, — и сам опустился в кресло.

— Отец, зачем вы так делаете? — по-прежнему стоя в двери, решился спросить Хамдам, будто в холодную воду прыгнул.

— Не понимаю тебя, сынок.

— Я говорю о Замире... о ее смерти.

— До тебя только сейчас стало доходить, что ее нет? Ведь уже год прошел. Говорил тебе — нельзя столько пить.

— Сердце у Замиры было абсолютно здоровое.

— Разве? — деланно изумился Холбаев. — Отчего же она умерла? Может, от твоих скандалов?

— У Замиры сердце было абсолютно здоровое! — раздельно повторил Хамдам.

— Врачи, конечно, могли ошибиться, — не стал спорить Холбаев и поднялся, собираясь выйти из кабинета. — Что было, то минуло, сынок, теперь уж не вернешь. Не мучай себя ненужными сомнениями. Замиру этим не воскресишь. Даже если врачи ошиблись с диагнозом — что это меняет? Ну, не сердце, так что-нибудь другое. Может, она была психически больна, страдала припадками. Это врачи эпилепсией называют, страшная болезнь, протекает скрытно, дает о себе знать неожиданно... если есть кто рядом, могут оказать помощь, а нет никого — конец. Плохо, что в тот момент возле нее никого не оказалось, ты был пьян и спал, не почувствовал ничего... может, она тебя не успела разбудить или не смогла. Я много слышал о таких случаях, говорят, эпилептики даже не должны приближаться к воде: начнется вдруг припадок — и захлебнутся. Хоть и в ванной...

Холбаев говорил не останавливаясь, как по написанному читал, а сын с молчаливым изумлением наблюдал за вывертами отца. Ну и ловок!

— Хватит, сынок, достаточно, — Холбаев ласково положил руку на плечо сына. — Не трогай старую рану, не мучай себя и нас тоже. Посмотри на мать — тает на гла-

зах. Что было — то прошло. Теперь пора подумать о завтрашнем дне, сынок. Ты с честью, храня верность, держал траур по жене, прошло больше года, куда еще... — Холбаев говорил с нажимом и не останавливаясь, не давая сыну вставить хоть слово. — Мы тебя скоро женим, сынок. Неужели не завидуешь своим друзьям — у всех семьи, дети, дом полная чаша? До каких пор хочешь оставаться бобылем? Смотрим с матерью на тебя — душа ноет. Ведь и ты должен нас понять и пожалеть, сынок. И у нас, как у каждого, есть мечты и желания, мы тоже хотим увидеть внуков, хотим радоваться, глядя на тебя и твою семью.

— У Замиры сердце было абсолютно здоровое! — крикнул Хамдам — он видел, что отец не слышит, не хочет слышать его. — Она повесилась!

Холбаев, словно впервые узнав эту новость, замер с видом изумления:

— Повесилась?

— Да!

— Кто тебе сказал? Это клевета! — беспокоясь уже всерьез, спрашивал Холбаев. Неужели главврач проболтался? — От кого ты это слышал?

— Я видел сам, собственными глазами. В ванной комнате!

Холбаев, ошарашенный, несколько секунд не мог вымолвить слова.

— Это неправда! Ты не мог видеть!.. Да ты же был пьян и спал! Какой подлец это придумал? Подлец, завидующий нашей спокойной жизни, подлец, желающий сбить тебя с пути! Кто-то заронил в твое сердце сомнение, потому что хочет уничтожить нас, а ты, наивный, веришь в эту чушь! Сколько месяцев, поди, мучаешь себя подозрением! Разве можно так? Услышит мать такие разговоры — ведь сердце разорвется! Неужели ты такой жестокий, неужели у тебя не душа, а камень, сынок? Неужели?!

— Отец, — не вступая в дальнейшие объяснения, сказал Хамдам. — Я много думал. Во всем виноват я один. И если б я не заупрямился тогда, в самом начале, возможно, и не было б всего этого кошмара. Не погиб бы Равшан, Замира вышла бы замуж за любимого жениха, была бы сейчас жива, да и я плохо ли, хорошо, но прожил бы как-нибудь свою жизнь, подчинился судьбе и вам не принес бы столько горя. Да, во всем виноват я — и должен получить по заслугам. Я пойду в милицию и признаюсь, все расскажу.

— Ты?!

— Да, отец. Дальше я так жить не могу. Я с ума сойду! И так удивляюсь — как это до сих пор не свихнулся? Нет, лучше отсижу сколько дадут, зато начну жизнь сначала. Вот и все. Только я не пойду в местную милицию, она у вас в руках, меня там даже слушать не станут, я поеду в город, где вас не знают. А если люди будут вас спрашивать обо мне, скажите — сын служит в армии.

— Ну так и иди в армию! — Холбаев с облегчением перевел дух. — Послужи два года. Ты это хорошо придумал, Хамдам. За два года у тебя будет время поразмыслить, рана твоя заживет.

— Нет, отец. Армия -- это армия, а тюрьма — это тюрьма. Мне за мою вину перед Замирой полагается тюрьма.

— А я? Что будет со мной? Ты об этом подумал? Если начнут следствие, оно упрутся в смерть Равшана, и что нас ожидает?! И так уже ходили слухи, что авария подстроена, и именно в нашем районе. Из-за своего упрямства сколько людей погубишь, ты об этом хоть подумал? И у меня есть враги. Вот они и добьются, чтобы мы с тобой, отец и сын, сидели в одной камере! Сынок, послушай меня! Опомнись! Кто в наше время сам сдает себя в милицию? Это все надуманное, ты хоть когда-нибудь слышал о таком? Или, может, видел? Кому нужна ложная храбрость! Ну пойдешь, ну заявишь — скажут, что ты сумасшедший. Только на посмешище себя выставишь! Дело, которое ты затеял, — никакое не геройство, а обыкновенная дурость! Это пустое, сынок, жизнь устроена иначе. Есть интеллигентская болтовня насчет совести и чести и есть реальная жизнь. Одумайся, сынок, не будь неблагодарным перед своими родителями!

— Я и не собирался ничего говорить о Равшане, и при чем тут слухи! Скажу только о Замире. Скажу, что виноват — мучил ее, ревновал, бил, довел до самоубийства... во всем виноват я, я достоин наказания, тюрьмы...

— Эх, дитя ты еще, ребенок несмышленный, — опечаленно вздохнул Холбаев. — Ты думаешь, там дети сидят? Они же проверять начнут, откроют могилу, узнают причину смерти и выяснять станут — почему похоронили с таким диагнозом, кто был заинтересован... и дело упрутся в меня! Хочешь мать убить? Даже последний выродок не способен на такое злодеяние! Подлец! — Холбаев, сдерживая крик, яростно шипел: — Хулиган! И это сейчас-то, когда мои желания вот-вот исполнятся, когда мою кандидатуру пред-

ставили в райком?! Прокляну! Помни: если не образумишься, участь Равшана тебя ждет! Сам прикажу!

Хамдам ожидал от отца всего, но не этого. Он забыл, что и сам год назад, пьяный, похвальнолся в злобе перед бедной Замирой тем, что организовал аварию, брал грех на душу. И сейчас сам, как Замира год назад, вдруг поверил словам отца о подстроеной аварии.

Он побелел:

— Меня?..

— Да, тебя!

— Ради карьеры... собственного сына?

— Ты сам все затеял, сам!

Хамдам заплакал, беспомощно, по-детски.

— Сынок, дорогой... — Холбаев обнял его, расцеловал, сердце его переполнилось нежностью, и он тоже заплакал: — Ну зачем ты так со мной! Доконал совсем отца! Только уж матери ничего не говори. Закрытый казан пусть остается закрытым. Такое время, сынок... Если не будешь шагать в ногу со временем, оно выбросит тебя за борт, никого оно не жалеет, сынок, время, — помни об этом всегда.

9

Разговаривая с Хамдамом, Холбаев понял, что сын сделался неуправляемым и он, отец, не может контролировать его поступки. Ближайшие часы, дни, недели могли решить многое, если не все. Сейчас главное — удержать, любыми средствами удержать Хамдама от безумных, непредвиденных шагов, от жалоб и разговоров... слово-то не воробей... А потом, когда его, Холбаева, утвердят в новой должности, потом разговор пойдет другой. И с Хамдамом, и с любым другим, кто решит спросить с него за тот врачебный диагноз... Но сейчас прежде всего Хамдам не должен выходить из дома.

После разговора с сыном Холбаев постелил себе во дворе, спустил воздух в камерах семейной «Волги», ключи от машины спрятал у себя. До самого утра ворочался, вздрагивал от каждого шороха. Поднялся с больной головой.

— Закрой ворота, — сказал он жене, собираясь на работу. — Сына из дома ни под каким видом не выпускай, следи...

— Почему, что случилось? — спросила с беспокойством жена, ничего не зная о происшедшем и опасениях мужа.

— Он, боюсь, потерял рассудок.

— Не может быть! — Манзура-апа схватилась за воротник. — Это что такое вы говорите, почему он должен с ума сойти?! Нормальный он, я же вижу! Ну, стал неразговорчивым — так это от переживаний.

— От переживаний или от чего другого — это мы потом решим, — перебил жену Холбаев. — Сейчас слушай меня. Сын дурно ведет себя, способен на неожиданные поступки. Если станет упрямым, захочет уйти — звони мне, тут же приеду... — Почувствовал что-то за спиной, оглянулся: прислонясь к дверному косяку, на крыльчке стоял Хамдам, глядел странно.

— Ты слышал? — спросил Холбаев у сына.

— Слышал, — ответил Хамдам внешне спокойно, мирно. — Можете не бояться, отец... — он запнулся, потом добавил: — Я из дома не выйду... — Видно было, хотел сказать еще что-то, но не стал... ах, если бы Холбаев знал это, знал, что задумал и не сказал сын!

— Сынок! — Холбаев шагнул к Хамдаму. — Умоляю, не губи отца, не разоряй семью! Если ты выйдешь на улицу, я места себе не найду, изведусь — поверь! Ты устал, Хамдам, тебе нужно отдохнуть. Выспись, искупайся в бассейне... не думай о ненужном, сынок, не мучай себя. Если хочешь, я докторов пришлю, пусть посмотрят тебя.

Хамдам в ответ на слова о докторах лишь криво усмехнулся.

Холбаев, взглянув на жену, продолжал уже по-русски, считая, что та не поймет:

— У тебя сейчас кризис, сынок, понимаешь? Это пройдет. Сейчас ты будто одержимый, маньяк. Тебе надо выспаться, отдохнуть, прийти в себя — и меньше думать о том деле, понял?

Хамдам кивнул.

— Молодец, — продолжал Холбаев. — Ну, теперь я могу идти в исполком? Могу я на работе быть спокойным?

— Конечно, отец, — Хамдам не скрывал иронии. — Раз посадили меня под домашний арест, да еще маму приставили сторожить, можете не волноваться больше.

— Я вам не сторож, — встала Манзура-апа, обиженная тем, что от нее держат в секрете какие-то вещи, явно касающиеся благополучия семьи. — Сами сторожите! Можно подумать, ваш сын прислушается к моему слову! Да он уже взрослый, куда захочет, туда и пойдет, никого не спрашивая, — Манзура-апа в раздражении передвигала посуду на столе. — Вообще что происходит в доме? Что за

тайны? Почему скрываете от меня? Ведь я мать! Или я вам служанка, или я вам дурочка? Почему меня не считаете за человека? Вечно вы так!.. А сын ваш дуется, будто это я его жену убила! Измучили вы меня... — и Манзура-апа заплакала.

— Тихо, люди услышат! — прикрикнул Холбаев. — Только тебя еще тут не доставало!

— Тогда хоть ты скажи, сынок, — сквозь слезы умоляла Манзура-апа, — должна же я знать, что творится в доме!

Хамдам, резко повернувшись, ушел в комнату.

Манзура-апа беззвучно плакала.

Холбаев поднял трубку вынесенного во двор телефонного аппарата, накрутил номер:

— Алло, — сказал он, сдерживая раздражение. — Холбаев говорит. Багимов на месте? Когда придет? Какой телефон дома?

Перезвонил:

— Хуррам Багимович? Приветствую вас. Холбаев. Добро... А теперь слушайте меня. Немедленно пошлите ко мне домой кого-нибудь из своих людей... Потом скажу... Нет, ничего серьезного, скорее как предупредительная мера. Да, пусть подойдет сейчас, я сам объясню, что делать. Жду. — Положив трубку, Холбаев обернулся и увидел стоявшего на крыльце сына. В первую секунду он опешил, но тут же решил, что, может, ясность и к лучшему. Потом сообразил, что своими действиями заставит сына презирать себя, пожалел о сделанном, но менять что-либо было уже поздно. С видом уверенного в себе хозяина он удалился в комнату — одеться к выходу.

Манзура-апа, глядя в землю, все всхлипывала, платком вытирала глаза.

Холбаев появился уже при галстукке и в шляпе. Налил из чайника в пиалу, отхлебнул, со стуком опустил пиалу на стол. Заметно нервничал.

— Отец, не лучше ли просто посадить меня в тюрьму? — сказал, не трогаясь с места, Хамдам. — Все же вам спокойнее будет.

— Понадобится — и посажу! — ответил Холбаев твердо.

— Что ж вы меня удержали, когда я сам туда хотел пойти?

— Потому что это две разные вещи: ты сам пойдешь или я тебя сдам.

— Ой, — запрочитала Манзура-апа. — Какая тюрьма?

Почему? Те, кого вы вызвали, заберут сейчас нашего мальчика? Вы что, одурели, отец? Своими руками хотите посадить собственного ребенка?

— Перестань горланить на всю округу! Сама же отказалась сторожить его!

У ворот позвонили. Холбаев открыл — увидел немолодого человека в милицейской форме. Тот прижал руку к сердцу, уважительно поздоровался. Холбаев ответил на приветствие, ввел милиционера во двор и прямо у ворот стал ему что-то объяснять. Тот слушал и растерянно поглядывал то на Холбаева, то на стоявшего в одних трусах в дверях дома Хамдама.

— Зачем, товарищ Холбаев?..— ничего не понимая, спросил наконец милиционер.— Ведь это ваш сын!

— Делайте то, что вам говорят! — распорядился Холбаев громко, так, чтобы сын и жена слышали его.— Остальное не ваше дело. Идемте.— Взяв человека за рукав форменного кителя, потянул его во двор; тот нехотя, словно идя на постыдное, поплелся за хозяином.— Вот стул. Или, если хотите, вот плетеное кресло. Вот чай. Будете сидеть здесь — это все, что от вас требуется.

— Я собаку спущу! — закричал оскорбленный Хамдам.

— Я собак боюсь, Холбаев-ака,— сообщил милиционер и попятился.— Один раз покусали, с тех пор сердце в пятках.— Он умоляюще посмотрел на Холбаева: — Прощу, позвоните в отдел, пусть пришлют кого другого. Я тут не подхожу. У меня дети, да и стар я уже... Пусть, скажите, помоложе пришлют.

— Оружие есть? — прикрикнул Холбаев.

— Пистолет,— доложил человек.— Сейчас выдали.

— Заряжен?

— Не знаю.

— Посмотрите.

Милиционер дрожащей рукой дергал кобуру и все никак не мог открыть. Хамдам смотрел с интересом, криво улыбаясь. Наконец милиционер достал пистолет и, взяв за ствол, протянул Холбаеву.

Тот отступил на шаг, спросил раздраженно:

— Для чего он мне? Сами посмотрите.

Милиционер посмотрел:

— Заряжен.

— Если спустят собаку — стреляйте. Я отвечаю.— Отдав еще какие-то распоряжения, Холбаев вышел со двора.

Хамдам, уязвленный, униженный, отвернулся, ударил кулаком о стену.

Пожилой милиционер смотрел на него с жалостью и не спешил сердиться.

— Ой, сынок, что же ты наделал?

Манзура-апа всхлипнула и бросилась к сыну. Тот молча ушел в дом, захлопнул дверь.

— Хамдам, любимый сынок, пожалей мать, почему так поступаешь, почему закрылся? — причитала Манзура-апа. — Скажи, что у тебя на сердце? Какая печаль? Если полюбил девушку, скажи, что-нибудь придумаем... Твой отец все может! Из «нет» сделает «да»! Скажи, которая свела тебя с ума? Здесь, в городе, живет? Мы ее знаем? Если у нее муж — разведем, только скажи, сыночек...

Дверь с треском отворилась.

Глаза Хамдама горели от ярости.

— И вы — вы тоже как он!

Дверь захлопнулась.

Манзура-апа присела на крылечке, вытирая слезы.

Один милиционер был доволен, что Хамдам закрылся: ясно было, что собаку он спускать не собирается.

— Ну и что, так и будете торчать тут? — не зная, на чем сорвать зло, хозяйка кричала теперь на ни в чем не повинного милиционера. — Может, чтоб вам не скучно было, я еще и развлекать вас должна?!

Милиционер чувствовал себя незванным гостем.

— Было распоряжение, — сказал он наконец. — Я разве сам напросился? Могу уйти, скажу, что выгнали со двора.

— Ну и прекрасно! — отмахнулась Манзура-апа. — Скажите, что выгнали.

Милиционер помедлил немного, потом, прижав руку к груди, поблагодарил хозяйку:

— Спасибо вам! — и попятился к воротам. — Спасибо!

Он с облегчением выскользнул на улицу.

Манзура-апа поднялась с крылечка, пригладила растрепавшиеся волосы, подошла к воротам, выглянула — милиционера уже и след простыл. Заперла ворота, повернулась к дому — и в эту минуту там, внутри, ударил выстрел.

Что же теперь делать? Как ему защищаться? И в чем будет его обвинять? Может быть, повиниться, раскаяться?

Сомнения одолевали Самада. Спал он плохо, ворочался. Под утро приснилось бескрайнее море, и он будто бы плывет по нему на топчане, берегов не видно, топчан норovit уйти под воду. Самад пытается позвать на помощь, но голоса нет...

— Как вы стонали...— сказала жена сквозь дрему.— Сон плохой увидели?

— Есть холодный чай? — хрипло спросил Самад, в горле пересохло.

— В холодильнике.

Самад босиком вышел на веранду, напился. Сердце стало биться спокойнее. Постояв немного на прохладном ночном воздухе, вернулся в дом. Обнял горячие плечи жены. После страшного сна пришло наконец чувство покоя.

Когда он проснулся, уже наступил день, жены рядом не было. Глянул на часы — десять. Испугался. Поскорее умылся, побрился, оделся, повязал галстук и, не завтракая, поспешил на улицу.

Секретарша кивнула, и Самад открыл дверь в кабинет. Сердце стучало лихорадочно.

Асам Пардаевич некоторое время смотрел на него, словно припоминая, где видел, затем улыбнулся.

— Заходите...— он опустил взгляд к бумаге на столе.— Заходите, Самад Джалалович.

Сбоку у стола сидел еще один человек — в очках, в руках держал папку.

Самад поспешил к поднявшемуся из кресла хозяину кабинета, пожал протянутую руку.

— Как ваше здоровье? — испытующе глядя на него, поинтересовался секретарь.

— Спасибо, Асам Пардаевич.

— Садитесь, пожалуйста, мы сейчас...— секретарь указал на стул, а сам продолжал прерванный разговор с человеком в очках.

Самад послушно опустился на один из стульев у стены, положил руки на колени, как ученик, стал ждать.

Входя в кабинет, он представлял, что сейчас на него будут кричать, топтать ногами,— вежливый прием был неожиданностью. Страх проходил, хотя Самад не верил вежливым словам и понимал, что главный разговор впереди. Мягко стелют, да жестко спать, решил он.

Асам Пардаевич дал какие-то поручения человеку в очках, и тот, собрав свои бумаги, вышел из кабинета.

— Садитесь поближе, Самад Джалалович,— улыбаясь, пригласил секретарь.

Самад без промедления пересел поближе.

— Ну, как дела?

— Спасибо, Асам Пардаевич, неплохо,— Самад старался отвечать спокойно, не показать своей неуверенности.— Вы приглашали, оказывается. Извините, ездил с поручением редакции в «Илгор», вернулся поздно вечером.

— Да, кстати об «Илгоре». Вы их... как бы это сказать... дали им жару, а?

— Асам Пардаевич...— начал было защищаться Самад, но секретарь не дослушал его:

— И правильно сделали! Без недостатков хозяйства не бывает. И вот такая молодежь, как вы, должна помочь нам в искоренении всех и всяческих упущений! — голос Асама Пардаевича был тверд.— Такие принципиальные люди, как вы,— наша надежда. Вы, наверное, уже что-нибудь написали?

«Начинается»,— понял Самад.

— Можно посмотреть?

— Оформленного на бумаге еще ничего нет, так, наброски в блокноте.

— Когда сделаете, покажите.

— Хорошо.

— Вот что, Самад Джалалович...— Секретарь помедлил, еще раз оценивающе оглядел молодого человека.— Мы вас побеспокоили, потому что у нас родилась одна идея. Мы посоветовались с товарищами и решили... (Сердце Самада сжалось.) М-да, решили... Такие кадры, как вы, современные, грамотные, знающие свое дело, если хотите — патриоты, нам нужны. Беседовал с редактором газеты товарищем Мирвалиевым, он вас охарактеризовал положительно. Товарищ Холбаев знает вас близко, он тоже поддержал нас. В общем, если вы не против, Самад Джалалович, у нас к вам есть предложение. Как вы на это смотрите?

— А именно?

— А именно — переходите на работу к нам. Поработайте в аппарате райкома. Поможете нам. Что вы на это скажете, Самад Джалалович?

— В райком? — не поверил Самад.

— Да. Мы одного нашего работника послали учиться. Хотим вас взять инструктором. Должность, конечно, не высокая, однако все зависит от вас: будете хорошо работать, не побоитесь трудностей, возможно, в будущем

и поважнее дела будете исполнять. Обретете опыт. Ну, что вы скажете на это предложение, Самад Джалалович?

— Что я могу сказать? — радость захлестнула Самада. — Если вы сочли меня подходящим для такой работы, я вам очень признателен. Сил не пожалею. Работая под вашим руководством, с помощью товарищей, я оправдаю, обязательно оправдаю ваше доверие, Асам Пардаевич! Спасибо вам!

— Хорошо, — подытожил Асам Пардаевич и протянул Самаду руку. — Будем считать, что договорились.

Самад, пожимая руку секретаря, даже привстал от волнения.

— Мы вас будем рекомендовать на бюро, — продолжал Асам Пардаевич. — Я думаю, вас утвердят. Желаю успехов.

— Спасибо, Асам Пардаевич, спасибо, — говорил Самад, вставая и пятясь к выходу. — До свидания.

— Да, кстати... — словно бы вспомнил секретарь. (Сердце Самада опустилось. «Сейчас главное и скажет», — понял он и остановился в замешательстве.) — Что вы собираетесь делать после завершения статьи об «Илгоре»?

— Статьи? Если вы скажете, Асам Пардаевич, пиши, — хорошо, я напишу, но если это не обязательно, то она так в блокноте и останется.

— Молодец, — одобрил секретарь, приятно удивленный чуткостью нового сотрудника. — Правильно мыслите, братишка. Если и есть какие-то недостатки, мы их можем устранить своими силами. И чего мы добьемся, если о своих упущениях станем трубить на всю республику? Сейчас, Самад Джалалович, ответственная пора — раскрытие хлопка. До перехода к нам на работу напишите статью об этом. А то, когда перейдете сюда, станет уже неудобно. И пусть это будет такая статья, которая подняла бы настроение трудящихся, подняла бы тонус... В общем, вы сами знаете, как это сделать. И Апа будет рада.

— Я понял, Асам Пардаевич, — с готовностью ответил Самад. — Будет статья! Еще раз поеду туда. Быстро закончу и пошлю в центр. Такой материал быстро пройдет.

— Ну вот это другое дело! Желаю успехов.

Самад не помнил, как вышел на улицу, — ему казалось, что он взлетает на вершину горы. «Какой образованный, тонкий, умный человек! — думал он с восторгом. — И какой скромный! Смог бы я, интересно, вести себя так же в его должности? Нет, конечно. Мы погрязли в мелочах, вытаскиваем на свет божий незначительное, не умеем

мыслить широко, видеть важное, главное, определяющее. Вот у кого надо учиться кругозору!»

Он шел и не чувствовал под собой ног, готов был кричать от радости, обнимать и целовать каждого встречного. «И я, дурак, не доверял такому человеку! Погряз в глупых сомнениях, переживаниях. Стыдно! Стыдно! Стыдно! Такие люди, как Асам Пардаевич, чуткие и вместе с тем деловые, работают и мыслят в масштабах района, области, республики, трудятся на благо народа, а мелкие, кляузные, вроде меня, не умея понять величие задач и объемом решаемых проблем, ищут грязь и выставляют ее напоказ. И если мы будем поддерживать подобные настроения, это в итоге обернется политической неграмотностью. Нет, возьмусь за работу — жизни не пожалею!»

Проходя мимо трехэтажного здания райисполкома, Самад подумал о Холбаеве. Асам Пардаевич упомянул о его поддержке. И Мирвалиев, редактор газеты, поддержал перед секретарем его, Самада, кандидатуру. Это можно считать естественным: если сам руководитель района приглашает на работу сотрудника газеты — это честь для коллектива и для начальника: значит, смогли вырастить, воспитать... возражений тут и не могло быть. Мирвалиев давно обратил внимание на Самада, еще когда тот был учителем. Не будь Мирвалиева, Самад, наверное, и сейчас еще проверял бы диктанты. Так что, если он, Самад, будет продвигаться по служебной лестнице, Мирвалиев вправе рассчитывать на его особое внимание.

Надо бы зайти, поблагодарить Мирвалиева, но прежде всего необходимо встретиться с Холбаевым — он основной исполнитель, от него и зависело, куда повернется дело. Он не только сумел уберечь его, Самада, от неприятностей, а даже рекомендовал на ответственную должность, безусловно, повлиял на решение Асама Пардаевича. Почему же он не предупредил Самада? А ведь знал, без сомнения, все знал заранее. Рассудительный, выдержанный человек. Надо зайти, обрадовать его; узнав, что запланированное им благополучно завершилось, он, конечно, поздравит его, Самада, и подскажет правильные пути, удержит от ошибок. Опытный, много повидавший человек... надо прислушиваться к его советам, это не повредит. А как он годовщину Замиры организовал, а памятник какой поставил! Такого надгробия, пожалуй, и в области нет. Интересно, где он нашел этого талантливого скульптора, который сумел оживить мрамор, создал произведение искусства — без всяких скидок. Даже обычная полуулыбка Замиры —

и та получилась. Да, мудрый человек Холбаев, проницательный. И щедрый — столько истратил, а с них ни копейки не взял, все расходы оплатил сам. И теперь еще его, Самада, поддерживает. Прекрасный, достойный всяческого уважения человек!

Уверенно проскакивая ступеньки райисполкомовской лестницы, Самад поднялся на второй этаж. Кабинет Холбаева, просторный и светлый, ничем не уступал кабинету Асама Пардаевича: хрустальные люстры, богатая лепка, дорогие ковры и занавеси, необъятный стол, телевизор, финская мебель, японский кондиционер.

Увидев Самада, Холбаев положил телефонную трубку, поднялся навстречу, постарался улыбнуться.

Уселся за маленький столик, в удобные кресла, обменялись традиционными неторопливыми приветствиями.

— Ну, какие новости? — наконец спросил Холбаев, испытующе глядя на Самада.

— Я сейчас из райкома, Асам Пардаевич вызывал.

— Знаю, — подтвердил Холбаев. — Я вас ждал.

— Асам Пардаевич сказал о вашей рекомендации.

— Неужели? — довольно улыбнулся Холбаев. — Мы посоветовались. Вы, оказывается, ездили в «Илгор» и вроде бы поскандалили там. Сначала он расстроился, потом понял положение. И вот теперь... можно вас поздравить.

— Спасибо... — скромно ответил Самад. — Я хотел...

— Извините, — перебил Холбаев, потянулся, взял с рабочего стола телефонную трубку. — Да, я... — И тут Самад увидел, как мгновенно отлила краска от его лица — оно сделалось восковым. — Что?! Выстрел?! Да не плачь, говори толком! Когда? Вызвала «скорую»? Дверь закрыта? Я сейчас приеду!

Бросив Самаду несвязные, растерянные слова, извиняясь, Холбаев выбежал из кабинета.

Самад так и остался на месте, оглушенный услышанным. «Выстрел... «скорая»... Боже мой!»

11

— Что случилось? Что? — в паническом страхе спрашивал Холбаев. — Где Хамдам?

Манзура-апа металась из угла в угол, заламывала руки. Увидев мужа, заплакала, села на пол, стала бить себя по коленям.

— Хватит! — с трудом переводя дыхание после спешки, прикрикнул Холбаев. — Что произошло? Говори!

— Не знаю...— раскачиваясь, завывала жена.— Ружье выстрелило. Комната заперта, он закрылся изнутри. Ох, лучше бы я умерла!

Холбаев подскочил, изо всех сил потянул за ручку, выдернул ее, но дверь так и не открыл. Заглянул в окно, выходившее на террасу, но сквозь занавеску ничего не разобрать было. Он постучал по раме:

— Хамдам!

Ответа не последовало. Обернулся к жене:

— Где милиционер?

— Ушел. Я его выгнала.

— Выстрел он слышал?

— Нет, ушел раньше.

Холбаев кивнул, что означало: «Очень хорошо».

— Встань с пола,— хрипло приказал жене, сам побежал во двор, под навес, вернулся с топором.

Ударил по двери раз, другой. Мозг лихорадочно оценивал ситуацию. Если Хамдам что-то сделал с собой, значит, не сможет пойти с жалобой, с раскаянием. Закрытый казан останется закрытым. Однако как в случае чего объяснить смерть сына? Если застрелился — это отрицательно повлияет на его, Холбаева, служебное положение, а уж о дальнейшей карьере и не мечтай. Замиру похоронили с диагнозом болезни сердца, но как быть с Хамдамом?

В этот миг Холбаев уже смог просунуть руку в пропущенную дверь, повернул ключ. Ворвался в комнату — и остановился.

Хамдам в одних трусах лежал на ковре в луже крови.

Холбаев бросился к сыну, перевернул его лицом вверх — увидел открытые, безжизненно застывшие глаза. Тело было еще теплым.

В дверь вошла жена и, охнув, свалилась без сознания.

— Хамдам! — кричал Холбаев, сжимая плечи сына. Зарыдал, с яростью бил кулаками об пол. Затем схватил за ремень ружье, из которого застрелился сын, выбежал с ним во двор и изо всей силы ударил о дерево. Ружье переломилось. Холбаев выбросил его в уборную.

Это было уже как бы осмысленное действие, и он начал соображать. От истерик пользы не жди, надо что-то придумать. Вернулся к телефону, набрал номер. Выпачканное в крови ухо коснулось трубки.

— Алло! Главврача, срочно! Холбаев говорит. Бутаев? Быстро ко мне, на машине приезжайте. Жена потеряла сознание. Лежит, не знаю, что делать. Воды? Хорошо.

Приезжайте срочно.— Холбаев положил трубку, взял пиа-лушку и направился к крану. Тут он увидел Самада, стоявшего у ворот.

— Что случилось? — Самад испуганно глядел на окровавленные щеку и ухо Холбаева.

— Ничего не случилось...— изменившимся голосом ответил Холбаев.— Идите сейчас, Самадджан. Особые обстоятельства. Я вам потом все расскажу. Потом.— Взяв Самада за локоть, Холбаев вывел его на улицу.

— Может, я могу как-то помочь вам?..— растерянно спросил Самад.

— Нет, нет, Самадджан. Не беспокойтесь. До свидания.— Он закрыл за Самадом ворота.

Самад, оказавшись на улице, постоял некоторое время, не зная, что делать, потом пошел к себе в редакцию.

Редактор газеты Мирвалиев, шестидесятилетний человек с приплюснутым черепом и большими ушами, увидев Самада, заулыбался, пошел навстречу. Последовал обычный традиционный обмен приветствиями. Мирвалиев налил Самаду пиалу зеленого чая.

Оба собеседника смотрели друг на друга с удовольствием.

Самад пришел поблагодарить, а Мирвалиев ждал слов благодарности, ибо это означало в его понимании, что Самад будет чувствовать себя должником и в дальнейшем станет относиться к нему соответственно... если, кто знает, Самад займет хорошую должность — сможет поддерживать его, Мирвалиева. Если повезет, знал Мирвалиев, такие, как Самад, поднимаются быстро, за четыре-пять лет.

— Приятное вышло дело, я рад,— говорил Мирвалиев и внимательно щурил маленькие глазки.

— Спасибо, Асрор Хамидович,— скромно улыбался Самад.— Поддержали вы меня, смогу ли я оправдать ваше доверие?

— Сможете, Самадджан, я в это верю,— Мирвалиев гордился сейчас и Самадом, и собой.— Теперь судьба нашего района в ваших руках. Вы молодой, энергичный, образованный, политически грамотный человек. Асам Пардаевич спрашивал о вас, вы с ним виделись?

— Да, Асрор Хамидович. Не ожидал такого, признаться. Немного боюсь. Опыта нет. Справлюсь ли?

— Не бойтесь, Самадджан,— Мирвалиев особенно чувствовал сейчас цену себе и своим советам.— Обяза-

тельно справитесь. Вы смысленный парень. Если чего и не будете сначала знать, подскажут, на произвол судьбы не бросят. Приступайте смело. Желаю удачи, Самад. Вообще-то, я знаю, сначала хотели на это место взять кого-то из комсомола, оказалось, что уж очень молод. Остановились на вас.

— Да... Сотрудника, работавшего прежде на этой должности, отправили учиться. Как вы думаете, Асрор Хамидович, когда он вернется, мне придется освободить место?

— Ему дадут пост повыше, — сказал Мирвалиев уверенно. — Что касается сути вашего вопроса... вы теперь номенклатура обкома, их кадр. Даже если перейдете на другую работу, то уже не простым сотрудником. Самое малое — доверят просвещение... или же мое место.

— Не надо так говорить, — смутился Самад; место редактора газеты вовсе уже не казалось ему заманчивым.

Зазвонил внутренний телефон, и Мирвалиев с неохотой оторвался от столь приятной беседы.

— Да, — сказал он недовольно, но, услышав первые же слова, переменялся в лице, привстал. — Ах вот как? Сейчас подойду. — Положил трубку, уже на ходу сказал Самаду: — Я сейчас, Самадджан, посидите немного.

— Конечно, пожалуйста, — ответил Самад, глядя вслед редактору. Он не пошел утром в еще свой, а теперь уже бывший свой кабинет, — теперь он чувствовал себя здесь гостем.

Через несколько минут в комнату вернулся растерянный Мирвалиев.

— Вы уже слышали, Самадджан? — спросил он от двери. — Ведь вы же родственники.

— Что? — испуганно спросил Самад — он сердцем предчувствовал плохое известие.

— Холбаев... потерял сына.

— Что?! — Самад испуганно поднялся. Он тотчас вспомнил разговор Холбаева по телефону, его странный вид, окровавленную щеку. — Что случилось?

— В отделе сказали... — Мирвалиев был растерян, расстроен. — Не знаю, может, это еще и неправда... Говорят, все от еды случилось. Будто он дыню съел с участка, сильно удобренного селитрой, и отравился — врачи не могли спасти.

«Отравился? — не мог поверить Самад. — Тогда почему щека Холбаева была в крови? Почему поспешил выпроводить меня?..»

Зазвонил телефон. Мирвалиев схватил трубку:

— Слушаю, Мирвалиев. Неужели? Ой-ой-ой... Горе-то какое! — прикрыв мембрану рукой, повернулся к Самаду, сказал шепотом: — Из райкома.— И, убрав руку, продолжал в трубку: — Похороны вечером? Так быстро? Да... Да... Понимаю. Конечно, пойдем. Все пойдут. Хорошо.— Положил трубку, посмотрел на Самада.— Единственный сын...

— Мне надо спешить. Извините,— и Самад торопливо вышел из кабинета.

12

Не прошло и месяца с похорон Хамдама, и Холбаев стал замечать в доме странные вещи. Однажды, возвратившись с работы, увидел, как жена, заткнув за пояс шаровар подол платья, босоногая, ведрами носила воду и выливала на улицу.

— Ты что это делаешь? — удивился Холбаев, входя во двор.— Кто тебе сказал, чтобы ты улицу поливала?

— Сил у меня через край! — засмеялась жена.

— Ну так и поливай тогда двор,— Холбаев сам поправил, обдернул подол жены.— Посмотри, все здесь высохло.

— Двор не хочу поливать, пусть все засохнет,— осклилась жена и снова заткнула подол за пояс.

— Стыдно, перестань,— увещевал Холбаев, беря из рук жены ведро с водой.— Твое ли это дело?! Если хочешь, я распоряжусь, пришлют машину, она все кругом польет. Посмотри на себя: подол задран, босая,— что люди скажут?

Манзура-апа долго смотрела на мужа, словно не узнавая, потом тяжело вздохнула, откинула подол и пошла в сторону кухни.

Через несколько дней Холбаев проснулся ночью как от толчка. В окно глядела полная луна, в соседней комнате кто-то напевал и притоптывал об пол.

Холбаев огляделся: жены в постели не было.

Пение сменилось негромким хныканьем.

Холбаев поднялся, осторожно приоткрыл дверь, выглянул — и опешил: жена при свете луны напевала и приплясывала. Зрелище не столько напугало, сколько встревожило его. «Что за злая доля! Ведь она помешалась. Этого еще не хватало на мою голову!» Он тихо вернулся в постель, а из-за двери продолжали доноситься нагоняющие тоску пение и притоптывание.

Холбаев подождал, обдумывая, что же делать, потом не выдержал.

— Манзура! — позвал он негромко, но жена то ли не услышала, то ли не пожелала отозваться. — Манзура! — закричал Холбаев.

— Что? — раздался пустой, без интонации, мертвый голос жены, — мурашки побежали у него по спине.

— Что ты там делаешь?

— Танцую.

Холбаев вышел к ней.

— Сейчас не время для танцев, — мягко убеждал он. — Ложись, а завтра, если захочешь, танцуй хоть до упаду. Ну-ну, иди же...

Жена повиновалась.

Этот случай серьезно обеспокоил Холбаева — он не знал, что делать.

Однако через день он решился — после того как жена сказала вдруг людям, пришедшим с соболезнованиями:

— Хамдам не стрелял в себя.

Собравшиеся в это время садились за стол, лишь двое-трое услышали слова Манзуры-апа и удивленно переглянулись. Но Холбаев понял: жена представляет теперь опасность для него.

Назавтра он вызвал к себе в кабинет начальника райздравотдела, недавно назначенного, — того самого Бутаева, бывшего главврача больницы, что подписал врачебное заключение о смерти Замиры от сердечного приступа и Хамдама — от пищевого отравления. Рассказал ему о тревожном, даже страшном поведении жены. Под конец спросил:

— Ее не опасно оставлять одну в доме?

— Опасно, — ответил Бутаев. — Ее придется изолировать.

— Изолировать? — заволновался Холбаев. — А что я людям скажу?

— Скажите, что жена больна, — это ведь действительно так. Бог посылает каждому свое: кому туберкулез, кому перелом, кому помутнение рассудка — все это обычные болезни.

— Сколько же она должна пробыть в больнице? Можно ее вылечить?

— Сейчас трудно сказать определенно. Если болезнь не запущена, можно надеяться. От этого зависит и срок лечения.

— Она ведь может, пока одна в доме, сболтнуть кому-нибудь, что Хамдам застрелился.

— Тем более ее надо в изолятор.

— И когда, как вы считаете?

— Чем скорее, тем лучше. Отправим ее в областной центр, там ее никто не знает. Специалисты есть хорошие. Я позвоню и договорюсь, чтобы приготовили место. Сразу повезем и положим.

— Хорошо, сделаем так, как вы говорите.— Холбаев передохнул с облегчением.— Выход из положения найден. Теперь, Закир Бутаевич, поручаю вам это дело, от вас у меня секретов нет.

— Можете быть спокойны.

Через два дня рано утром врачебная машина увезла Манзуру-апа в областную больницу.

Прошло две недели. За это время Холбаев ни разу не навестил жену. Он считал себя лицом достаточно известным и не хотел, чтобы кто-нибудь видел его в той больнице, где лечилась жена,— пойдут ненужные расспросы, разговоры. По нему — так пусть она там и остается как можно дольше, хоть навсегда. Зачем ему, Холбаеву, больная, полупомешанная жена? Да еще в такое ответственное время, когда ясно стало, что Асама Пардаевича забирают в область и освобождается место, которого он, Холбаев, столько ждал. И действительно, разве найдется более подходящая кандидатура, чем он? К тому же на голову его свалилось в последнее время столько горя — должны же теперь его пожалеть.

Да, немало пришлось ему, Холбаеву, испытать, вынести — и все ради заветного освобождающегося места! Пришлось скрыть самоубийство Замиры и сына, все организовать так, чтобы комар носа не подточил,— один он знает, сколько сил и нервной энергии это стоило. Похороны и поминки по Хамдаму прошли, как он хотел,— было множество людей, и все до одного сочувствовали бедному отцу. Теперь это сочувствие должно лишней гирькой упасть на весы, на чашу его успеха.

Сидя в плетеном кресле у себя во дворе, возле телефона, Холбаев внимательно читал большую статью Самада, опубликованную в республиканской газете. Статья рассказывала об успехах колхоза «Илгор» и о его председателе. Читая, он время от времени поглядывал на телефон — сегодня он ждал вестей о своем новом назначении.

Наконец раздался звонок.

Paekazu



РОДНИК ПОД ЧИНАРОЙ

В десятом классе Саттор проучился месяц, дольше не выдержал. Он так уставал от работы в поле, так ломило усталое тело, что в голову не лезли школьные премудрости.

Делать было нечего — пришло тяжелое время. Людей в колхозе катастрофически не хватало. Почти все мужчины были на фронте, и отец Саттора — тоже. Вот уже пять месяцев.

За это время пришло четыре письма.

В дом его приятеля Муслима письма приходят почти каждую неделю — от отца да еще от двух старших братьев, — все люди грамотные, написать письмо им ничего не стоит. Не то что отцу Саттора — ему каждый раз по неграмотности приходится кого-то просить написать за него, а это неловко, часто обращаться не будешь. Все письма отца написаны разными почерками.

К тому же Муслим в компании ребят рассказывает о фронтовой жизни отца и братьев, об атаках, о подбитых немецких танках, о подвигах — может, чего и приукрашивает. А в письмах отца Саттора — никаких подвигов, даже подробностей никаких, только «жив, здоров», «сами будьте здоровы», «до свидания». Какие тут подробности, когда другой кто-то пишет... И все-то письмо — один-единственный листочек, сложенный треугольником, в нем короткая весточка. Конечно, самое важное не это, а то, что письмо пришло, что даже не ранен отец, — вон сколько похоронок уже пришло в кишлак. Но про отца разве можно подумать, что с ним может что-то случиться...

Саттор не ждет слов о подвигах — лишь бы жив был отец.

Мальчики во время войны взрослеют быстро.

Сестра Саттора, Матлюба, собирает хлопок, и мать тоже. И трое младших братишек, возвратившись из шко-

лы, бросают свои сумки с тетрадками и учебниками и бегут в поле — помогать маме.

Кажется, не осталось ни одной работы в колхозе, которую не выполнял бы Саттор. Он и хлопок собирал, и табельщиком работал, и возчиком на арбе, и весовщиком, и сено грузил, и мешки наполнял пшеницей и отвозил на станцию. Что ни поручали — все исполнял старательно, не жалея себя.

Поздняя осень. Вечереет.

В низинке шумит горный ручей — сай, доносится мычанье коров, лай собак в кишлаке.

Вдоль низинки, над склоном, — дорога. Семенит мелкими шажками ишак, сам еле виден из-под навьюченных мешков. Заметно отстав, плетется Саттор. Одет в потрепанную телогрейку, за поясом кнут. Руки бессильно опущены. Возвращается после дня работы в поле.

Ниже по склону, по тропинке вдоль сая, идет следом за Саттором девушка лет семнадцати, красивая, белолицая, с большими выразительными глазами, одетая в потертую бархатную душегрейку, на ногах кирзовые сапоги. Волосы повязаны зеленым платком. Время от времени поглядывает на Саттора, не обгоняет.

Саттор не замечает девушку. Слишком устал, смотрит под ноги. Да и голова занята такими мыслями, что не хочется по сторонам глазеть.

Третьего дня, когда он поздно вернулся со станции, мать поставила перед ним чашку с кукурузной похлебкой и молча сидела перед ним, смотрела, пока ел. Матлюба таскала на крышу очищенные от зерен кукурузные кочерыжки — сушить. На открытой веранде — айване с шумом возились, швыряли друг в друга коробочки хлопка младшие братишки.

— Может, еще немного положу? — спросила мать.

— Спасибо, сыт. — Саттор облизал обгоревшую с края деревянную ложку и поднялся.

— Подождите, — остановила его мать, по ферганскому обычаю обращаясь к сыну на «вы».

Когда Саттор вернулся за стол, с таинственным видом рассказала:

— Сегодня приходили женщины к вашей сестре.

— Что еще за женщины?

— Сватают...

Саттор был озадачен. Прикрикнул на малышей:

— Эй вы, перестаньте бегать!
— Теперь вы старший мужчина в доме. Что скажете, как нам быть?

— Да... — Саттор почесал в затылке. — А за кого сватают?

— Просят за сына мельника Мелибая.

— Которого?

— За старшего, Талибджана.

Талиба Саттор терпеть не мог, считал его наглым и хвастливым. Встретив на улице, не считал даже нужным здороваться с ним. В прошлом году, когда грузили гузапаю (сухие стебли хлопчатника), они даже схлестнулись из-за какой-то мелочи, чувствуя взаимную неприязнь, — у Саттора все подробности свежи были в памяти. Вспомнив о ссоре, он с раздражением, шумно отхлебнул чай.

Мать продолжала:

— Пусть до отъезда женится, хоть свадьбу его увидим, — так его матушка говорит.

— Куда это он уезжает?

— Да ведь почти все его ровесники повестки получили и на фронт ушли.

— Пусть и он идет. Вернется — тогда успеет жениться.

— Одному аллаху известно, сынок, что будет дальше, да хранит он всех нас! Война — это война.

По тону матери Саттор чувствовал, что она хотела бы видеть свою старшую дочь замужней женщиной.

Мать и вправду тревожилась за Матлюбу — больше всего боялась, что та останется не замужем.

— Ну, поживет она с ним месяц, а то и меньше, Талиб — на фронт, а ваша дочь останется служанкой в их доме. Сейчас много ли, мало ли, а в нашем хозяйстве помощь от нее есть. Но меня заберут в армию — как вы останетесь одна с тремя мальчонками?

— Пока очередь дойдет, даст аллах, может, и война кончится. Прогонят немцев. Новости-то хорошие передают.

— Так что ж, вы, значит, дали согласие?

— Нет, конечно. Как можно, не спросив у вас? И потом, я думаю, заглянем к раису — председателю, что он нам скажет?

Обо всем этом и размышлял Саттор, устало шагая по дороге над саем.

Очень не хотелось отдавать ему Матлюбу в дом наглеца Талиба.

Раис сегодня возвращается с дальних пастбищ. Мать,

наверное, уже поговорила с ним,— интересно, что он ответил?

Дорога начала спускаться по склону в сторону сая. Тяжесть мешков подталкивала ишака, заставляла семенишь быстрее.

Погруженный в свои мысли, Саттор не заметил, что навьюченные мешки постепенно сползают вбок. Наконец груз опрокинулся на землю, травяные жгуты не выдержали — мешки развязались, вывалились тыквы и покатались по склону вниз, прямо к саю.

— Эй, Сатторджан! — снизу закричала ему девушка.— Смотреть надо! Кто, по-твоему, эти тыквы из сая вылавливать будет?

Саттор секунду смотрел растерянно, потом кинулся вниз по склону следом за своим грузом.

Девушка бросила свой узелок, руками, ногами в сапогах останавливала торопившиеся к саю тыквы. Все же три или четыре упали в воду и поплыли.

Ишак наверху меж тем безмятежно щипал траву на обочине, хвостом отгонял назойливых мух.

Саттор посмотрел на девушку, та на него, оба вспомнили, как они только что металась по склону, скользили и падали, и одновременно рассмеялись.

— Ну и крепкие же эти тыквы,— говорила девушка, вытирая выступившие от смеха слезы,— ни одна не разбилась!

— А знаешь, Зейнаб, что случилось со сторожем Каримом? Он сидел на айване, и ему прямо на голову свалилась тыква из висевшей сверху плетенки. Рассказывают, он теперь даже спит в ушанке, бережет голову!

Девушка снова рассмеялась.

— Ой, не могу! Прекрати меня разыгрывать, а то умру. Ой, умираю!

Саттор зачерпнул воды в сае, принес ей в пригоршне:

— Выпей.

Зейнаб помотала головой, отказываясь, но потом все же отхлебнула немного прямо из его ладоней.

Пальцы Саттора коснулись нежной, словно цыплячий пух, щеки девушки, и он тут же забыл и об усталости, и о тыквах, и о шутках и смотрел на нее, словно впервые увидел.

Зейнаб как будто ничего не заметила, перестала смеяться и сказала спасибо за воду.

Саттор, помедлив еще немножко, сделал несколько шагов вверх по склону. Обернулся:

— Не уходи, Зейнаб, сейчас я вернусь. Спущу сюда своего красавца, хватит ему смотреть на нас свысока.

Девушка не ответила, но и не ушла, присела на камень.

Она глядела в спину Саттора: он с трудом, оступаясь, поднимался к дороге, думала о том, как ласково было его прикосновение. Они учились в одном классе, а потом, после ухода отца на фронт, Саттор остался вместо него — должен был работать и кормить вместе с матерью маленьких братьев. Жизнь оказалась безжалостна к ним ко всем: не успели оглянуться, как она распорядилась по-своему... И вот внезапно кончилась их школьная беззаботная жизнь. Отцы ушли на фронт, и кто-то ведь должен работать, сеять, ухаживать за хлопком и собирать урожай.

Ребят из их класса просто не узнать. Куда подевалось шумное озорство, веселые игры! У всего кишлака, у всех — от ребятишек до стариков — одни заботы, одна боль. На отца Мурадджана, их одноклассника, вчера пришла похоронка. Мать слегла, в доме плач. Сегодня — в этом доме, а в чьем завтра? И у самой Зейнаб отец тоже на фронте. Она вздохнула, отгоняя тревожные мысли.

Зейнаб жила с матерью и дедушкой. Мать, знавшая грамоту, работала в сельсовете. А дедушка дни проводил на старой мельнице, расположенной на полдороге между двумя кишлаками; мельница обслуживала оба селения, так что работы хватало. Дедушка в последний год сильно сдал, обессилел. А по ночам, когда кончается зерно, нужно еще отводить воду и останавливать жернова. Иногда приходится сдвигать жернов с места и чистить рабочую поверхность, дробить шероховатости. Разве под силу такое немощному старику? Двое его помощников-богатырей воюют на фронте. Вот Зейнаб и бежит после школы на мельницу, чтобы дедушка мог отдохнуть и вздремнуть.

Таша упирающегося ишака, по склону спустился Саттор. Бросил на землю мешки. Зейнаб встала с камня, помогла Саттору нагрузить ишака.

Саттор разочек ткнул его кнутовищем, и ишак как ни в чем не бывало засеменял в сторону кишлака.

— С мельницы? — спросил Саттор.

— Носила дедушке поесть.

Быстро темнело. Ушедшего вперед ишака уже не видно было, только постукиванье копытцев слышалось. И бурлил сай внизу.

— В школу уже не вернешься?

— Зима скоро, забот прибавляется. Братья еще маленькие, мать не очень здорова.

— А сестра?

— Что она может? Да и вообще девушки — народ ненадежный.

«Ненадежный» Зейнаб поняла как «слабый».

— Скучаешь по школе?

— Нет, некогда.

— И даже по друзьям? — задав вопрос, Зейнаб тут же смутилась: выходило, что спрашивает о себе.

Саттор так и понял.

— Скучаю... — Взглянул на девушку, но в полутьме не мог разобрать выражения ее лица.

Подошли к висячему мостику.

Девушка остановилась:

— Мне нужно сворачивать.

Ишак уже ушел вперед, к большому мосту — знал дорогу к дому.

На висячем мостике отвалились несколько досок, и умное животное не желало рисковать.

— Тебе одной страшно будет идти, — сказал Саттор смущенно; он знал, что девушка вообще-то должна, по кишлачным неписанным правилам, не разрешать провожать себя: ходить рядом с молодым человеком по улице считалось бесстыдством. — Я пойду следом, совершенно незаметно.

— Тогда ты лучше иди вперед. Боюсь я этого проклятого дырявого мостика.

Саттор прошел вперед и, миновав опасное место, где отвалились доски, протянул девушке руку. Нежная девичья ладошка легла в загрубевшую от работы ладонь Саттора.

За все время дружбы с Зейнаб он впервые держал в своей ее руку.

Он поразился необычности волнующего ощущения, и девушка тоже — она замерла. При этом каждый делал вид, что ничего особенного не произошло.

— Иди, не бойся, — говорил Саттор, стараясь не выдать голосом охватившее его волнение, и осторожно вел девушку за собой. Доски под ногами скрипели, мостик покачивался. — Теперь прыгай! Ну вот и молодец! Пошли дальше.

Перепрыгнув через щель, девушка радостно вздыхала, словно одолела бог весть какую опасность.

— Ты сам-то поосторожнее, смотри, а то упадешь, оставишь меня одну в темноте.

— Нет уж, если буду падать, утащу тебя за собой.

— Отпусти сейчас же! — притворившись испуганной, девушка выдернула руку. — Хоть бы луна вышла, а то гляди какая темень.

— Сейчас луна только перед рассветом показывается. — Саттор снова взял девушку за руку и повел дальше.

Скоро они выбрались на противоположный берег сая. Зейнаб робко потянула свою ладошку из руки Саттора. Он бы стоял... так и стоял с ней хоть всю ночь, очень не хотелось ему прощаться, однако тут же выпустил руку девушки, боясь, как бы она не подумала о нем плохо, не посчитала, что он обычный пристава.

— Где же твой ишак, потерялся? — засмеялась вдруг Зейнаб, и сразу ушли куда-то неловкость и напряжение.

— Да он знает дорогу. Сейчас уже наверняка дома, если только не встретил на дороге сторожа Карима.

И они оба рассмеялись.

— Ну же, иди вперед, показывай дорогу, — легко, будто он не держал только что ее руку, распорядилась девушка.

— Может, вместе?..

— Нет, нет, вдруг встретим кого-нибудь, — запретила Зейнаб. — Иди вперед.

Не отдавая себе отчета, девушка уже признавала этими словами, что между ними возникла тайна.

Саттор, чувствуя себя счастливым, пошел немного впереди, и так они и достигли кишлака.

Через день Зейнаб снова отправилась к деду и прошла через висячий мостик. Провалов и щелей на нем уже не было: кто-то починил его, прибил болтавшиеся доски.

Заметив в чайхане деда Зейнаб, Саттор повернул своего ишака к дому, погрузил на него полмешка кукурузы и отправился на мельницу.

Настроение у него было приподнятое: раис, от согласия или несогласия которого много зависело в жизни кишлака, посоветовал матери отложить свадьбу Матлюбы. Какой сейчас может быть свадебный той, когда даже хлеба не хватает?..

Вот и мельница. Ветхая, полуразвалившаяся, она открылась взгляду в низинке между двумя холмами. Камышовая крыша сгнила и раскрошилась; опоры покосились, ушли в землю; глиняные катыши, из которых были сложены стены, залеплены мучной пылью.

Саттор заглянул внутрь. Там было темно и сыро, слышался шум жерновов и упорный плеск бившей в лопасти колеса воды.

Приоткрыв дверцу каморки слева от входа в мельницу, Саттор заглянул туда. Он рассчитал правильно: на низком столике — сандале, покрытом цветастым одеялом (в углублении под столиком обычно помещали горячие угли и так грелись), он увидел тетради, чернильницу и ручку.

Зейнаб в каморке не было, однако невдалеке уже слышался ее голос — она напевала на ходу.

Обернувшись, Саттор увидел ее — она спускалась по тропинке с холма, что-то несла, отогнув полу своего подбитого ватой бархатного пальто.

Саттор пошел навстречу, улыбаясь.

— Я еще с холма увидела тебя, — говорила, подходя, Зейнаб.

— Зачем же ты туда поднялась?

— Вот... — она кивком указала на отогнутую полу пальто. — Орехов набрала. Вообще-то их почти все вороны растащили. Бери.

— Спасибо.

— Идем, я замерзла.

Они смололи кукурузу, ссыпали в мешок муку.

Брови и ресницы Зейнаб сделались белыми.

— Ф-фу! — Саттор сдул белую пыль с лица девушки.

Зейнаб смотрела на него с признательностью.

— Спасибо...

— За что? За то, что дунул? — засмеялся Саттор.

— Не только... — девушка загадочно улыбнулась, а Саттор сообразил и покраснел. Конечно, было бы лучше не чинить мостик, а каждый раз переводить ее за руку. — Идем в комнату, — позвала девушка. — Я недавно положила углей, там тепло.

Саттор с чувством неловкости сел за низенький столик, ноги спрятал под одеяло, ближе к теплу жаровни.

Зейнаб из висевшей на колышке торбы вытащила лепешку из белой муки, сняла с подставки у жаровни под столиком горячий чайник и поставила перед Саттором, потом уселась сама, разломив лепешку.

Разливая чай по пиалам, попросила:

— А ты пока наколи орехов.

Саттор зажал в руках два ореха, они хрустнули. Взял следующую пару. На столе стала расти горка из кусочков очищенного ядра.

— А почему никто не едет? — нарушил он неловкое молчание. Боялся, что не дадут им побыть вдвоем.

— Сюда обычно приходят утром. Оставляют зерно, а вечером, после работы, забирают муку. Днем здесь почти всегда пусто.

— Скучно, наверное?

— Да я не так уж много здесь сижу. И потом, ведь домашние задания беру с собой. Скучать некогда.

— Я дедушку твоего видел.

— Он спустился в кишлак прочитать пятничный намаз. Но обычно быстро возвращается.

Опять оба замолчали с чувством неловкости.

Девушка поежилась, спрятала руки под одеяло, поближе к теплу.

— А в тот вечер твой ишак нашел дом? Сторож Карим не повстречался ему по дороге?

— Калитка его была заперта, так он стоял перед ней и ждал меня.

— Сильно устаешь от работы?

— Легкой работы, наверное, и не бывает.

— Письмо было от отца?

— Давно. Он редко пишет.

— А нам вчера принесли. Мне почему-то кажется, что мой отец под Сталинградом.

— Мой писал, что у них много снега — целые сугробы. Наверное, он на Севере...

Саттор тоже, желая согреться, спрятал руки под одеяло — и неожиданно его рука нашла руку девушки.

Он снова был словно бы на висячем мосту — даже голова немного закружилась.

Девушка замерла.

Потом Саттор осторожно коснулся пальцами нежных, атласно гладких запястий. Щеки Зейнаб вспыхнули как маков цвет. Она и боялась чего-то, и... Опустив глаза, она тихонько отняла свои руки. Но юноша, почувствовав в ее движении нерешительность, и уступчивость, и намек на ответ, жарко обхватил обеими руками легкую руку девушки.

Зейнаб испугалась, мгновенно вскочила на ноги.

— Вот ты какой! — вдруг рассердилась она на Саттора. — Уходи сейчас же!

И сама выбежала на улицу.

Поникший, расстроенный, расканивающийся, Саттор некоторое время сидел за столиком, потом, не зная, куда девать глаза от смущения, тихонько поднялся.

Он чувствовал себя бесстыдным обидчиком и не мог сообразить, как вымолить у девушки прощения.

Вдруг он почувствовал взгляд Зейнаб. Она стояла у входа, в трех шагах от него, смотрела внимательно, испытующе.

— Почему ты это сделал?

В ее голосе Саттор с облегчением уловил нотки прощения и примирения.

Саттор впился в нее взглядом, следил за малейшим изменением тона, выражения лица.

— Почему? Отвечай.

Казалось, она уже остыла, забыла недавний гнев и даже чуть-чуть раскаивается, что была резка с ним. Глаза ее повлажнели и блестели.

— Я люблю тебя,— ответил Саттор.

Зейнаб опустила голову, будто снова испугалась.

— Не надо... Разве сейчас время для этого...— Она быстро повернулась и ушла на мельницу, туда, где шумели жернова и вода.

Саттор постоял, чувствуя себя незванным гостем, потом с тяжелым сердцем, еле двигая ногами, как после тяжелого рабочего дня, поплелся наружу, отвязал ишака, нагрузил его мешком с мукой.

Зейнаб стояла, прислонившись к косяку двери.

— Спасибо, Сатторджан,— мягко сказала она.

— Смеешься?

— Нет, я серьезно.

— За что же спасибо?

— За мостик.

Он легонько ударил ишака кнутовищем по шее, тот зашагал к дороге.

— Когда ты еще приедешь молоть?

Эти слова и тон, которым они были произнесены, сняли у Саттора камень с души.

Он удалялся, беззащитный перед ней, а девушка смотрела ему вслед задумчиво и печально.

Минула зима, пришла весна, щедро разбросав свои дары.

Все это время Зейнаб и Саттор часто встречались.

Однажды, когда он возвращался с поля, увидел мать, ожидавшую его у дома. Он подошел, и мать горько заплакала.

«Отец?» — мелькнула ужаснувшая его мысль.

Он смотрел на мать, ожидая ее слов.

Мать протянула ему повестку военкомата. Его призывали в армию.

— О господи! А я-то думал, дурные вести! — Почувствовав внезапную слабость, Саттор опустился на край айвана.

— Что ж это, по-твоему, разве добрая весть? — причитала мать сквозь слезы.

Услышав ее плач, заревел и самый маленький сынишка. Двое других испуганно и восхищенно смотрели на старшего брата.

Видеть слезы матери, слушать ее горестные сетования — дело нелегкое, а тут еще подняла плач вернувшаяся с поля Матлюба.

— Да хватит вам! — прикрикнул наконец Саттор. — Я еще никуда не уехал, здесь, перед вами, стою, а уже меня хороните! Что ж я, один из всего кишлака уйду, что ли? Из каждого дома ушли на фронт! Прекратите сейчас же!

Он торопливо вышел со двора.

Зейнаб ждала его. Глаза у нее были красные.

— Я знаю. Мама сказала... — и заплакала.

Саттор только вздохнул и ничего не ответил.

— Что же делать... — сквозь слезы тихо говорила девушка. — Лишь бы ты живым-здоровым вернулся...

Саттор молчал и не отрываясь глядел на нее.

— Знаешь, — подняла голову Зейнаб, — я придумала одну вещь и даже загадала... Ты можешь пойти сейчас со мной? (Саттор кивнул.) У нас в углу двора — два ростка чинары. Что, если мы их отнесем сейчас к мельнице и посадим у родника? Пусть растут и дожидаются тебя...

Саттор понял, что это означает обет верности.

К горлу у него подкатил комок.

Они посадили оба деревца в одну ямку, полили водой из родника.

— Я вернусь, и мы когда-нибудь будем сидеть в их тени и будем счастливы. И так — много лет... — Саттор положил руки девушке на плечи. — Ты будешь ждать меня?

Зейнаб заплакала и кивнула.

Обняв, Саттор поцеловал ее долгим поцелуем. Девушка не сопротивлялась, губы ее горели. «Он вернется... он обязательно вернется...» — заклинала она судьбу.

Оба саженца принялись, пошли в рост.

От Саттора приходили письма, и Зейнаб по многу раз перечитывала их.

А потом, ночью, писала ответы.

Прошло лето, наступила осень, и письма от Саттора перестали приходить.

Однажды мать Зейнаб вернулась из сельсовета грустная, подавленная, дочери ничего не сказала. Но какие могут быть секреты в кишлаке! Ночью в доме матери Саттора поднялись крики и плач. Собрались люди. Среди других, присев на корточки у входа в дом, отчаянно плакала Зейнаб.

От Саттора у Зейнаб осталось лишь несколько писем. Она перечитывала их, и словно возвращались свет и счастье, а потом она снова плакала от боли и отчаяния. Тогда она убежала к роднику у старой мельницы и смотрела на посаженные ими деревья, рассказывала им о своей тоске и опять плакала. Домой возвращалась опустошенная и молчаливая.

И все же она не могла до конца поверить в то, что Саттора нет. В потаенном уголке сердца независимо от ее сознания мерцал огонек надежды...

Отвечая на последнее письмо Саттора, она писала ему, что получила в школе аттестат и медаль и сейчас хочет поехать в Ташкент учиться дальше, как они и мечтали вдвоем.

Теперь она переехала в Ташкент — поступила на юридический факультет университета.

Дедушка ее умер тогда же, а после ее отъезда пришло известие о гибели отца. Мать, зная, в каком состоянии живет дочь, не написала ей об отце — одна переживала тяжесть утраты. Однако вскоре ей невмоготу стало жить в опостылевшем доме, она задешево продала его и отправилась в Ташкент, чтобы быть рядом с дочерью. Там устроилась на завод, сняла комнатку, — жизнь их как бы началась заново.

Когда подошло время летних каникул, Зейнаб принялась уговаривать мать вместе съездить в кишлак. Та всячески оттягивала поездку, понимая, что дочери станет известно о похоронке. Лишь когда Зейнаб пригрозила, что отправится одна, мать смирилась.

Конечно, в кишлаке Зейнаб сразу же узнала о гибели отца. Удар был слишком тяжел — она свалилась и оправилась от болезни только через месяц.

Она стала еще более молчаливой, казалась даже апатичной. Прежние мечты о счастливом будущем раз-

летелись в прах, и тем светлее были воспоминания о Сатторе.

Все свои силы она отдавала теперь учебе. На каникулах приезжала в кишлак, приходила поклониться чинарам у родника, — они вытянулись, превратились в крепкие деревца, росли вровень, тесно сплетаясь кронами. Зейнаб могла часами сидеть в их тени, думать, вспоминать — это сделалось привычкой, а само место у родника она уже считала священным для себя. Приходя сюда, она как бы отдавала долг памяти, здесь оживали дорогие для нее чувства и воспоминания — слова и образы давно ушедших дней, останавливалось и текло вспять само время. Она настолько сроднилась сердцем с Саттором, с памятью о нем, что испытывала тут облегчение, даже душевный подъем. Может быть, поэтому в ее жизни не находилось места другому чувству, но, возможно, что она и сознательно решила остаться верной первой любви.

Она была хороша собой, очень неглупа.

Не один джигит искал дорогу к ее сердцу, были и такие, что вроде бы подходили ей. Однако девушка до сих пор помнила свое первое чувство, и все остальное казалось ей тусклым и нестоящим, заурядным.

Шли годы.

Окончилась война. Многие отодвинулось в прошлое, но несбывшиеся мечты и надежды так глубоко ранили сердце Зейнаб, что не переставали напоминать о себе болью и тоской одиночества.

После университета Зейнаб проработала два года в республиканском министерстве юстиции, затем окончила аспирантуру в Москве.

Прошло еще время. Она написала несколько книг, стала доктором наук, известным в республике ученым. Ей было уже пятьдесят. По ее учебникам занимались студенты.

Машина шла по новой асфальтированной дороге, изгибавшейся между холмами. Зейнаб ехала в сторону своего родного кишлака и с грустью думала о прошлом, о том, что вот уже и в волосах седина, сколько человеческих судеб прошло через ее руки преподавателя и юриста, а свою судьбу она так и не смогла устроить.

Воспоминания окружили ее. Она приближалась к месту, где родилась и выросла, узнала первые радости

и первое смятение чувств, первую и единственную любовь. Сердце ее волновалось, словно у юной девушки...

Шоссе вело к новому райцентру, обходя стороной ее родной кишлак. Когда проезжали мимо, Зейнаб попросила остановить машину и долго смотрела сверху, со склона холма, но не могла узнать улицы и дворы. Новые дома, школа, спортивная площадка, железные крыши среди деревьев. А вон, под тополями, милая старая школа, где она проучилась десять лет. Только старую школу она и узнала.

Вздохнув, она вернулась в машину.

Через несколько минут «Волга» затормозила у чайханы на площади в райцентре.

Чайхана была просторная, человек на сто, чисто подметенная, ухоженная.

Посреди дворика тут бил прозрачный родник, рядом поднималась величественная чинара, дававшая густую тень, — солнце не могло пробиться сквозь ее плотную листву, и во дворе царил приятная прохлада.

Листья шептали что-то под ветром, словно пытались рассказать людям о минувшем. Но тайну, которую они хотели поведать, понимала лишь одна Зейнаб, — она стояла у входа в чайхану, сердце ее билось, как много лет назад, и к глазам подступили слезы.

Завидев вышедшую из «Волги» по-городскому одетую женщину, старик чайханщик поспешил ей навстречу, решив, что приехал кто-то из начальства.

Поздоровались, старик пригласил Зейнаб и водителя за свободный стол, поставил перед ними чайничек с заваренным чаем, лепешки, сахар — нават.

— Отец, как называется этот кишлак? — спросила Зейнаб.

— Чашма-чинор (Родник под чинарой), — объяснил чайханщик. — Он возник вокруг этого вот родника и чинары над ним. Недавно, восемь лет назад, построили. Прежде когда-то тут стояла мельница, как раз на полдороге между двумя соседними кишлаками. Когда решили новый райцентр строить, это место и выбрали. Сами видите, как хорошо стало...

— А с мельницей что было?

— Да кому она нужна, в магазине всегда мука есть... Разлив чай по пиалам, старик ушел.

Зейнаб с радостью и болью смотрела на чинару — давно не виделась с ней! Да, это были те самые деревца, что в незапамятные времена они с Саттором посадили

в одну ямку. Сейчас они поднялись высоко, стволы их тесно переплелись, образовав как бы цельное дерево, и кроны смешались, так что человек, не знающий, что перед ним два дерева, принимал их за одно.

Воспоминания властно уносили Зейнаб в прошлое. Она видела давние дни, себя и Саттора, совсем юных, очень серьезных и несмелых. Здесь, у этого родника, он единственный раз поцеловал ее...

Подошел чайханщик:

— Начать готовить плов? Или, может быть, что другое захотите?

— Спасибо, отец, в другой раз,— мягко отказалась Зейнаб.— Нам скоро ехать... А скажите, сколько же лет этой чинаре?

— Точно не знаю, я сам не здешний. Но говорят, что ей лет двести будет.

Зейнаб невольно улыбнулась, даже на душе полегчало.

— Не сочтите за назойливость, если спрошу: откуда вы сами-то будете?

— Мы из Ташкента, отец.

— Очень, очень хорошо. Так я скажу, чтоб готовили плов?

— Не беспокойтесь, отец. Мы еще немного отдохнем и отправимся дальше.

— Но если вам что-то понадобится, скажите, не стесняйтесь. С великим удовольствием исполним.

Поклонившись, старик ушел.

Зейнаб встала, зачерпнула пиалой из родника. Выпила, наслаждаясь каждым глотком студеной чистой воды. Как будто отпустило сердце, и она наконец заплакала.

Память двух юных сердец, память надежд и прощания, верности и чистоты, светлой счастливой любви и веры в будущее — могучая чинара поднялась вершиной высоко к солнцу и, словно печалась о минувших днях, беспрестанно шептала и шелестела, звала и манила в прохладную тень и обещала иссохшим от жажды губам прозрачную родниковую влагу.

ДРУГАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

Обычный нормальный человек, вроде вас, уважаемый читатель, отмечает свой день рождения раз в году, я же — дважды: десятого августа — это мой настоящий день

рождения, а еще двадцатого апреля, ибо именно двадцатого я однажды решил умереть. И вот эта вторая дата мне особенно дорога, потому что в тот день я не только не умер, но совсем напротив, представьте,— именно с этого несчастного злополучного дня начался в моей жизни резкий поворот...

Сколько я помню себя, я всегда, с самого раннего детства, отличался на редкость мягким характером; ну, скажем, сам я никогда и никого — ни разу — не обругал, напротив, всегда бранили меня, ни разу не разбил чей-то чужой нос, и мальчишкой ни разу даже не выдрал из чужих рук бублик — отбирали всегда у меня. Если мяч залетал в соседний двор, бежать за ним, естественно, заставляли меня, а когда играли в лапту или в ляngu, товарищи мои, хитрецы, плутовали, и я должен был носить каждого на закорках. Коли сговаривались забраться в сад к Адхамуака воровать груши, меня вечно оставляли на улице за сторожа; сами набивали за пазуху спелых груш и давали деру, я же, боясь покинуть свой пост, сидел и ждал до самого вечера, пока не сгущались сумерки. Обмануть или сплутовать — такого мне и в голову не приходило, а если и приходило, то никогда из этого не получалось ничего путного: видно, слишком я привык мерить всех на свой аршин, верил всему, что мне ни говорили, и верил каждому подряд. Простоват, в общем, был.

И даже когда я пошел учиться в школу, все оставался таким же простофилей. Хоть и выучу заданные на дом уроки, все равно не умел ответить как следует — боялся нечаянно ошибиться, стоял у доски и молчал в нерешительности. Как-то слышал своими ушами, жаловалась наша учительница моему отцу: «Для умственно отсталых детей есть же специальная школа, может, отдать его туда, будет какая-нибудь польза...» Ох и досталось же мне от отца! Однако до школы для умственно отсталых дело не дошло, закончил я обычную среднюю школу: директор оказался поумнее учительницы.

В нашем десятом классе среди других девушек выделялась умом и красотой одна — отличница по имени Акида. Ребята все, как один, были влюблены в нее, писали ей записочки с признаниями, вкладывали их меж страниц ее учебников... Я, конечно, тоже любил ее. И вот однажды случилось — я нечаянно подслушал разговор девушек, как те болтали между собой о наших ребятах. Слышу, дошла и до меня очередь. Какая-то злючка презрительно так бросила: «Ах, этот бестолковый мямля, теленочек моей

тетушки!» Я не успел даже покраснеть, как вдруг ей возразила Акида: «Зря ты так говоришь про него: Асад — добрый, благородный парень. Ну, мягкий, может быть, слишком... Просто его нужно понять». У меня к горлу подкатил комок, даже слезы выступили на глазах. Убежал скорее куда-то, чтобы не слышать ничего больше. И представьте — был бесконечно счастлив.

Первого мая мы всем классом отправились на демонстрацию, последнюю в нашей школьной жизни. Когда мы уже прошли через Красную площадь Ташкента, товарищи мои, быстренько найдя тысячу и одну причину: этот торопится, мол, в гости, другой — куда-то еще, третьего ждет девушка, — так вот, товарищи мои решительно всучили мне все наши флаги и транспаранты и живо разбежались по сторонам.

Стою я с флагами, собрал их древко к древку и думаю в растерянности: как же сумею один донести их до школы — сил ведь не хватит? И вдруг рядом голос Акиды: «Помочь?» У меня сердце замерло сладко. Белый фартук Акиды бился под ветерком... а лента в волосах очень была ей к лицу.

Когда мы добрались до Беш-агача, повстречали Самада, тоже из нашего класса, — он за Акидой открыто приударял, настырный был. Так вот, увидел нас Самад — и тут же отозвал Акиду в сторону. А я от страха и смущения, что заметили меня рядом с Акидой, остановился, устоял в землю — и ни с места.

Акида, молодец, не растерялась, взбучку устроила ухажеру своему:

— Чем важничать, помог бы хоть немножко Асаду! И как всем не стыдно было — наваливать все на одного человека?

— Подумаешь, и что такого, разве это тяжесть? Асад у нас молодец, богатырь!

Акида рассердилась, как ни странно, на меня:

— Ну что ты за парень, Асад?! Почему ты такой мямля, безвольный тетушкин теленок?! Ответить им не смеешь?! Боишься, что ли?

— Я... я...

Так и не смог ничего выдать из себя. Акида окончательно рассердилась, резко повернулась и убежала. А я остался стоять, растерянный. Как я казнил себя! Как в мечтах желал двинуть Самаду кулаком в лицо. Отплатить за пренебрежительный его тон... Но в то же время я отлично сознавал, что подобной хулиганской выходки

никогда себе не позволю... да и просто рука у меня не поднимется ударить человека. В эту минуту я был противен самому себе, омерзителен, как холодная жаба. К горлу подкатил ком... Однако я взял себя в руки.

Но вот и выпускные экзамены позади. Нам выдали аттестаты. Пока я в нерешительности ходил да раздумывал, в какое бы учебное заведение мне лучше поступить, мои бывшие одноклассники уже сдали свои документы в облюбованные институты и давным-давно ходили на консультации. А я... Встречаюсь с Султаном — хочется поступать вместе с ним в педагогический; встречаю Вали — хочется поступать в университет; вижу Талиба — хочу в ТашМИ.

Опомнился наконец, смотрю: последний день подачи документов! Бегу, отношу аттестат и заявление в Институт народного хозяйства — и проваливаюсь на первом же экзамене. Мать рыдает, отец гневается, я молча страдаю.

Осенью меня призвали служить в армию.

То, что проделывали одноклассники со мной в школе, — это совсем ерундой оказалось по сравнению с тем, что ожидало меня в армии. Поняв, какой я ротозей, мои же приятели принялись разыгрывать из меня дурачка; как только выпадала внеочередная работа, скажем, надо разгрузить вагон с картошкой или доставлять уголь, — вперед тут же выдвигали меня: все уже знали, что я не способен сказать «нет». Правда, одно хорошо: в армии я научился водить машину, пригодилось после возвращения.

Приехав в родной Ташкент, поступил на работу в автобусный парк.

Как и всегда, конечно, окружающие быстро раскусили меня... В общем, рейсовый автобус мне не достался. Досталась старая развалина, которую все называли «дежуркой». Рано утром, еще затемно, доставляю на работу водителей автобусов и кондукторов, в полночь развожу их по домам, а если какой-нибудь из маршрутных автобусов выйдет из строя, приволакиваю его на буксире в парк или же еду на склад за запасными частями.

После смены шоферы из нашего парка частенько собирались в чайхане мужской компанией, и кто-нибудь из признанных мастеров готовил плов. Если договаривались собраться, допустим, к двум часам, то прийти пораньше, к часу, и занять сури¹ получше поручали, конечно, мне.

¹ Сури — широкий топчан в чайхане, на нем рассаживаются на одеялах-курпачах вокруг блюда с пловом.

Я разбрызгиваю воду и подметаю возле сури, затем стелю курпачи, мою казан. Отбираю все необходимое для приготовления плова — мясо, рис, морковь и прочее — и сижу жду. Наконец, собираются наши джигиты; уверенные в себе, с шуточками, прибауточками сноровисто колдуют над котлом, закладывают рис и мясо, крошат морковь... мне же доверено развести огонь под котлом. Но вот и застолье началось; пока допекает плов, все выпьют по маленькой, и сразу же открывается конкурс остряков, главной темой которого, естественно, становлюсь я. Смеются громко, с выкриками, покатываются до колик в животе. А я стесняюсь ответить хотя бы словом и — что делать? — поневоле присоединяюсь к общему смеху над собой. Соревнование остряков — аския начинается всегда одинаково: обсуждается во всех тонкостях все та же проблема: как бы это получше пристроить — женить меня... а в конце под общий хохот созревает решение выдать замуж меня самого.

Но вот пирушка наша заканчивается; утомленные весельем, товарищи мои усаживаются в машину. Для меня же там не остается свободного места. «Садись, устраивайся у кого-нибудь на коленях, как девушка!» — предлагают мне. Я смущенно отказываюсь: «Ничего, ничего, поезжайте, прошу вас, не беспокойтесь обо мне, я сам доберусь...» — и остаюсь один...

Как-то вечером, когда я развез уже на своей «дежурке» товарищей и возвращался в парк, я увидел на обочине «голосующих» парней и девушку. Я затормозил — почему не подвезти? — и тут вдруг у меня подпрыгнуло сердце: это была Акида, рядом с ней стоял Самад.

— Подбрось до Кукчи, приятель. Такси не останавливаются... — попросил Самад. Видно, в темноте он не узнал меня.

Я молча открыл дверцу. Поддерживая Акиду под локоть, Самад помог ей подняться в автобус.

Добрались до Кукчи. Самад сунул мне в руку рубль и помог Акиде спуститься с подножки.

Долго я смотрел им вслед...

Собственно, кто я такой, что собой представляю? Ведь мне уже двадцать три года, а я все еще ни к чему не способен. Разве сумел сказать решительные слова девушке, в которую был влюблен? Нет, не нашел их — и вот, пожалуйста: Самад провожает ее поздним вечером. Снова подать документы в институт — боюсь. Заставляют меня делать чужую работу — не способен возразить ни словом. В общем, авторитета у меня нет ни на одну медную копе-

ечку. Даже и собственные мои отец с матерью, похоже, махнули на меня рукой: то все расспрашивали о планах, об институте, о работе, о девушках, но теперь что-то приумолкли. А какими только прозвищами не награждают меня приятели: «простофиля», «теленочек моей тетушки», «рохля», «растяпа»... Одно хорошо: хоть и ругают меня друзья, но не отступаются, не оставляют одного, — может быть, что-то они и находят во мне. Правда, что — ума не приложу.

И все-таки это несправедливо: нужно убрать в гараже — мне вручают веник, а вот в ведомость, скажем, на премию, меня, случается, и забывают включить; когда же отправляют людей на работу в колхоз, список обычно начинают почему-то именно с моей фамилии.

А вчера вызвал меня к себе начальник нашего автохозяйства Ибодов и — надо же! — похвалил за то, что я сознательный человек; правда, тут же и сообщил, что собирается перевести меня на другую работу, а именно — сторожем гаража.

Вот до чего я докатился!

Ну уж нет, чем жить так — лучше умереть!

Умереть... Стоп! И почему только эта идея не пришла мне в голову раньше? Не лучше ли напрямик отправиться на тот свет, чем ходить, как я, по земле, втянув голову в плечи, безвольным и нерешительным, опасаясь всего и всех, выслушивая попреки, разносы, не умея защитить себя? Кому нужен такой? Акиде, во всяком случае, — нет...

Вбив себе в голову эту идею, я успокоился — словно бы обрел себя. Даже был счастлив, что пришел наконец к определенному решению. И правда, чего мне терять! Вот сейчас пойду в гараж, разведу шоферов по домам, а потом...

В гараже меня ожидали уже возвратившиеся с маршрутов водители. Не спеша, дружелюбно переговариваясь, стали один за другим усаживаться в мою «дежурку». В мою? И ее отняли у меня... В последний раз сажусь за руль, слышу голоса товарищей.

— Не забудешь вымыть мой автобус, а, Асад-палван¹? — подмигнул мне Ачил-толстяк.

— А почему это я обязан мыть твою машину?! — взревел вдруг я. — Что я, мальчик на побегушках, что ли? Слуга тебе?! Сам вымой, вон какой здоровенный, прямо гора!

В гараже сделалось тихо-тихо. Все остолбенели.

¹ П а л в а н — богатырь, силач.

— Ие! — вскричал изумленный Ачил. — Асад-палван! Неужели это ты? Ребята, наш младенец-то растет, уже заговорил! Молодец какой! — с этими словами он потянулся ко мне и ущипнул меня за бок.

Я сорвался. Что это было — не знаю. Только я вскочил, будто пружинной подброшенный, и изо всех сил ударил Ачила-толстяка, вложив в этот удар все свое отвращение к прежней своей жизни. Отлетев к дверце, Ачил вывалился из автобуса наружу. Не знаю, откуда во мне родилась такая смелость, только от бешенства у меня потемнело в глазах. Сейчас я готов был переломать Ачилу все кости, и будьте уверены, сумел бы это сделать, если бы он начал сопротивляться. Я почувствовал, как руки мои налились силой, ощущение силы пьянило меня. Сейчас стыдно вспомнить, но не обделил я вниманием и некоторых других моих товарищей, которые вмешались, пытаясь удержать меня. Образовалась свалка. Однако никто из них не поднял на меня руку. Хотя, конечно, могли бы и поднять. Я бы не обиделся. Решившему расстаться с жизнью ведь абсолютно безразлично, умрет он с шишкой на лбу или без оной — какая ему разница? Об одном жалел я в те секунды: товарищи мои помешали мне с наслаждением, от души подраться. Я бы смог тогда отомстить за всю мою бездарно прошедшую жизнь, и было бы чудесно умереть в этой драке... Но ребята наши, несколько человек, крепко обхватив меня, не дали мне возможности и рукой пошевелить. Ачилу же велели бежать подальше отсюда.

— Что с тобой приключилось, Асад? Раньше никогда не дрался... — с оттенком уважения в голосе спрашивали державшие меня ребята.

— Что значит — приключилось? — снова забушевал я. — Что я, не человек, по-вашему? Доброту принимали за трусость, да? Если к вам относишься с уважением, по-человечески, значит, нужно на мне верхом ездить? А ну, поустите!

— Что ты говоришь, Асад, кто же это ездил на тебе верхом?

— Ты! Ты! И все вы!

— Ну, это уж слишком... зачем же так...

— Как это — слишком? Вы что, считаете, со мной можно по-всякому обходиться, да?

— Ладно, довольно, прости нас, прости, пожалуйста. Успокойся, возьми себя в руки, стыдно так распускаться.

— «Стыдно!» Всё «стыдно» да «стыдно», из-за этого

самого стыда и и оказался таким слюнтяем! А ну, отпусти мою руку!

Товарищи отпустили меня и чуть отодвинулись — так, на всякий случай. Похоже, опасались, что я снова мог броситься на кого-нибудь.

— Ладно, Асад, друг, не сердись — Ачил-толстяк просто с тобой по-приятельски пошутил.

— Почему это он может со мной такие шутки шутить? Что, решил — дурачка нашел?

— Ну ладно, виноват он, да при чем же здесь остальные? Чем мы-то все провинились перед тобой?

— Вы все ничем не отличаетесь от него, одного поля ягоды! Только волю дай — на палочку насадите и начнете вертеть как захотите!

— Ладно, ладно, мы тоже нехорошие люди. Не будем спорить. Если душа твоя уже умиротворена, то отвези нас, пожалуйста, домой... Вот видишь, рубашку в клочья разорвал...

— Что-что?! — взвился я. — По домам?! А на кладбище не хотите — могу подвезти! — я шагнул было вперед, но ребята снова удержали меня.

Вне себя от гнева я выскочил из гаража на улицу.

Поздний вечер, тишина, воздух приятно холодит пылающее лицо. Трамваи уже не ходят, машин тоже не видать. В молчании ночи — лишь тяжелый, мерный стук моих каблуков.

Сейчас я должен прийти домой и покончить с собой. Дело это уже решенное.

Однако непонятно — в душе своей я сейчас не ощущал и тени той подавленности, что владела мной последние дни. Напротив, я был окрылен странным, незнакомым мне чувством — я ощущал приподнятость, меня словно бы несло на каких-то мощных крыльях, и это чувство вливалось в меня твердость и силу, придавало мне уверенность в себе.

Никогда еще в жизни не знал я такого подъема духа. Мне казалось, что в эти минуты я был способен на любой самый мужественный, самый героический поступок.

Я был безумно счастлив от взбунтовавшейся во мне храбрости! Одним ударом я смел преграду, мешавшую мне жить, сорвал цепи, сковавшие, зажавшие мою волю, я вздохнул наконец-то свободно, — ничто не мешало мне теперь видеть просторный мир вокруг, смотреть на него ясным, смелым и радостным взглядом.

Я взял верх над целой толпой людей, унижавших меня, заставил их подчиниться моей воле. Но прежде всего —

я взял верх над своей собственной слабостью! И это — самая большая, самая важная победа!

Но как же быть с прежним моим решением покончить с собой? — спросите вы.

Теперь, когда я одержал столь великую победу над собой, когда во мне ключом забила дремавшая ранее сила, — и вдруг взять да помереть? Нет уж, дудки! Не великая ли глупость — уйти из этого мира в день, когда жизнь предстала передо мной во всем своем полнокровном великолепии?!

И в конце концов, кому какая польза от моей смерти? Или кто-нибудь скажет мне «спасибо»? Или доброе дело для кого сделаю? Нет! Ни за что! Не умру!..

* * *

— Присаживайся, Асад, — бросил мне наутро начальник нашего автохозяйства Ибодов, закончив ругать кого-то по телефону и опустив трубку на рычаг.

— Не тыкайте, пожалуйста, — твердо проговорил я. — Мой бешик¹ вы не качали.

Ибодов в изумлении приоткрыл рот.

— Извините, садитесь, товарищ Ахраров! — справившись с собой, язвительно-вежливо предложил он.

— Ничего, я постою. Если у вас дело ко мне, говорите.

Начальник опешил. Похоже, он позабыл о том, что намеревался сказать мне.

— Мне кажется, вы как будто не в духе...

— Какое отношение к делу имеет мое настроение? — холодно отчеканил я. — Если не ошибаюсь, мы с вами не дома, а на работе.

— Ну и ну... — Почесав в затылке, начальник посмотрел мне в глаза и заставил себя вспомнить, о чем это он. — Да... Вы подумали о моем предложении?

— Сварите ваше предложение и съешьте!

Ибодов побелел:

— Вы что, забыли, с кем разговариваете?

— И вы тоже не забывайте, с кем разговариваете! Что я, инвалид какой — работать сторожем? Больше года в этом гараже — до сих пор ездю на старом драндулете! Что я — хуже остальных? Может, слепой или хромой, а? Может, не умею водить машину? Почему тогда мальчишки, всего месяц назад поступившие работать, уже гоняют

¹ Б е ш и к — колыбель.

новые автобусы? Для вас, начальник, скромность — проявление слабодушия, не так ли? Но у моего терпения есть границы! Вам ничего не стоит запрячь в ярмо вместо быка человека, если он не перечит вам!

— Оказывается, у вас вон сколько обид накопилось... — благодушно улыбнулся Ибодов. — Что же вы не зашли ко мне раньше, Асадджан? Ведь мы с вами все-таки вместе работаем, как братья...

— Вопрос стоит так!.. — Я действовал по принципу: куй железо, пока горячо. — Или вы даете мне новый автобус, или я пишу на вас жалобу в высшие инстанции! — Я вышел из кабинета, хлопнув дверью.

И достиг цели: через несколько дней мне дали новый автобус. Я принял перемену в своем положении молча, как нечто вполне естественное; никак не выказав своей радости, сел в новую свою машину и поехал. Но я отлично знал: Ибодову палец в рот не клади, стоит мне где-то поскользнуться — добра не жди. Он уж сумеет истолковать мой промах как ему выгодно и поспешит рассчитаться со мной. Поэтому я приступил к новой работе со всем старанием. На линию никогда не опаздываю. Если кто-нибудь из водителей вдруг заболит, хоть смена моя уже и закончена, сажусь за руль чужой машины. Так я проработал с полгода.

Неожиданно, как снег на голову, новость: Ибодов назначает меня бригадиром.

Хоть бригада мне досталась не самая многочисленная, забот все же хватало: один заболел, у другого свадебные хлопоты, третий выпил лишнего, четвертый попал в аварию. Постоянно приходится быть начеку, следить в оба глаза.

Раньше даже те из водителей, что были помоложе меня годами, обращались ко мне пренебрежительно-насмешливо: «Асад-палван», — называть меня «Асад-ака» считали для себя унижительным. А теперь даже опытные шоферы, люди почтенного возраста, с уважением произносят «Асад-ака», и никто не «тыкает» мне — все на «вы».

Вообще-то я доволен своей работой. Автобус мой всегда в исправном состоянии. План перевыполняю, и с лихвой. Ни одно собрание без меня не обходится. Многие спрашивают моего совета, ждут моей помощи. Однако с нарушителями дисциплины у меня разговор строгий. Особенно зауважали меня любители левых рейсов после недавнего случая. Как-то — дело было в выходной день — отправился я в Шофайзикулок к знакомому садоводу за

саженцами роз. Смотрю, возле богатого особняка стоит автобус, внутри полным-полно женщин и детей. На борту грузовика рядом — разукрашенный бешик (колыбель), возле него детская кроватка, да еще и жеребенок там же привязан.

Я сразу узнал автобус: «72-44». Машина Ачила. Рейсовый автобус, курсирующий по Чиланзару, обслуживает бешик-той¹ на Шофайзикулоке.

Назавтра прихожу на работу и навожу справки. Оказывается, Ачил возвратился накануне в гараж, не выполнив плана. На собрании я хорошенько отделал его. Кончилось выговором.

* * *

Работаю я там, работаю — и опять новость. Вызывает меня к себе наш начальник Ибодов.

— Асадджан, — говорит он, и вид у него при этом загадочный. — Есть одно предложение...

— Опять в сторожа?

— Э, ну зачем же старое поминать? — смущается начальник. — Совсем напротив...

Помолчал, подумал немного Ибодов, затем спросил вкрадчиво:

— Вы, конечно, знакомы с Кадыром-ака?

— Это с которым же? С председателем профкома?

— Молодец, Асадджан, угадали. Так вот, Кадыр-ака скоро уходит на пенсию. А на носу профсоюзное собрание, необходимо выдвинуть нового председателя. Мы тут посоветовались и пришли к решению выдвинуть на эту должность вас.

— Может быть, я не справляюсь со своей работой бригадира?

— Да нет же! — энергично возразил Ибодов. — Поймите нас правильно. Мы прикинули, и оказалось, что никого более подходящего на должность председателя не нашлось. Вы молоды, полны энергии, работник деятельный и расторопный. Пользуетесь заслуженным уважением в коллективе. Все знают, что человек вы честный и правдивый, да к тому же еще чуткий и заботливый, всегда защищаете интересы наших людей, не жалеете времени... Одним словом, эта должность будто создана точно для вас.

¹ Б е ш и к - т о й — «праздник колыбели» — торжество в честь рождения ребенка.

А вы — для нее. Я думаю, что на этой ответственной профсоюзной работе вы проявите все свои способности...

Так вот и повернулось — не прошло и двух месяцев, как избрали меня председателем профкома. Оказалось, что и в этой новой для меня работе много своих забот и сложностей. Такие обязанности, как распределение путевок в санатории и дома отдыха, материальная помощь работникам, имеющим большие семьи, на первый взгляд кажутся не столь уж трудными, но на деле отнимают очень много времени. Приходится ломать голову над всем: и что подарить на свадебное торжество, и что написать на траурном венке.

На собраниях меня теперь сажали в президиум рядом с начальством.

Да, теперешнее мое положение и то, что было раньше,— это как небо и земля. Когда я вспоминаю себя прежнего, такое возникает ощущение, будто ломит в костях. Неужели это я, я бездарно провел столько лет, прячась в дупле? Неужели это правда? Разве не мог еще раньше разорвать пути проклятой нерешительности, раньше понять, что в жизни нужно уметь защитить себя, нужны кулаки... Быть может, в этом случае моя теперешняя жизнь была бы еще прекраснее? Я уверен, что тогда Самаду не удалось бы подцепить Акиду... Акида... Такая прелестная, такая светлая девушка... До сих пор не могу забыть, как она защитила меня, как сказала: «Асад — благородный парень. Просто его нужно понять...»

* * *

Время шло, и вот однажды Ибодов пригласил меня к себе и объявил:

— Асад Ахрарович, знаете, мы должны соревноваться с седьмой базой. Завтра от них прибудет бригада взаимопроверки.

— Прекрасно. Пусть приезжают — у нас все вроде бы в порядке, — спокойно ответил я.

— Только нехорошо, я думаю, отпустить их без угощения. Надо бы встретить, как говорится, хлебом-солью... Ну, не встретить, конечно, — проводить...

Я понял намек и пожал плечами — такое мне было впервой.

— Соберем по трешке. Я думаю, товарищи не будут против. Гостей ожидается примерно десять человек. От наших тоже будет столько. Конечно, без угощения при-

личного никак не обойтись... Понадобится рублей триста, не меньше.

— Триста?!

— Ну конечно! Да вы просто еще не в курсе... Но я не о том. Триста рублей придется собирать со ста человек. Это незаконно. Если наверху узнают, и вам и мне несдобровать.

— Триста рублей — деньги разве маленькие? На такую сумму можно накормить весь коллектив. На плов для десяти человек уйдет самое большее тридцать рублей. Давайте я сам заплачу.

— Что, разве деньгам тесно в вашем кармане? Не лежится им там? — Начальник подошел ко мне поближе, заговорил тише: — Асад Ахрарович, вы ведь неженатый джигит, у вас еще свадьба впереди, а это — забыли разве? — какие расходы! Если в кармане найдется лишнее, наверное, вам не повредит.

— Я думаю, уж лучше совсем тогда отменить это угощение.

— Ни в коем случае нельзя, что вы, ославят нас! Хочешь не хочешь — приходится поддерживать свой авторитет.

— Так что же прикажете делать?

— Есть один вариант... — тоном заговорщика объяснил Ибодов. — Поступим так. Вы через профком окажете материальную помощь карбюраторщику Халикову, вулканизатору Сафарову и механику Юсупову. Скажите, чтобы они обратились к вам с заявлениями, выделите им по сто рублей, заставьте их расписаться в ведомости, а потом спрячьте деньги в сейф или лучше принесите их мне. Вот и все — очень просто...

Я был ошеломлен таким бесстыдством. Он ведь не мог не понимать, что я тут же легко подсчитаю: на угощение понадобится самое большее рублей пятьдесят, да и то, вероятно, все или почти все расходы будут возложены на одного из проштрафившихся и вынужденных поэтому молчать водителей, а дармовые денежки Ибодов положит в свой кошелек. Правда, еще поделится со мной...

Нахмурившись, я поднялся.

— Поймите же меня правильно... конечно, не спору, это не вполне по закону... хм... но ведь другого выхода нет... — засуетился начальник, видя мое недовольство. — Я надеюсь, это останется между нами...

Не сказав ни слова в ответ, я вышел.

Оказывается, я плохо знал нашего начальника Ибодова, — представьте, что вкус к махинациям и стяжательству завел его довольно далеко. В комитет народного контроля поступили жалобы, в связи с этим почти две недели в парке шла ревизия. Обнаружилось много неожиданного. Ибодов, пользуясь своим служебным положением, составлял фальшивые сводки и продавал налево дефицитные запчасти, брал взятки с водителей при распределении новых автобусов. Когда ревизия закончилась, приехал представитель из министерства, устроили собрание коллектива автобазы. Ибодову тоже пришлось принять участие. Сначала люди как-то жались, никто не хотел выступать первым. Тогда вышел я и рассказал всем о махинации, которую предлагал мне наш начальник перед приездом комиссии с соседней автобазы. А уж за моим выступлением будто плотину прорвало — пошли открывать товарищи мои, что долго держали на сердце. Ибодов затрепыхался, как связанная по ногам курица, пытался объявить все клеветой, да не вышло у него. В конце собрания взял слово представитель министерства и подтвердил правильность обвинений, выдвинутых рабочими, сослался на материалы ревизии. Затем прочитал приказ: Ибодова от занимаемой должности отстраняли, дело передавали в суд. Что тут поднялось! В ладоши хлопали, кричали наперебой: «Подделом ему!», «Хапуга!», «Давно пора было!» Подняв руку, гость из министерства попросил внимания.

— Товарищи! — сказал он, когда воцарилась тишина. — Обращаемся к вам за советом. Нужно подобрать человека на должность начальника вашей автобазы. Если собрание выдвинет подходящую кандидатуру... Предложите, решим тут же на месте, назначим пока исполняющим обязанности. Прошу вас, высказывайтесь.

Зал сразу притих. Все понимали, что минута ответственная, от того, чье имя назовут сейчас, кого в руководители выдвинут, — для каждого многое будет зависеть. Задумались все... и так ничего и не решили, ни на ком не остановились. Представитель министерства сказал: раз такое дело — через неделю снова соберем собрание, а пока, мол, прикиньте у себя в коллективе, и мы тоже в министерстве об этом подумаем.

Попрощался с нами, уехал.

Прошла неделя, опять созвали нас, и снова приехали — на этот раз двое — из министерства. Одного-то мы уже

знали, а про второго — раньше его никто не видел — мы решили, что это, видно, и есть наш новый начальник.

Открыли собрание. Представитель встал и обратился к залу:

— Товарищи, мы в общем-то знали, как закончится ваше прежнее собрание, знали, что Ибодова придется снять с работы — ревизия показала, чего он стоит. Поэтому мы, естественно, подумали о том, кого назначить сюда, и пришли к определенному выводу. Но прежде все же хотелось бы посоветоваться с вами, услышать ваше мнение. Если кандидатура, которую мы сейчас вам назовем, не придется вам по душе, вызовет возражения, мы в министерстве подумаем еще.— Представитель шепотом спросил что-то у сидящего рядом с ним человека, тот кивнул в знак согласия.— Товарищ, которого я хотел назвать,— сказал представитель,— работает среди вас. Все вы его хорошо знаете, все его уважаете. Работает он прекрасно, жалоб на него никогда не бывало...

— Кто это? Кто такой! — раздались голоса.

— Асад Ахраров — наша кандидатура,— объявил гость.

В зале моментально стихло. А у меня оборвалось сердце, ухнуло куда-то вниз...

И вдруг товарищи мои, сидящие вокруг меня, громко зааплодировали, зал подхватил.

Мне дали слово. У меня ком подступил к горлу, от волнения на глазах выступили слезы... Куда там речь произносить, я и единого слова не способен был сейчас выдать из себя. Кое-как справившись с собой, насилию я выговорил «спасибо», и в зале снова захлопали и слышались возгласы одобрения.

Потом начались поздравления: одни, обняв, целовали меня, другие пожимали руку; одним словом, люди рады были моему выдвижению и старались подбодрить меня.

Вот потому-то я и считаю двадцатое апреля вторым днем своего рождения, ничуть не менее настоящим, чем первый.

* * *

Прошло время.

Был конец лета. День выдался прохладный, я в прекрасном настроении сидел у себя в кабинете и занимался текущими делами. Заглянула секретарша и сообщила, что пришли из редакции газеты, хотят встретиться со мной. Поскольку наша автобаза считалась передовой, одной из

лучших во всем управлении, меня нисколько не удивил визит корреспондента.

— Скажите, пусть заходит, — распорядился я, и секретарша исчезла.

В дверях появилась красивая девушка. Сердце мое рванулось и гулко застучало: это была Акида. Узнав меня, она застыла на пороге, изумленная не меньше моего. Я двинулся ей навстречу. Акида выглядела растерянной, молча продолжала держаться за ручку двери.

— Здравствуйте, Акида, входите, пожалуйста...

Она протянула мне руку, и я впервые в жизни коснулся ее пальцев. И вообще впервые в жизни держал в своей девичью руку.

— Вот уж никак не думала, что встречу вас в таком кабинете...

— Да и я не ожидал увидеть вас здесь. Прошу вас, садитесь.

Акида присела на диван, натянула подол на колени.

Выглянув в приемную, я приказал секретарше никого ко мне не впускать и не соединять по телефону — предстоит серьезная беседа с корреспондентом. Пододвинул к дивану стул, сел напротив Акиды, — она тихонечко усмехнулась, покачала головой.

— Кто бы мог подумать несколько лет назад, что соберусь писать о вас очерк?.. Мне назвали знакомую фамилию, но и в голову не могло прийти, что увижу именно вас...

— Как ваши дела? После института — сразу в газету?

— Да. Вот уже второй год...

— Отлично. Получается? Довольны?

— Кажется, да... — Акида засмеялась.

— А как вообще?.. Семей не обзавелись еще?

— Нет...

У меня словно камень с души свалился.

— Что Самад? Не встречаете его? — неуклюже стал выведывать я.

— Да... иногда...

— Прекрасно... — поспешил я выразить радость, хоть радости совсем не почувствовал.

Акида быстро взглянула на меня, но добавить ничего не решилась.

— Прекрасно, — снова повторил я. — Счастливчик, вечно ему везет.

Акида принужденно улыбнулась.

— А сами-то вы как? — наконец заговорила она.

Я понял тонкость вопроса: если просто «как вы?» — это может быть интерес к работе или, скажем, забота о здоровье... но «а сами-то» — привязывало наш разговор к предыдущему, означало продолжение все той же деликатной темы — насчет семьи.

— Да так же, как и вы, — прямо ответил я.

Акида смотрела на меня пытливо, очень серьезно и, кажется, ждала продолжения.

— Была одна девушка... — решился я. — Знал ее с детства... Я любил ее. А она как-то сказала своим подружкам, я слышал это сам: «Асад — благородный парень. Просто его нужно понять...» Но я был тогда размазней. Все свои чувства держал при себе, пуще всего на свете боялся проявить их, не мог подойти к девушке. Потом-то я понял, что потерял самое ценное, самое лучшее, что встретил в своей жизни.

Акида слушала меня, прикрыв печально глаза, и не проронила ни слова. Когда я умолк, подарила мне долгий затуманенный взгляд и грустно улыбнулась:

— Кто же эта девушка?

— Ее зовут Акида, — серьезно проговорил я.

Прекрасные ее глаза широко распахнулись и заблестели, влажные губы приоткрылись...

И тут вдруг настойчиво зазвонил телефон.

— Да! Слушаю! — энергично ответил я. — Кто? Да ну! — я тут же забыл об Акиде и снова был директором автохозяйства. — Когда? Сколько? Увезли в больницу? Так ему и надо, поделом!.. И сам хорош — давно по тебе решетка плачет, осел несчастный! Что значит — не виноват?! Какое мне дело, на ком вина — на нем или на тебе?! Сколько раз надо тебя выручать?! Что? Отвечать кто будет? Ты сам, конечно... Раз составили протокол — все!..

С силой опустив трубку на рычаг, я несколько мгновений приходил в себя. Акида сидела застывшая. В одно мгновение от печальной ее прелести не осталось и следа. Я тут же сообразил, в чем дело...

— Акида... Что-то не так? — спросил я.

Она молча, не сводя с меня внимательного взгляда, поднялась с дивана и шагнула к двери. На прощанье насмешливо улыбнулась:

— Какая жалость... Тот Асад, которого я знала когда-то, был совсем другим человеком.

Она быстро вышла из кабинета, а я так и остался стоять, и неприятное сосущее чувство потери, разочарования и обиды росло в душе.

Не успел растаять под неярким зимним солнышком выпавший на той неделе снег, как снова посыпались белые хлопья. Похолодало, наст под ветром затвердел — лом не проваливался. Прутья могильных оград будто вспухли, облепленные снегом, налились, словно стебли перестоялой кукурузы. Тополь у выкрашенной в голубое террасы дома нахохлился, побелел — сделался похожим на фотографический негатив.

Одинокий домик под топодем, беспечно обернувшийся к кладбищу слепой, без окон, задней стеной, принадлежит Закиру-могильщику. Прозрачный слабый дымок над трубой, словно не зная, куда плыть в безветренном сейчас небе, тихо расплывается, тает в морозном воздухе.

Этот, теперешний дом с железной кровлей Закир поставил недавно. Раньше на его месте был старый — в одно оконце, под глиняной крышей, — и вокруг весной буйно расцветали маки. В том домике под старой шелковицей даже летом бывало темновато: рассыплется с подноса урюк — половины не доищешься, лишь до утра сквозь тонкую курпачу чувствуешь под боком твердые косточки.

Зеби-хола, покойная жена Закира-могильщика, бывало, и летом не убирала танчу — столик над жаровней, покрытый одеялом, — возле него можно было согреться, прятала до холодов лишь одеяла — курпачи, а на столик — танчу стелила скатерть, и ребятишки делали здесь уроки. Пятидесятые годы... жизнь еще тяжелая была, на двух девочек — одна пара галош: в первую смену в них идет в школу старшая, во вторую — младшая. Платье старшая, Салима, носила до тех пор, пока длинный рукав не делался коротким, до локтя; потом платье отдавали младшей, Халиме.

Зеби-хола частенько навевывалась на базар, но не ради спекуляции какой или другой, темного происхождения выгоды — нет: по праздникам и еще в поминальные дни, в четверг, люди приносили и оставляли у ворот кладбища узелки с лепешками, сладостями, чашки с пловом или сумалаком — традиционным весенним блюдом из проросшей пшеницы и муки. Большая часть приносивших так и оставляла здесь свою посуду. Зеби-хола выжидала некоторое время и, если хозяин чашки не объявлялся, хорошенько отмывала ее с золой и потом несла вместе с осталь-

ными такими же на базар, по дешевке отдавала скупщику, на вырученные же деньги покупала то мыло, то веник, то иную нужную в хозяйстве вещь. При этом она никогда не забывала о гостинце для детей — приносила сушеный урюк, или жевательную смолу — сакич, или леденцовых петушков на палочке. Ребятишки прыгали от радости, шумно радовались, ничуть не обращая внимания на долетавшие из-за стены их дома горестные вопли: «Ой, мама!», «Ой, папа!» — и похоронные причитания. Плач за домом, на кладбище, был для них привычным, и с ранних лет они научились не бояться кладбища. Бегали вокруг могил наперегонки, играли в пряталки, ловили бабочек, косили траву для коровы. Если отец забывал у вырытой могилы свой чапан, Салима без страха шла за ним, находила и приносила домой, даже если уже наступал вечер и темнело. И когда девочки в школе говорили о кладбище с суеверным страхом, Салима не понимала их боязни.

Как-то Салима вернулась из школы не одна, с подружкой. Быстро заварила чай, принесла молочные лепешки, шоколадные конфеты, сливки, нарезала дыню. Но подружка не притронулась к угощению, взяла нужный учебник и, сославшись на какую-то причину, быстро ушла.

Закир-ака увидел печальные глаза четырнадцатилетней дочери, ее взрослую задумчивость, и сердце его сжалось. Однако он ничего не сказал. Когда же из школы вернулась после второй смены младшая, Халима, спросил ее:

— Как дела в школе, доченька? У тебя есть подруги?

— Не-а,— беспечно отозвалась Халима.— Меня девочки ведьмой зовут, я одна сижу за партой — никто не хочет со мной сидеть.

Закир-ака снова почувствовал, как больно сжалось сердце.

— Почему же они тебя так зовут?

— А мы ведь на кладбище играем.

«Значит, и к Салиме в школе относятся так же,— решил Закир-ака.— А она молчит, бедная, терпит».

Наутро Закир-ака надел свою лучшую одежду и пошел в школу.

Симпатичная молодая учительница, выслушав его, сказала:

— Я позову Халиму и ее классную руководительницу, вместе и поговорим.

Оставила Закира одного в пустом классе, да так и не вернулась. Прозвенел звонок, смолкли шум и беготня в школьном коридоре. Закир-ака посидел, посидел в одиночестве, вздохнул и вернулся домой. «Да, брезгают моим занятием, — понял он. — Добро бы, сами не умирали — нет ведь, каждому в конце концов понадобится могильщик. И мужья, что обнимают вас в постели, тогда ведь не посмеют обнять, чтобы опустить тело в могилу, вот в чем штука. Вот так вот и получается: труд ишака — чистый, а сам — поганный».

Сам Закир-ака никогда не жалел, что сделался могильщиком, особенно когда увидел и понял, что работа его необходима людям в тяжелый час и правильному исполнению этой работы люди придают особое значение. Только теперь, после того как Салима чуть не плача ушла в свою комнату, обиженная высокомерностью подруги, а сам он зря потратил время на ожидание классной руководительницы, не сразу сообразив, что та попросту избегает встречи, — только теперь Закир-ака впервые пожалел о том, что стал могильщиком. «Люди сторонятся меня, — думал он. — Случилась у кого беда — спешат с просьбой, а потом забывают пригласить на свадьбу. И соседи мои — не как соседи: на улице обходят, вот и детей моих обходить стали. Ладно уж я, но дети-то при чем? И для этих людей, когда они теряют близких, в палящий зной, в зимнюю стужу я рою могилы, поднимаю мертвые тела и, невольно прижимая к себе, опускаю осторожно в могилу... А моим детям из-за меня приходится плакать! Нет уж, по мне — так хоть валяйтесь на улице мертвые, обойдетесь без меня!»

Закир-ака отправился в свою похоронную контору, сослался на ревматизм и попросил освободить его от работы. Но там, в конторе, его пристыдили, упрекнули, отговорили, упростили... Закир-ака съежился, перестал спорить и вернулся домой.

Вскоре после окончания войны в здешней чайхане появился парень в шинели, одинокий и бесприютный. Идти ему было, как видно, некуда, он тут же, в чайхане, и ночевал, помогал чайханщику — колол дрова, носил воду.

Через небольшое время с ним завел разговор Кабул-ака, человек лет пятидесяти, с изжелта-бледным лицом.

— Я вижу, вы человек одинокий, — сказал Кабул-

ака.— А у меня во дворе комната пустует. Если хотите — живите. Чего вам мыкаться в чайхане?

Закир поразмышлял недолго и пошел. Он понимал, что Кабул-ака, человек уже немолодой, ищет помощника.

— Кто-то знает заговор от болезней и лечит, кто-то обмывает усопшего, а еще кто-то роет могилы,— говорил Кабул-ака, протягивая гостю пиалу с чаем.— Доброе дело, угодное богу. Каждому суждено умереть в свой срок, и нас кто-то хоронить будет. Брезговать работой на кладбище нехорошо, браток. Ну и к тому ж какой-никакой, а доход — деньги никогда не помешают. И у вас ведь, наверное, какие-то мечты.

Вначале Закир боялся покойников, рыл могилу — руки дрожали, не отставал от Кабула-ака и на несколько шагов, и вообще без него не ходил на кладбище. Ученик и мастер все делали вместе. Но прошло время, и Кабул-ака начал ссылаться на болезни: то ревматизм замучил, то баня расслабила... в общем, постепенно дело Кабула-ака перешло к Закиру. Но прежде, недели через две после переезда Закира в его дом, Кабул-ака позвал муллу, тот прочитал молитву, и таким образом мастер выдал за помощника свою дочь Зеби, красивую, недавно достигшую совершеннолетия девушку. Свадебный той устраивать не стали: Кабул-ака знал, что на свадьбу в дом могильщика никто не придет. И еще он знал, что никто не станет свататься к его красивой дочери, потому и женил на ней, долго не раздумывая, своего молодого помощника. Как оказалось, к счастью.

Послевоенные годы были нелегкими, недоедание и тяжелый труд рано старили людей; ослабевшие, они плохо справлялись с хворями — работы на кладбище хватало. Закир с утра до вечера рыл могилы, потом возвращался домой к молодой жене и, усталый, спал крепко и без прежних тревожных сновидений.

Когда трудишься не разгибая спины, бояться некогда, и он перестал бояться кладбища и своей работы.

Шло время. В доме зазвенел голос младенца. Потом друг за другом умерли Кабул-ака и его жена, мать Зеби. Закир сам похоронил их, исполнил все обряды, прочитал положенную обычаем заупокойную молитву.

Теперь он был старшим в семье.

Когда Салиме исполнилось два годика, жена подарила ему еще девочку, ее назвали Халимой. Третьим родился мальчик — Эргаш.

Вот и все главные события в жизни семьи.

Катились годы, Закир-ака потихоньку старел.

Изменилась жизнь, изменилось само время, люди узнали достаток. Похороны постепенно сделались богатыми, торжественными. Теперь каждый мог установить на могилу близкого человека мраморную плиту. Вошло в обычай «не обидеть» могильщика, «угодить», «умаслить» служителя кладбища, как бы воздавая тем долг памяти ушедшего родственника. У одного умирал престарелый отец, у другого — маленький ребенок. Смерть оживляла, особенно у пожилых людей, религиозное чувство, заставляла забыть о скупости. Раздавленные горем люди угождали живым, причастным к обряду похорон, чтобы хоть как-то облегчить дальнейший путь дорогого, ушедшего из жизни человека, вымаливали для него место в раю на небе — и при этом не останавливались ни перед какими расходами здесь, на земле.

Кое-какие крохи от вошедших в обычай щедрот перепали и рядовому могильщику. Случалось и так, что приходили прямо к нему в дом:

«Наш дорогой, незабвенный скончался, такие хлопоты, ничего не жалели — и не помогло... Что же делать — перед смертью мы бессильны, что суждено, того не избежать... да упокой господь его душу и прими в рай!..— Потом переходили к цели посещения: — Дорогой ака, сами понимаете...— Тут рука с зажатыми в пальцах бумажками опускалась в карман Закира-ака. — Пожалуйста, выройте могилу собственными руками... и чтоб во время похорон все было бы как следует... ну вы понимаете, дорогой ака...»

«Конечно, все будет как требуется, достойно», — говорил Закир-ака. Ну, выроет он могилу поглубже — пусть утешаются люди.

У него сложилась привычка не запрашивать с пришедших к нему какую-то определенную сумму. Давали мало — он не отвергал, брал, молился за упокой души. Давали много — он возвращал лишнее; «надо совесть иметь» — так говорил сам себе.

Зарработка вполне хватало на ведение хозяйства, постепенно появились и излишки. Тогда Закир-ака разобрал старый дом и поставил на его месте новый, в три комнаты, с большой верандой. В самую лучшую, самую большую комнату думал привести невестку.

Ребятишки выросли, все трое окончили школу и пошли в институты. В учебе и при поступлении в институт им никто не помогал — влиятельных родственников и знакомых Закир-ака не имел.

Салима окончила текстильный; ее оставили в лаборатории при институте, сейчас она завершала работу над диссертацией. Халима полгода тому назад окончила фармацевтический, работала в большой аптеке на Кара-Камыше. Эргаш учился на последнем курсе железнодорожного.

Минуло два года, как умерла Зеби-хола. Семейный их склеп находился тут же, на кладбище, где работал Закир-могильщик.

Закира давно уже не трогали горькие слезы провожающих в последний путь. Но сейчас... Он сам с помощью Эргаша внес в могилу обернутое в саван тело жены, бережно уложил в нише.

Эргаш плакал, не мог остановиться. Закир молча сидел у изголовья жены, подогнув ноги в галошах, и из глаз его, давно ослепших к чужому горю, катились слезы.

Обычно человека по мусульманскому обычаю хоронят быстро, не успеешь оглянуться — уже вырос могильный холмик. Как будто, если не поторопишься, где-то там наверху захлопнутся врата рая... Однако теперь Закир-могильщик и сын его Эргаш не торопились выходить из могилы. Наконец наверху послышались беспокойные голоса. Тогда отец и сын прикрыли нишу широкими глиняными кирпичами, сделанными их же руками, поднялись из ямы и начали засыпать ее землей. Ожидавшие на перевернутом гробе муллы встали, приблизились, один за другим прочитали заупокойную; подняли в мольбе руки сидевшие вокруг могилы на корточках люди, и кладбище опустело.

Теперь, через два года по смерти Зеби, когда горе улеглось и отодвинулось, семья Закира-могильщика жила спокойно и в достатке. Закир-ака приносил в дом неплохие деньги, дочери Салима и Халима получали приличные зарплаты, на себя им хватало. Да еще и стипендия Эргаша прибавлялась.

Минувшим летом Закир-ака купил сыну на базаре подержанные «Жигули» — предмет мечтаний многих молодых парней. Эргаш теперь ездил на машине в институт, подвозил сестер с работы, а в плохую погоду, в дождь или снег, и отвозил их, ездил на базар за продуктами.

Одним словом, семья была, как говорится, без изъяна, вполне благополучная. Только... Если бы не это «только» — ничего больше не желал бы в этой жизни Закир-ака. Только не было счастья у его девочек. Никто не стучался

в двери их дома. То есть люди, конечно, приходили, и много, но лишь по делу — насчет похорон и рытья могил.

Салима и Халима, да и Эргаш — все пошли в мать, все были красивы. Девушки были белолицы, густые ресницы оттеняли большие сияющие глаза, черные брови красивой формы, прямой носик, розовые припухлые губы, благородная осанка — в общем, на сестер оборачивались на улице. Все, как говорится, было при них — только вот счастье почему-то обходило.

Не один парень потерял покой из-за этих девушек, многие мечтали о единственном взгляде, слове, мимолетной улыбке. Был такой Раджаб — долго, очень долго ходил за Салимой, подстерегал на улице, преследовал. Салима устала избегать... да и сердце ее, если откровенно, говорило обратное. Девушка согласилась на свидание. Сходили в кино. Встретились еще — гуляли у Анхора, сидели на скамейке. Парень попытался обнять ее, Салима уклонилась. В разговоре будто невзначай упомянула, что отец ее — могильщик. Раджаб, не раздумывая долго, дал понять, что пережитки, старые предрассудки ему безразличны и чужды, так и сказал: «Ну и что, плохого труда не бывает». Проводил Салиму до дома — она позволила, — но на другой день не появился, стал избегать встреч. Салима поняла: как Раджаб ни старался быть современным, как ни выказывал безразличие к старым понятиям, перебороть себя не мог, — ему-то лично, может, и все равно, чьим зятем стать, хоть и могильщика, да что люди скажут... А мнение окружающих Раджаба, как и каждого почти, весьма интересовало. И, поняв это, Салима решила, что никому больше не позволит играть собой, а решив, захлопнула книгу сердца и все свое время и внимание отдавала работе, научным исследованиям.

Сын Закира, Эргаш, был красив даже по сравнению с сестрами. Зеби, бедная, говорила про него когда-то: «Как бы не сглазить». Высокий, темные густые волосы, сияющие, как у сестер, глаза, гордая осанка. Самые независимые и недоступные девушки терялись, если случалось встречаться с этим парнем.

Эргаш подобно сестрам еще со школьных времен знал, что люди сторонятся семьи могильщика, поэтому никогда не старался сблизиться с кем-то, понравиться, никому не угождал и даже не заговаривал сам: спросят — ответит, молчаливым считался.

Курсом младше в его институте училась молоденькая девушка Шахло — красивая, стройная, всегда со вкусом

одетая. Дочь какого-то начальника — ее иногда привозили в институт на «Волге».

Так вот, красивая эта Шахло давно засматривалась на Эргаша, искала повод завести более близкое знакомство. Частенько поджидала Эргаша на остановке трамвая, приветливо здоровалась, кивала, нежно улыбалась. Поднималась в тот же вагон, всем своим видом показывала — ждет, что юноша заговорит с нею. Поняв, что Эргаш не из болтливых, начинала разговор сама. И в конце концов добилась желаемого.

Как-то Шахло пожаловалась — ей не давался сложный технический курс. Эргаш предложил свою помощь, и девушка, краснея, тут же согласилась.

Договорились встретиться завтра после занятий в свободной аудитории и на том простились.

Следующего дня Шахло ждала с восторгом и мукой. Сразу после занятий побежала в аудиторию — там было пусто, в беспорядке стояли стулья.

Девушка уселась за стол, достала учебник, нашла нужную страницу, но глаза не различали строк, пальцы дрожали, горели щеки.

Когда вошел Эргаш, у нее сердце остановилось.

Эргаш заметил волнение девушки, видел ее глаза, слышал прерывающийся голос, нервное дыхание, — и его охватило чувство, похожее на страх, на смятение, на дурман...

Они позанимались немного, но проку от этого было мало, потом вышли на улицу.

Осень, прохладное синее небо без облаков, падают желтые и красные листья, промчавшиеся машины закручивают их вихрем, уносят. Солнышко еще пригревает, но в тени свежо.

Разговаривая, молодые люди не заметили, как дошли до центра города. Сели на скамейке в аллее — и тут только увидели, что уже вечер, кругом зажглись огни.

Эргаш взял руку девушки, потянул к себе: Шахло судорожно вздохнула и прижалась лицом к его щеке.

После этого они встречались каждый день. Эргаш стал наконец более разговорчивым, и, естественно, Шахло очень скоро узнала, что его отец — могильщик. Известие ошеломило ее. Однако она любила Эргаша. Когда же мать сказала ей тоном угрозы: «Другого не нашлось для тебя, кроме сына могильщика? Прикажешь нам с отцом к родственникам на кладбище ездить, так, что ли?» — девушка

растерялась. Инстинктом она чувствовала опасность и постаралась поторопить события.

Примерно через месяц после ее первого свидания с Эргашем в дом Шахло пришла Салима — сватать ее за брата. Мать девушки даже не пригласила Салиму в комнаты. Правда, пораженная красотой гостьи, она на минутку усомнилась, правильно ли поступает, отказывая, но все же высокопоставленному своему мужу ни слова не сказала о сватовстве.

Сырая стужа. Провода обросли инеем, сделались похожими на лохматые веревки.

Закир-ака с трудом закончил погребение, вернулся домой больным. Сорок лет уже, как копает он землю, сырость ее пропитала кости. Время от времени бунтует его ревматизм, тогда будто шилом пронзает, хоть ложись да помирай. Хорошо еще, помощник есть у него — Хайдарпалван, уже третий год работают вместе. Прежде Хайдарпалван рыл могилы на «Минаре», потом получил участок для дома в этом районе и перешел сюда на работу. Он, бедняга, тоже страдает ревматизмом. А у кого из могильщиков его нет? Сколько ни знает их в городе Закир-ака, все чем-нибудь да больны — работа такая. Все они не знают ни суббот, ни воскресений, у них не бывает отпусков. Сколько могил вырыл за сорок лет Закир-ака — под нещадным солнцем, под проливным дождем, по пояс в глине, в сырости!.. Добро хоть, Эргаш помогал понемногу. А теперь вот на Хайдара можно надеяться — хороший человек.

В прошлом году Хайдар хотел даже породниться — попросил замолвить словечко перед младшей, Халимой, хотел высватать ее для своего сына. Закир-ака обрадовался, сказал старшей, а уж Салима поговорила с сестрой.

Однако Халима без долгих раздумий решительно отказала.

— Не пойду за сына могильщика! — так прямо и выпалила.

— Сама ты чья дочь?

— Помню чья, потому и достаточно с меня. Пусть хоть наши дети ни в чем не будут ущемлены!

— Разве не видишь, меня уже никто не сватает, — старалась убедить ее Салима. — Мое время ушло, теперь хоть ты обзаведешься семьей!

— Не хочу потом слышать упреки, — упорствовала Халима. — Уверена — когда-нибудь да придется услышать

от мужа: «Другой бы не взял тебя». Поэтому — нет. Ну их всех!

Закир-могильщик опечалился, сник. И дочь было жалко, и что сказать другу своему Хайдару — не знал.

Сейчас, усталый, промерзший, Закир-ака вошел в баньку, снял вымазанную в глине одежду, искупался в горячей воде, насухо вытерся — тело горело, переделся в чистое и отправился на кухню. Заварил чаю, выпил, потом вернулся в свою комнату и лег, укрывшись чапаном. Все же, видимо, здорово простыл — лихорадило, не было сил подняться и взять одеяло, накрыться потеплее.

В дверь постучали, послышался мужской голос, но Закир-ака не смог заставить себя встать и впустить человека, хотя понимал, что того, скорее всего, привела необходимость. Прошло несколько минут. Человек потоптался у двери, потом заглянул в окно — загоротившись ладонью от света, пытался разглядеть, есть ли кто в комнате. Впрочем, разглядеть не мог. Закир-ака не включал света, да и пар ото рта туманил стекло, однако незнакомец не уходил — видать, действительно нужда заставила.

— Заходите,— еле слышно прозвучал голос Закира-ака.

Человек вошел в комнату, огляделся:

— Могильщик — это вы, ака?

— Да.

— Дядя у нас умер,— виноватым голосом объяснил незнакомец.— Мы из махаллы Чалчик. Меня вот послали к вам... Завтра в полдень будут выносить, утром ждем сына его — служит в армии, но должен успеть, должен. Дядю нашего Сыдыком звали — вы, верно, слышали, Сыдык-мясник.

— Болен я, видите сами, жар,— пробормотал Закир-ака; он сейчас был как в тумане.— А напарника моего нет, уехал ревматизм лечить в Чартак.

— Йе! — поразился человек.— Что же теперь будет? Вынос-то в двенадцать...

— Братец, да благословит вас аллах! — Закир-ака с трудом поднял голову.— Достаньте из ниши одеяло, что-то никак я согреться не могу.

Незнакомец тут же поднялся, взял одеяло. Заботливо укрыл Закира-ака, потом присел на низенький подоконник и задумался.

Посидел, вздохнул и молча вышел.

Вечером после работы пришла Халима, измерила температуру, дала лекарство, подбросила угля в остывшую

печку, взялась готовить обед. Сварила рисовый суп с острой приправой — маству, накормила отца.

Потом Закир-ака задремал.

Проснулся — увидел сидящего рядом сына, в руках книга. Эргаш наклонился к нему:

— Как себя чувствуете, папа? — Помог отцу подняться, проводил до туалета, принес в кувшинчике теплую воду, полил на руки, протянул полотенце. Довел до дома, уложил.

— Эргаш,— сказал могильщик.— Сыдык-мясник ушел из этого мира. Семья из махаллы Чалчик, склеп их за белой решеткой. Со мной сам видишь что. И Хайдара нет. Обязанность наша такая, кроме нас некому больше сделать. Надо место подготовить, сынок. Ты уж займись, а утром я сам как-нибудь...

— Вы же еле на ногах держитесь!

— Что же делать, сынок. Долг наш... Подготовь место, сынок...

Эргаш знал, что означает «подготовить место». Сейчас он пойдет в хлев, возьмет пять-шесть припасенных заранее чурбаков, отнесет их туда, где предстоит рыть могилу, обложит щепой, обольет керосином и подожжет. Промерзшая земля до утра должна оттаять под костром, и тогда можно будет выкопать яму.

Закир-могильщик проснулся в тревоге. Глянул за окно — там сверкал под солнцем свежевывапавший снег, слепил газа. Посмотрел на часы — уже десять. Испугался: как же?! Если вынос в полдень, когда же он успеет вырыть могилу?! Сил-то нет. Ноги-руки дрожат, и кружится голова. Но что же остается делать? Покойник ждать не будет.

На столе был приготовлен завтрак, чайник с горячим чаем ждал, укрытый.

Аппетита не было, но могильщик заставил себя поесть — иначе лопату не подыметь. Напившись чаю, вроде пришел в себя.

Надо было торопиться.

Он собрал все силы, вышел из дома, шурясь от снежного сверкания, и, держась за стену, добрался до баньки. Надел еще не просохший с вечера ватный халат, крепко повязал пояс платком. Взял деревянную лопату, кетмень и, преодолевая слабость, двинулся к кладбищу.

В той части кладбища, где предстояло копать, в по-

следние дни никого не хоронили, туда и дорожки протоптано не было — лишь следы Эргаша отпечатались на снегу.

Стараясь попасть в след сына, Закир-ака, пошатываясь, брел в сторону семейного склепа Сыдыка-мясника.

Со вчерашнего еще похолодало, усы могильщика покрылись инеем, жгло лицо.

Но надо, надо спешить! Хорошо, он вчера предупредил Эргаша, чтобы тот подготовил место. Но это — в последний раз. Больше он не станет просить сына, никогда — у того своя жизнь, другая, не имеющая общего с кладбищем. Его сын не должен быть могильщиком. Как тяжело идти... но надо, надо!

Закир-ака приблизился наконец к склепу и опешил.

Словно гора свалилась с плеч, отпустила тревога.

Могила была приготовлена. От вынутой свежей земли поднимался парок.

Это Эргаш!

Закир-ака без сил опустился на корточки. Надо было передохнуть.

Скоро опять предстоит работа.

ОЧЕРЕДНОЕ УСЛОВИЕ

Ислам был в своей семье младшим из детей и при этом единственным сыном. Три его старшие сестры сейчас выда ны уже были замуж и обзавелись кучей ребятишек. Сам он учился в аспирантуре, семья поддерживала его. Уже были утверждены сроки защиты, уже дел накопилось невпроворот, каждая минута на счету, и уже виден был конец. Скоро, скоро он станет на ноги!

И вдруг — страшное известие из родного кишлака: умер отец. Первая мысль Ислама была — а как же защита? Вторая — он ужаснулся себе, устыдился своей черствости. Однако быстро успокоил себя тем, что защита нужна ведь была не только ему. Доживи отец, приятное известие поддержало бы его и — кто знает — может быть, продлило бы его дни.

Ислам отправился в кишлак, где уже шли необходимые приготовления.

Отца похоронили, совершили все положенные обряды.

На похоронах с Исламом тепло беседовал один из руководителей района, родом из этого же кишлака. Он старался утешить молодого человека, расспрашивал об

учебе, о предстоящей защите, о жизненных планах. Звал после аспирантуры на работу в свой район, говорил о заманчивых перспективах роста. Ведь уже сейчас, объяснял Сафаров (такова была его фамилия), уже сейчас стирается разница между городом и кишлаком. И он, Ислам, станет первой ласточкой — единственным пока что в районе специалистом — кандидатом наук. Но это — пока, на первое время. Перспективы у района замечательные, и собственные кандидаты наук, понятное дело, не помешают. За Исламом потянутся и другие, и тогда район и по научным кадрам выдвинется на первое место — в области, в республике!.. Он, Сафаров, уже говорил о молодом перспективном работнике секретарю райкома, товарищу Мухсину Кабировичу, и тот отнесся положительно...

Исламу было о чем подумать. С одной стороны, он знал, что в Ташкенте работа для него найдется, не пропадет он. Но и только. Успех в научной сфере вовсе не гарантирован. Молодых талантливых ученых куда больше, чем освобождающихся мест в научных учреждениях. И даже если устроишься, сколько придется помучиться, прежде чем добьешься самой малости, вскарабкаешься на самую низенькую кочку... а дальше вилами на воде писано.

Поразмыслив так, Ислам открыл свой «дипломат», вынул два экземпляра автореферата диссертации (как знал, что понадобятся!) и один с дарственной надписью преподнес Сафарову. Насчет второго попросил:

— А этот передайте, пожалуйста, товарищу Мухсину Кабировичу.

— Нет, он как-никак первый секретарь, — сказал Сафаров, немного подумав. — Лучше будет, если вы сами преподнесете ему реферат, не то получается, что вы его не уважаете. Вас знакомили с ним?

— Виделись раза два, случайно. Так что, можно сказать, почти незнакомы... — объяснил Ислам, озадаченно пощипывая ус.

— Это ничего, вот как раз и случай познакомиться. Пойдем к нему вместе.

— Отлично, отлично... — одобрил Мухсин Кабирович, перелистывая страницы реферата. Он стоял возле своего письменного стола, так и не сев за него после взаимных приветствий. И Сафарову с Исламом сесть не предложил — они застыли навтыяжку по сторонам приставного столика с креслами, словно солдаты на часах, и не отрыва-

ли взгляд от районного начальства.— Значит, говорите, ваша работа посвящена декабристам?

— Да... совершенно верно...— Ислам, засмушавшись, погладил свой ус.

— За реферат — спасибо.— Кабиров положил отпечатанные листы на стол и протянул Исламу руку, как бы поощряя его и одновременно прощаясь.— Сейчас я вас не поздравляю,— продолжал Кабиров,— боюсь сглазить. Поздравлю после защиты.

После защиты Исламу сразу стало легче дышать, словно сбросил с плеч тяжелую надоевшую ношу.

Мысль принять предложение Сафарова и поехать работать в район все чаще приходила ему в голову. Где-то глубоко в душе он уже согласился расстаться с Ташкентом, не надеясь пробыть здесь самостоятельно, и теперь, еще не вполне отдавая себе в этом отчет, старался подыскать достаточно веские доводы, которые оправдали бы его переезд в район, то есть, говоря точнее, привели бы к обоснованному решению: он делал перед самим собой вид, что еще не знает — к какому.

«Именно сейчас самое время окунуться в гущу жизни,— внушал он себе.— Начинается школьная реформа, и такой руководитель, как я, с широким кругозором, кое-что может сделать на месте. Да, кое-какие соображения у меня уже имеются. Прежде всего я пресеку искусственное завышение отметок в школе и прочие обманы в деле повышения успеваемости — все ведь ради того делается, чтобы ходить в передовиках! Пересмотрю систему проверки письменных работ для учителей литературы — они ведь несут домой кипы тетрадей с диктантами и сочинениями и до ночи корпят над ними! Какое тут тебе повышение профессионального уровня, когда нет времени ни книгу почитать, ни газету развернуть, ни на телеэкран взглянуть! Так вот и можно остаться в стороне от всех мировых достижений и новостей. Нет, я добьюсь, чтобы в подведомственных мне школах ученики умели рисовать, играть на музыкальных инструментах, знали иностранные языки... я стану выявлять их таланты... всеми силами буду препятствовать использованию школьников на хлопке. Да я просто не имею права не вмешаться, не использовать открывающиеся возможности! А то ведь сколько развелось недоучек, непригодных к работе, и сколько еще предвидится!..»

У Ислама был друг, преподаватель медицинского института, — оба увлекались шахматами. Ислам как-то спросил у него, много ли в медицинском студентов-троечников. И какие же из них получатся врачи? Троечников хватает, ответил друг, а какие врачи — понятно какие, посредственные. «Значит, плохо придется тем больным, что попадут им в руки?» — уточнил Ислам. Друг обиделся и спросил в ответ, что выйдет из студента-троечника истфака, которого обучал преподаватель, в свою очередь учившийся в том же институте на тройки.

Но ведь это же значит красть у общества, подумал тогда Ислам, если учишься на тройки! Вот когда перепечатываешь текст на машинке и закладываешь сразу пять листов, на первом текст отпечатывается отлично, на втором — хорошо, на третьем — неважно, на четвертом — совсем плохо, а на пятом и не разберешь... Так как же можно довольствоваться лишь третьим листом?

Но как же быть с успеваемостью? Какой отметкой оценить знания ученика, которого учил вчерашний троечник, сам учившийся у такого же троечника? Ведь если бросить в чайник горсть заварки и налить кипятку — известно, получится хороший чай. Но если потом его разбавить напополам водой, а потом то, что получилось, еще разбавить, и еще?.. Что останется в чайнике от той горсти заварки?

Что же сказать об установившемся обычае завышать показатели успеваемости на один балл? Двойки становятся тройками, тройки — четверками, четверки — пятерками. И так, ради определенных, но несколько сомнительных почестей и фальшивого благополучия плохое приходится выдавать за хорошее — и это на виду у нового, только формирующего свои взгляды на жизнь молодого поколения, с его, так сказать, участием. В итоге в сознании молодого человека знак качества соседствует с представлением о девальвации, уценке принятых ценностей, в первую очередь нравственных, духовных. И получается, что вполне приемлемо назвать уголовное преступление провинностью, вину — недостатком в работе, укоренившийся недостаток — ошибкой, ошибку — недоразумением, случайностью. При этом далеко не все бывшие троечники из института остаются простыми врачами или преподавателями, нет, их встречаешь и повыше, — повсюду и на любом посту они одинаковы: им ничего не стоит единицу превратить в двойку, плохое объявить хорошим, преступление — случайной ошибкой. Вот один из них стал руководителем

солидной организации и строчит рапорты, в которых восемьдесят тонн мяса превращаются в сто тонн, пятьсот тысяч штук яиц — в шестьсот, девятьсот тысяч тонн хлопка — в миллион. Но кто проверит, взвесит, пересчитает? И главное — кто возместит? При распределении продуктов откуда доберут планирующие организации те двадцать тонн мяса, сто тысяч яиц?.. А ведь все происходит из невинного будто бы желания немножечко преувеличить достижения, из желания поскорее, хотя на бумаге, добиться... а одновременно и добиться — для себя лично.

Того работника, на груди которого блестит Золотая Звезда, мы называем Героем Труда. Значит, выпускник, окончивший школу с золотой медалью, — тоже своего рода герой. Но если этот выпускник учился просто на «хорошо»? Нередко получается так, что в интересах укрепления авторитета школы его хорошие оценки превращаются в отличные, и вот он уже медалист. Выходит, герой? А как быть с теми «героями», что превратили восемьдесят тонн мяса в сто, девятьсот тонн хлопка — в миллион? Ведь некоторые вышагивают с Золотой Звездой на груди — неужели ни стыда, ни даже неловкости не испытывают? Пусть даже окружающие и не подозревают, что они за герои, но сами-то про себя знают ведь? Не с того ли пошло дело, не с тех ли школьных отметок, когда их хорошие оценки превращались в отличные ради улучшения районных и областных показателей? Не тогда ли их приучили ходить с гордо поднятой головой, считая обман естественным состоянием? Не тогда ли они почувствовали вкус успеха, благ, добытых ценой прибавки лишь одного балла? И вот мы спокойно доверяем своих детей учительнице, закончившей курс на «удовлетворительно», которое на самом деле было «плохо». Отдаем своих больных родителей в руки не занимавшихся в институте беспомощных врачей-недоучек. Да еще и деньги им сеем.

Всего один балл...

И вот уже негодяй и преступник слывет хорошим человеком. Ну уж если белое можно назвать не совсем белым, трудно ли затем перекрестить его в черное? И наоборот?

Разве не говорили работникам школ на районных совещаниях — вы, мол, не думаете о престиже района?..

И директор втолковывал это завучу, тот — преподавателям, и вот все оценки сдвигались на балл выше.

Конечно, если бы возможность — в институты принимали бы только отличников. Да где ж их наберешь? Вот,

допустим, медицинский. Не может же он объявить: в этом, мол, году принимаем двести человек, а не пятьсот, потому как у трехсот знания слабые, учились они у безграмотных преподавателей, которые завышали им оценки. Как можно открыто признать такое! Кроме того, у института свой план, где обозначено количество поступающих, сократить его институт не имеет права. Институт должен содержать и платить зарплату неизвестно какими путями просочившимся на преподавательские должности людям, которые в свое время тоже учились на тройки. И вот эти преподаватели еще и обязаны в свою очередь обеспечить работой выпестованных ими и доведенных до совершенства коновалов собственных учеников. И пролетают на все это сотни тысяч народных рублей...

Ведь любой, хоть случайно зацепившийся за институт, будет обеспечен дипломом, потому что есть план выпуска, и его ни под каким видом не сократишь, попробуй только! Нет, выпроводят за ворота храма науки с дипломом, потому что главное — скорее подать рапорт о выпуске в вышестоящие организации. И ведь никто не может обвинить такого обладателя диплома в невежестве, даже если он сердечнику выпишет лекарство от кашля или вместо больного удалит здоровый зуб. Да, учеба на «три» — это и лечение на «три».

Конечно, думал Ислам, в жизни встречается не только плохое. Есть у нас принципиальные и чистые, ничем не запятнавшие своей репутации подлинные герои. Есть же люди, которые заботятся, поддерживают и оберегают моральный климат нашего общества, не дают ходу пройдохам, болтунам и демагогам, фальшивым ура-патриотам. Есть такие, конечно. Они не дают держать себя на поводу, их нельзя впихнуть в определенные узкие рамки и заставить отречься от истины.

Другое дело, чем это все для них кончается.

Например, один из директоров школ вдруг откажется от «показателей», заявит, что не станет завышать оценки, плохое называть хорошим, приучать к этому детей и тем разрушать их мир нравственных ценностей; признается, что он вообще не сторонник искусственного раздувания районных показателей. И что же? Его обличат в политической безграмотности, в равнодушии к интересам района. И не дай бог прозвучат эти обвинения в устах руководителей, восседающих на высоких районных кочках, — какой смельчак рискнет поставить их слова под сомнение? Отдельные голоса сочувствующих директору умолкнут, всту-

пит мощный хор подпевал-хулителей. Изрекшего крамолу заклюют, побьют, закидают камнями. Бедный директор, еле волоча ноги и втянув голову в плечи, доберется кое-как до дома и там свалится от инсульта. Скрючит ему половину тела, один глаз не будет закрываться, парализованная рука не сможет подняться... Так расправятся с тем, кто верил в идеалы и ради них готов был идти на бой. Кто следующий?..

Так думал Ислам и искренне собирался творить добро в родном своем районе, сеять разумное, доброе, вечное.

Вернувшись после защиты диссертации в кишлак, Ислам несколько дней просто отдыхал дома. Сначала он хотел было встретиться с Сафаровым сразу же по приезде, но решил подождать, проявить разумную скромность и в то же время дать почувствовать, что он вовсе не навязывается.

Когда же через несколько дней он позвонил Сафарову, тот, похоже, был ему рад.

— Я уже в курсе, — объявил Сафаров. — Собрался сам вызвать вас, хорошо, что позвонили. Значит, вас можно уже поздравить, Исламджан?

— Теперь уже можно, — Ислам вздохнул. — Отмучился.

— Поздравляю от души.

— Спасибо, Шерали Сафарович!

— Какие планы, Исламджан?

— Решил поступить по вашему совету. Потому и приехал. — Помедлив, Ислам добавил: — Ну а дальше — как вы сами сочтете нужным... что сами предложите, Шерали Сафарович.

— Об этом надо поговорить не спеша, в более подходящее время. Сейчас должен бежать... Хотя, может, вы и кстати... Мухсин Кабирович чуть приболел, я как раз собираюсь к нему. Если хотите, присоединяйтесь. Ему будет приятно, если вы сами расскажете о хороших новостях.

— Удобно ли... — засомневался Ислам. — Он ведь болен, что ж его беспокоить...

— Да какой там отдых, все равно беспокоят его. А вы приедете, он отвлечется хоть немного. Ну, что скажете?

— Чем же он болен? И неудобно ведь идти к нему с пустыми руками? Что-то надо принести?

— Ни о чем не беспокойтесь, там все есть.

— Ну раз так... Куда мне подойти, Шерали Сафарович?

— Ждите меня около своего дома, через десять минут я заеду за вами.

— Договорились.

Через полчаса машина свернула на обсаженную с двух сторон можжевельником аллею и остановилась перед ажурными металлическими воротами. Дежурный, завидев машину, скрылся в кирпичном домике-сторожке. Через небольшое время половинки ворот разъехались, открыв проезд. Недавно политая асфальтированная дорожка вела через парк — ухоженные деревья и кусты, зеленые газоны, пышные клумбы, чистота и тишина.

— Куда это мы попали, Шерали Сафарович? — изумленно спрашивал Ислам своего попутчика, меж тем как машина скользила по аллее под сплетавшимися ветвями деревьев.

— Это — совхозный сад, — ответил Сафаров с гордостью, словно показывал дело рук своих. — Останови здесь, — распорядился, обращаясь к шоферу. — Дальше пойдем пешком, тут недалеко.

И правда, вскоре аллея вывела их к мраморному бассейну, окруженному величавыми платанами. Здесь суетились одетые в белые халаты люди, готовившие дастархан. В нос ударило сложной смесью аппетитнейших ароматов, над мангалом курился душистый дымок — казалось, даже воздух здесь пропитан запахом застолья и сытости.

Обслуживающие в белых халатах один за другим почтительно приблизились сначала к Сафарову, потом к Исламу и обстоятельно исполнили ритуал традиционного приветствия. Те же, что не могли набраться смелости и подойти к гостям, прижав руки к груди, почтительно улыбались издали. Исламу даже показалось было, что не почтительно, а заискивающе. Подошедшие к ним здороваться ретировались, снова засуетились вокруг мангала. Возле гостей остался лишь один человек, толстяк в желтой рубашке и капроновой шляпе с дырочками, похоже, из здешних администраторов. Руки по швам, сам вытянут — вроде готов отдать честь. Живот подобрал.

— Как Мухсин Кабирович? — спросил у него Сафаров.

— Неплохо, — поспешно ответил человек в шляпе и, видимо тут же усомнившись, так ли доложил, неуклюже топтался на месте, словно обувь была ему тесна. — Сейчас его осматривали доктора.

— Он в беседке?

— Нет, они, наверное, внутри. К ним только что прошла массажистка.— Тут в глазах толстяка мелькнуло нечто загадочное; впрочем, он сейчас же опустил взгляд.

— Хорошо, тогда мы подождем его в беседке,— решил Сафаров и кивнул Исламу: за мной. На ходу, не оборачиваясь, бросил: — Пусть нам принесут чаю.

— Будет исполнено!

Ажурная светлая беседка была поднята над землей; они взошли по ступенькам, и тут Ислам увидел невдалеке красивый двухэтажный особняк, облицованный мраморной крошкой; в окнах виднелись кондиционеры. Перед зданием был разбит цветник. Тишину нарушало лишь пение птиц.

Сафаров и Ислам уселись в беседке в бархатные кресла. Пол был застлан богатыми коврами. С трех сторон беседка была открыта, и сквозь колышущиеся на ветерке прозрачные шторы виднелись зеленые кроны деревьев, газоны. У глухой стены стоял застекленный буфет с рюмками и фужерами, финский холодильник и японский телевизор. На шахматном столике в беспорядке разбросаны фигуры. Посреди беседки — обеденный стол, накрыта марлей ваза с фруктами. Чуть поодаль, в той части беседки, куда не доставали лучи солнца, помещалась деревянная кровать, поверх примятого одеяла лежали очки и развернутая газета. Очки с сильно увеличивающими стеклами удивили Ислама,— руководителю, на его взгляд, было в пределах сорока пяти.

Толстяк в шляпе принес чайнички с чаем, разлил по пиалам. Откинул марлю на вазе с фруктами.

— Как только выйдет массажистка, так они сразу и спустятся,— объявил, предугадав вопрос Сафарова.— Уже и обедать пора. Вы, пожалуйста, еще немножко посидите. Прошу меня простить, мне надо к людям: за ними глаз да глаз...

— Конечно, конечно...— кивнул Сафаров.— Раз неотложные дела... Только включите нам телевизор, посмотрим пока что-нибудь.

— Больше никто не должен приехать? — спросил человек в шляпе, включая телевизор.

— Не знаю,— Сафаров пожал плечами.— А что?

— На сколько персон накрывать стол?..

— Нет, не знаю. Может, кто из его домашних...

— Сестрица уже приезжали утром и уехали.

— Видимо, надо как-то сообщить ему, что мы здесь?

— Они уже осведомлены,— направляясь к выходу из беседки, объяснил толстяк.— Сторож-то сразу звонит им, если кто подъезжает. Без разрешения хозяина ворот не открываем.

Сафаров кивнул: знаю, мол.

Ислам же подивился здешним порядкам; он только теперь сообразил, для чего сторож у ворот при их появлении срочно побежал в домик,— оказывается, звонить.

Но вот наконец за листвою деревьев на мраморных ступеньках перед особняком появилась женщина, молодая и привлекательной внешности. Оглянулась назад, в особняк, пригладила растрепавшиеся волосы, застегнула пуговицы на белом халатике и, вынув из кармашка зеркальце, поправила косметику; затем, придав лицу выражение строгости, уверенной походкой спустилась по ступенькам и исчезла за деревьями.

Ислам невольно глянул на Сафарова, но тот устался в телевизор и даже головы не повернул в сторону особняка.

Прошло минут десять.

Снова появился человек в шляпе, принес ворох серебряных ножей, вилок и ложек, бумажные салфетки.

— Не скучаете, гости? Может, свежего чаю, домла?

Ислам, к которому он обращался, только рукой махнул:

— Спасибо, есть... Еще горячий.

— Чутьочку еще подождите,— говорил толстяк, переставляя вазу с фруктами и раскладывая приборы.— У хозяина это в обычае — после массажа они должны передохнуть полчаса. Так, оказывается, положено — доктора велют.

Прошло еще минут двадцать. По телевизору шел урок испанского языка. Ислам уже устал и начал нервничать. Однако Сафаров не двигался и молчал, уставившись на экран, и у Ислама не хватило духу завести с ним разговор.

И вот наконец-то показался Кабилов. В песочного цвета чапане поверх дорогой пижамы. Задержался на ступеньках, пригладил волосы. Высоко держа голову, стал спускаться вниз.

Сафаров тотчас же выключил телевизор, кивнул Исламу: поднимайся. Вдвоем они поспешили навстречу Кабилову и почтительно приветствовали его.

Глаза у Кабилова были тускловатые, усталые.

Сначала он обратился было к Исламу, но заметив, что молодой кандидат — в джинсах, отвернулся от него, недовольно-укоризненно взглянул на стоящего с протянутой рукой Сафарова и поздоровался с ним. После традици-

онных расспросов о делах и здоровье Кабилов первым двинулся ко входу в беседку. Ислам и Сафаров последовали за ним.

— Ну, как дела? — усевшись в бархатное кресло, обратился Кабилов к Исламу. — Защитились уже, слышал, слышал. Что ж, можно поздравить, — бесстрастно заключил он.

— Благодарю вас, Мухсин Кабилович.

— Присаживайтесь.

Ислам и Сафаров сели.

Кабилов снова посмотрел на джинсы Ислама.

Тот решил нарушить неловкое молчание:

— Оказывается, вы не совсем здоровы, Мухсин Кабилович. Простите... мы... я...

— Да, — перебил его Кабилов, не слушая дальше. — Если сейчас немного себя не подремонтируем, потом руки не дойдут — начнется хлопковая кампания. Сейчас хлопок цветет, потому никак не могу бросить район и отбыть на курорт.

— Понимаю... — вставил Ислам, когда Кабилов остановился, чтобы передохнуть.

— ...Давление, голова покруживается, глаза устают.

— Но сейчас вам уже лучше, Мухсин Кабилович?

— Да, снизили давление.

В это время вблизи, у ступенек, ведущих в беседку, появился толстяк в шляпе и с ним еще молодой джигит. В руках оба держали накрытые марлей подносы, выжидательно смотрели на Кабилова. Тот кивнул, и через минуту стол был уставлен блюдами с угощением.

После шурпы, шашлыка и плова беседа возобновилась. Потом Кабилов зевнул.

— Мы, наверное, немножко утомили вас, Мухсин Кабилович? — осторожно спросил Ислам. — Может, мы не будем мешать, дадим вам отдохнуть?

— Нет... — Кабилов потер руками глаза. — Оказывается, для привыкшего к работе лежание утомительно.

— Конечно, конечно...

— Как вы в шахматах? — обратился Кабилов к Исламу. — Сильны, а? Шерали Сафарович, как нам известно, не играет.

— Играю немножко... как все... — осторожно ответил Ислам, хотя шахматы любил и играл хорошо. — Фигуры переставляю. Вряд ли вам будет интересен такой противник.

— Ну, ну, не робейте. Перейдем-ка туда... — Кабилов

поднялся и сел к шахматному столику.— Я ведь тоже не чемпион. А вы, Шерали Сафарович, нас извините, придется вам потерпеть...— Кабиров принялся расставлять фигуры.

— Обо мне не беспокойтесь, пожалуйста,— поспешно ответил Сафаров.— Зато болельщик из меня, надеюсь, неплохой получится.

Вскоре после начала партии Ислам получил сильную позицию. Однако он тут же пристыдил себя: что ж это он — собирается поставить мат больному человеку, да не простому, а самому руководителю района! Ислам принялся делать ошибки, и партия завершилась ничьей. Войдя в азарт, ободренный, Кабиров настаивал: сыграем еще! Вторая партия длилась дольше. Ислам старался показать, что добивается только победы, но незаметно для противника довольно искусно подвел его к выигрышу. Кабиров был вполне удовлетворен. Ислам взглянул на Сафарова и понял, что самым большим страдальцем тут был он. И правда, Сафаров весь извелся, опасаясь, что Ислам по молодости и неопытности выиграет у руководства; в таком случае Кабиров был бы поставлен в весьма неловкое положение и ситуация создалась бы неприятная, даже опасная. При первых же ходах Ислама Сафаров, сам неплохой шахматист, сразу признал сильного игрока; он достаточно хорошо разбирался в шахматах, чтобы увидеть, как получились ничья в первой партии и проигрыш Ислама во второй. Довольный тем, что его протееже проявил догадливость и находчивость, он радовался куда больше, чем если бы выиграл в шахматы сам.

— Ура! — бодро вскричал он и бросился жать начальству руку.— Ну и ходы у вас, Мухсин Кабирович!

— Исламджан, оказывается, тоже недурно играет,— снизошел до похвалы Кабиров.— Правда, в первой партии увлекся нападением, ослабил защиту, а ведь выигрышная была позиция.

— Ну уж и выигрышная...— Ислам решил еще подзадорить Кабирова.— Разве вы бы допустили! Нет, вы замечательный игрок — убедился, признаюсь!

— Мухсин Кабирович, вам нельзя утомляться,— заботливо произнес Сафаров и, как бы подводя итоги, добавил: — Отдыхать, отдыхать!

— Так? Ну что ж, тогда ладно,— Кабиров поднялся из-за шахматного столика.

Возвращались в молчании.

Когда машина остановилась возле дома Ислама, Сафаров вышел.

— Прошу к нам...— смущенно предложил Ислам; ему было неловко, что не догадался пригласить раньше.

— В другой раз.— Сафаров помолчал. Видно было, что-то обдумывает.— Исламджан,— наконец заговорил он,— сегодня Мухсин Кабирович почему-то ни слова не сказал о вашем назначении. Однако, думаю, разговор об этом все же состоится. Через неделю-две он выйдет на работу, тогда все и выясним. Конечно, вопрос ответственный, может быть, он хочет обсудить его со мной. Во всяком случае, долго ждать не придется. Как только мы придем к какому-то решению, я вам сразу же позвоню, разыщу вас. А пока отдыхайте. Ваша матушка соскучилась, конечно, по вас — побудьте с ней, утешьте, душевно поддержите, пусть у нее поднимется настроение. Особенно сейчас, после потери вашего отца, она нуждается в сочувствии и поддержке.

— Да, конечно, Шерали Сафарович.

— Ну, будьте здоровы,— Сафаров протянул руку, прощаясь.— Да, между прочим... Как бы вам получше объяснить... Не хочу, чтобы вы поняли меня неправильно.

— Что вы, что вы...— забеспокоился Ислам.— Говорите, я пойму.

— Я — от доброго сердца, Исламджан. Как бы выразиться получше... Знаете, Мухсин Кабирович молодых людей с усами не очень... не того...

— Не одобряет, да? Так я понял?

— Да, да, молодец, именно так! — Сафаров вздохнул с облегчением.— Остальное вы уж сами сообразите...

— Видите ли... у меня шрам над верхней губой...— огорченно объяснил Ислам.— Упал, еще мальчишкой. Чтобы скрыть, отпустил усы.

— Исламджан...— чуть ли не жалобно протянул Сафаров.— По мне — хоть бороду отпускайте, что за дело? Но... Мухсин Кабирович, он с норовом. Поэтому я и счел необходимым объяснить вам, братец... Конечно, вам самому виднее, как поступить.

После этого разговора от Сафарова десять дней не было вестей. Ислам извелся, ожидая, думал, что его облик не пришелся по нраву Кабирову, что, вероятно, нужно

решиться на возвращение в Ташкент и устраиваться там, пробиваться по научной линии.

Но однажды раздался звонок. Ислам схватил трубку, узнал голос Сафарова.

— Хорошо, конечно... — только и отвечал он своему наставнику. Сердце его прыгало от радости. — Спасибо вам огромное! Сам примет? Спасибо! Да, понял, через час... В районо? Да, слушаю. Брюки? Понял, понял, хорошо, Шерали Сафарович.

Бросив трубку, Ислам, совершенно обессиленный, опустил на стул. Посидев немного, дав сердцу успокоиться, он поднялся и побрел на кухню. Захватив чайник с горячей водой, подошел к зеркалу, взбил мыльную пену и взялся за бритву. Потом умылся, переоделся у себя в комнате. Собрал брошюры со своим рефератом о декабристах, убрал в ящик стола. Погляделся в зеркало. Над верхней губой выделялся маленький шрам, краснел на белой, незагоревшей коже. «В тот, первый день я поддался в шахматах, — размышлял Ислам, машинально поглаживая верхнюю губу: кожа, много лет не знавшая бритвы, казалась нежной, а рука по сравнению с ней — задубелой. — Теперь сбрил усы. Сменил штаны. Все ради того, чтобы скорее начать делать дело. Но интересно, что будет дальше, какое условие следующее, очередное? Начальство-то с норовом... Придется, видно, каждый раз спрашивать — что надевать, на ком жениться, с кем общаться, с кем не здороваться, в какие дома ходить на свадьбы и поминки... Так, что ли? Да, шахматы — это начало. Усы, джинсы... Все же интересно, какое условие следующее?»

Но я же хотел улучшить преподавание в школе, бороться с приписками — все ради этого. А если мне действительно поставят условие не вмешиваться ни во что, ничего не менять в установленном порядке? Как быть тогда?»

ПЕРЕД ТОЕМ

Год назад, когда Умар-ата приехал со своими дынями на Алайский базар в Ташкенте, стоял конец августа, прилавки и все свободные места возле были завалены овощами и фруктами, зеленью, разнообразными дарами узбекской земли, и дынь было изобилие — цена на них установилась невысокая.

Умар-ата рассчитывал, что выручит за машину дынь

около тысячи рублей, но ожидания его не оправдались. Если прибавить его личные, правда, небольшие расходы за месяц жизни в чужом городе, выручка составила чуть больше четырехсот рублей. Разве на такие-то деньги справишь праздничный той? И потому в этом году Умар-ата решил не торопиться с поездкой на базар, выждать, пока цены на дыни станут подниматься.

Он застелил соломой сырую землю под навесом в своем дворе, старательно перебрал дыни и любовно разложил их на соломе.

Каждый раз, когда кто-нибудь из односельчан возвращался из Ташкента, Умар-ата расспрашивал о ценах на базаре: в этом году нужно было набраться терпения, не то придется, как год назад, влезать в долги. А траты предстоят большие. Тогда он расплатился, продав мотоцикл покойного сына, а что продавать сейчас? Не расставаться же с коровой — и внуки останутся без молока, и деньги за сданное в колхоз молоко — немалое подспорье им со старухой: ведь внукам и одежда, и обувь нужны.

Четыре года уже, как погибли его сын с невесткой. Переезжали на тракторе через канал, мостик и провалился...

Старшему внуку было тогда пять, младшему — три годика, разве могли понять, какое несчастье случилось?

Умар-ата со старухой в первый же год выжали из себя и из своего хозяйства все что можно и достойно справили поминки. Еще через два года с великим напряжением достроили начатый сыном дом, сделали обрезание старшему внуку и уложили его после этого спать в новом доме как хозяина. Праздничный той провели достойно.

«Освятить руку» младшего внука Умар-ата хотел еще до того, как тот пойдет в школу. В августе этого года собирався устроить «большой казан», да не оказалось у старика достаточного количества денег. Все, что было накоплено, потратил на достройку дома и на той в честь обрезания старшего внука.

Друзья-аксакалы советовали Умару-ата уложить в новом доме обоих внуков сразу, но старик уперся и стоял на своем: никто не должен подумать, будто он увиливает от расходов на второй той. Разве может он поскупиться, когда от единственного сына единственная память осталась — вот эти двое сирот, двое внуков? Так пусть же не чувствуют себя обделенными, и люди пусть их обделенными не считают. Ради них, ради внуков, совершит Умар-ата все положенные траты.

Конечно, времена меняются, не все уже следуют старым обычаям. Как-то Умар-ата слышал в колхозном клубе выступление директора их кишлачной школы. Собравшимся колхозникам директор объяснял, что долгие века народ жил в нужде и голоде, поэтому разжигать огонь под «большим котлом» и делиться с односельчанами хлебом насущным, наполнять голодные желудки сирот и странников считалось проявлением человечности, делом, угодным богу, вошло в обычай. Конечно, бывало, что люди побогаче устраивали той из бахвальства, желая похвастаться богатством и тем возвыситься в глазах народа. Со временем обычай устраивать в честь обрезания «большой казан», кормить толпу собравшихся пловом, накидывать на плечи знатных гостей парчовые халаты сделался неукоснительным правилом, следовать которому обязаны были все, даже бедняки, если хотели сохранить достоинство мусульманина. На ту семью, во дворе которой не звучал праздничный сурнай, не готовился дастархан, постепенно привыкли смотреть косо, поэтому люди, как бы им ни приходилось туго, вынуждены были уважать обычай — хоть последнюю скотину продавай, хоть самого себя в заклад отдавай. Этот обычай, говорил директор, за века настолько вошел в жизнь и сознание людей, что многие следуют ему и сейчас, не раздумывая, полезен ли он в наши дни или нет. И вот бывает, что мальчик идет по зимней грязи в школу в надетых на носки галошах, а отец копит деньги для той в его же честь, той, на котором он должен одарить обувью и одеждой кучу близких и дальних родичей. Добытое ценой долголетних лишений уходит на ветер за один день праздника.

Так говорил директор школы, и Умар-ата готов был согласиться с ним, если бы дело касалось его соседей. Но что до его собственных внуков, обиженных судьбой сирот, тут Умар-ата был тверд: они не должны ни в чем чувствовать себя обделенными, той в их честь не должен уступать тою в тех домах, где живы и здоровы родители мальчиков.

На Алайский базар в Ташкенте Умар-ата приехал неделю тому назад. Стояла уже середина октября, и в крытых рядах, где продавали арбузы и дыни, не было августовской тесноты и толкучки, несколько мест даже пустовали.

В прошлом году, когда он приехал сюда с машиной, не видно было ни одного свободного места, арбузы и дыни лежали кучами, холмами, горами, покупатели спотыкались

о них, отыскивая проход. Оттого что не было свободного места, машина, груженная дынями Умара-ата, должна была прождать до вечера. Шофер нервничал, говорил о собственных, не терпящих отлагательства делах и в конце концов пригрозил старику, что сбросит его дыни прямо на дорогу. Три десятки, предложенные испуганным Умаром-ата, как будто умиротворили разъяренного шофера.

Только было успокоился Умар-ата — новая напасть: люди из санитарной инспекции наложили запрет на его дыни.

— Племянник, — чуть не со слезами на глазах в отчаянии умолял Умар-ата, — да какая тут может быть селитра, не клал я ее!..

— Анализ показывает селитру, больше ничего не знаю, — отвечал парень в белом халате. — Увозите скорее обратно ваш товар, уважаемый, не могу допустить вас на базар — и нас ведь тоже проверяют. Если узнают, из-за ваших дынь останусь без работы. Мяснику-то — мясо, а козе лишь бы жизнь сохранить! А сколько людей отравилось такими дынями с селитрой, все больницы полны!

Умар-ата никогда прежде не ездил продавать свои дыни на городской базар, не знал о здешних уловках, поэтому сразу поверил словам парня в белом халате. А услышав про отравленные дыни и переполненные больницы, не на шутку испугался. Вдруг те, кто купил уже несколько его дынь, тоже отравятся? На самом-то деле Умар-ата и не думал подкармливать дыни селитрой, убыстряющей их рост, однако как-то в чайхане колхозный агроном говорил, что неотравленной земли уже не осталось, сколько лет пичкают ее всякой химией... Говорил он и то, что если на одном участке использовать селитру, то в течение нескольких лет она с водой просочится и на соседние поля и будет действовать там тоже. Вспомнив все это, Умар-ата решил, что надо ему ехать обратно.

Шофер, узнав о его намерении, рассердился:

— Как же можно в наше время быть таким доверчивым простаком, отец! Ведь все уже было на мази, так нет — портите сами же всю торговлю.

Умар-ата смотрел на шофера с испугом и недоумением... Он слышал произносимые шофером слова, понимал значение каждого в отдельности, но не мог уловить их общий смысл. Что еще он напортил? То его обвинял парень в белом халате, теперь шофер — что за жизнь пошла, кругом он виноват!

— Что значит — было на мази? — спросил он. — Ведь меня же прогнали.

— Какое прогнали! Он же намекал вам, неужели не понимаете, ата?! А вы только и твердите — поехали, поехали! Идите, суньте ему!

— Как же?.. Он ведь сказал — люди отравляются дынями, больницы переполнены?

Шофер только рукой махнул.

— Да ваша-то какая забота, хотят — пусть травятся. Покупают — знают, на что идут! И вообще все мы уже хотя бы частично отравлены. С неба посыпают химией — как тут останешься здоровым? Вот, две дочери моего старшего брата играли, мочили лепешки в арыке, потом съели и обе в ту же ночь умерли. Оказалось, в тот день с самолета сыпали что-то на поля.

Умар-ата не очень удивился, подобные слухи время от времени распространялись. Все же он решил уточнить:

— Так именно от химии и померли?

— Э! — шофер снова махнул рукой. — Разве о таком открыто скажут? Свалили вину на жену старшего брата — мол, не смотрела за детьми как следует.

— Да вроде сейчас сверху-то не посыпают уже, обыкновенно с трактора разбрасывают, — сообразил Умар-ата.

— Достаточно и того, что раньше насыпали, — заявил шофер, правда уже менее уверенным тоном, — вся земля отравлена... Ладно, ата, хватит вам о других беспокоиться, подумайте о своих дынях, а с инспекцией я сам договорюсь. Давайте деньги.

— Да будет милостив к тебе аллах, племянник, сам видишь, у меня не получается, сходи постарайся. Только не говори «нет», уладь мое дело, дай ему, сколько он хочет. И сам ведь скорее освободишься.

Из конторы шофер вышел, довольно ухмыляясь. Тут же и разрешение было оформлено, и место, куда выгружать дыни, нашлось.

Да, прошлогодний приезд научил кое-чему Умара-ата. Теперь, знакомый с превратностями здешней базарной жизни, он чувствовал себя увереннее.

Первым делом он справился о ценах и узнал, что дыни идут по шестьдесят копеек за кило. Узнав, остался доволен и ценой, и своей сообразительностью: правильно сделал, что выждал. Полторы тонны дынь — это восемьсот — девятьсот рублей выручки уже сейчас, в октябре. К середине ноября цена должна повыситься до рубля, стало быть, выручка может составить всю тысячу — как раз хватит на

той в честь младшего внука. Мясо покупать не нужно — три овцы да телка на дворе. Коли выручки от дынь хватит на остальные расходы — чего еще желать! Лишь бы обошлось без долгов. Не дай аллах — тогда как бы без коровы не остаться! После тоя в честь старшенького мотоцикл сына помог с долгами расплатиться, теперь же... Накопленные деньги из пенсии, что утаивал от старухи, целиком ушли на оплату машины, на оплату джигита в белом халате и еще за место в базарном ряду. Да, скорее бы холода, тогда и цены повысятся. Как говорится, к аллаху разом зывают и беглец, и ловец.

На базаре Умар-ата встретил сейчас знакомых по прошлому году, некоторые из них стали ему друзьями — его обнимали, звали к плову, угощали чаем.

Умар-ата радовался встрече со знакомыми, как обрадовался бы близким людям. Их многое сближало. Жизнь в чужом городе, при товаре и базаре, означала невозможность по-человечески спать ночью и по-человечески завтракать, обедать и ужинать.

Что такое базар? Днем — толчея, жара, гомон; ночью — холод и мрачное безлюдье. И среди того и другого месяцами живут бок о бок, в тесноте, а иногда и в обиде временные хозяева призрачного, исчезающего царства — похожих на могильные холмики куч арбузов и дынь. Иногда обладатели этого неверного богатства становятся закадычными приятелями, случается — заклятыми врагами. Те, что смогли найти путь к сердцу временных сотоварищей, сплываются в группу и как могут облегчают друг другу жизнь: готовят в одном котле на всех; устраивают сандал — под столиком, в углублении в земле, раскаленные угли, поверх столика одеяло; сидя вокруг, можно греться холодной ночью и в дремотной беседе дожидаться рассвета.

Не выдержавший такой жизни обычно чуть не задаром уступает свои арбузы-дыни спекулянтам, сам возвращается в кишлак. Иной снимет угол где-нибудь поближе к базару, еще кто-то просто постелет возле груды своего товара солому, поверх палас — шальчу, закутается в тулуп и так ночует.

Когда небо над базаром начинало светлеть, люди нехотя просыпались, бегали в туалет, старики совершали утренний намаз. Рабочий день начинался рано, и ослабленный себе никто не давал.

Как ни странно, эта жизнь на базаре пришлась некоторыми своими проявлениями по душе Умару-ата. Больные

мысли о погибшем сыне и сиротах-внуках оставляли его, особенно в такие вечера, когда люди, когда люди, освободившись от дневных забот, собирались вместе, заводили разговоры, состязались в остроловии.

Темнеет, покупатель в такое время — редкий гость. Приятели по базару собираются компанией: одни режут морковь, другие разводят огонь, готовят котел. Пока поспекает плов, можно и подсчитать выручку, и совершить вечерний намаз. Молодые не прочь и выпить, а после трапезы в приятном состоянии духа отправляются побродить по городу; возвращаются за полночь, светя огоньками сигарет; бывает, в темноте слышны женские голоса.

Случались и потасовки. Тогда обитатели базара дружно вскакивали, являя разнообразие ночных одеяний, кидались разнимать дерущихся, утешали обиженных, читали наставления забиякам. Как правило, эти ночные скандалы были продолжением дневных распрей, переманивания покупателей. Назавтра соперники ходят хмурые, подавленные, не смотрят друг на друга и на соседей.

Сейчас живущие на базаре с нетерпением ожидали Ноябрьских праздников. В праздничные дни бойчее идет торговля, не приходится подолгу ждать покупателя: товар, который обычно расходуется за десять дней, удается продать за два, кошельки наполняются мятыми рублями. У кого много еще оставалось товара — запас уменьшается; у кого было уже мало — кончается, можно ехать домой.

Отъезжающие заказывают в чайхане плов, прощаются с товарищами по базару до будущего года, а тех, с кем подружились, приглашают погостить к себе в кишлак.

Распродавший свои дыни друг Умара-ата звал его в чайхану на берегу канала Боз-су, однако старик не пошел. Как оставишь товар? Базар кипит, тысячи покупателей волнами захлестывают торговые ряды, вот-вот подвалит удача — отдашь хорошую часть товара и по хорошей цене.

Однако сегодня удача отчего-то не шла к Умару-ата, покупатели обходили его дыни, сладкие как мед, и охотно брали товар у его соседа по ряду Турдыбая. Конечно, голос у Турдыбая звонкий, умеет зазвать покупателя, расхвалить себя и свои дыни — а они и вправду красивые, крупные и каждая в сетке, — только Умар-ата знает: сладости в них нет, поэтому Турдыбай, якобы не желая портить сетку, не дает вырезать кусочек на пробу. В прошлый выходной один покупатель прельстился его дынями в густых сетках, охот-

но выложил шестьдесят рублей за двадцать штук. А на другой день со скандалом вернул девятнадцать из них обратно. Шуму тогда было!.. Вспоминая об этом, Умар-ата лишь головой качал. Нет, его собственные дыни — чистый, честный товар, любовно возвращенный собственными руками, и деньги они должны принести честные, без обмана, и пойдут эти деньги на честное, понятное людям и угодное богу дело: на той в честь его внука. Все эти хлопоты ради него, ради младшенького. Не должен он чувствовать себя сиротой.

Узбекский мальчик растет в труде. Нужно и присматривать за младшими братишками и сестренками, и ухаживать за скотиной — нарвать травы, намешать пойло. Вечно он на посылках у старших — нескончаемая беготня, приказы и понукания, многочисленные обязанности по дому и двору. Конечно, мальчик мечтает поскорее вырасти, обрести свободу. Но какая может быть свобода от труда и обязанностей! Единственная разница, что в детстве приказывали ему, а выросши — он вынужденно приказывает сам себе. Кроме обычной работы в колхозе он должен думать о том, как подготовить и сыграть свадьбу, как построить дом и вести хозяйство; рождаются дети, спустя определенное время каждому из них надо справиться той — накормить пловом уйму народу.

Да, какая тут может быть свобода — среди стольких-то обязанностей!

Все его мечты, планы и усилия связаны с его трудом ради детей, ради семьи.

Часть этого труда — той в честь сына, мальчика.

Достраивается дом, заново белятся стены, обновляется оплетенная виноградной лозой беседка, на окнах появляются новые шторы. Вырытые подальше от дома ямы для мусора и отходов постепенно наполняются доверху. Свет не гаснет до полуночи, приготовления в разгаре.

Наконец той благополучно завершена. В доме — горы невымытой посуды, грязный дастархан, куча пустых бутылок, снаружи сушится вывернутая баранья шкура, во дворе полузатоплен цветник...

Понемногу жизнь возвращается к обычному течению. Расходится-разъезжается ближняя и дальняя родня; той-бала, сынишка, причина и повод празднества, бывший несколько дней всеобщим баловнем, вынимает тубетейку из своих штанов.

Родители его еще месяца два с удовольствием перебирают живописные подробности тоя, ласкающие память и чувство собственного достоинства похвалы соседей и родственников. И уже начинают подумывать о следующем тое...

Холодная ночь с легким заморозком, темно, лишь близкие звезды светят-перемигиваются.

Глиняная чаша с горкой раскаленных углей, над ней столик, все это накрыто старым одеялом. У этого самодельного очага греются, коротают ночь люди. Слышится сонное бормотание, кто-то хрипло кашляет.

И Умар-ата здесь. Одевшись потеплее, опустив уши теплой шапки, он до полуночи не может сомкнуть глаз, потом полудремет-полугрезит, вздыхает, вспоминая дом, мечтает о том времени, когда распродаст все, что привез, выручит необходимые деньги и займется наконец приготовлениями к тою.

Чувство долга, необходимость позаботиться о внуке поддерживали его дух, придавали бодрость душе и телу, иначе бы он скоро выбился из сил при такой-то жизни в немолодые годы.

Однако надо признаться — побаливало сердце. Его словно сжимала какая-то сила, начинало колоть... тогда трудно было вздохнуть, трудно было даже позвать соседа. Но старик утешал себя тем, что это все от возбуждения, от волнений, вызванных мечтами о возвращении домой. Кроме того, Умар-ата уже неделю держал пост: не ел и не пил с ночи и до ночи. Так что, успокаивал он себя, и это могло подействовать.

В последние дни, когда он особенно часто стал чувствовать боль в сердце, у него вошло в привычку заговаривать с покупателями в надежде получить целительный совет:

— Какая у вас профессия, братец? Не доктор ли вы?

— А что, разве похоже? — усмехается покупатель.

— Извините, если ошибся.

— У вас, верно, что-то болит? — спрашивает покупатель уже серьезно.

— Вот здесь... Иногда колет.

— И давно?

— Давно. Как сын погиб, так и началось. Сейчас сильнее стало.

— Надо вам проверить, — объясняет покупатель. — Поликлиника здесь рядом, вас примут. А пока... — Поло-

жив выбранную дыню обратно на землю, человек вытащил из кармана стеклянную трубочку с таблетками.— Если заболит сердце, возьмите одну под язык.

— Вы не отдавайте все, братец,— остановил его Умар-ата.— Несколько штук достаточно. Знаю я эти таблетки.

— Берите, берите, у меня дома еще есть.

— Вы что ж, тоже их кладете под язык? Не можете вылечить себя?

Покупатель грустно улыбнулся, кивнул:

— Не могу.

Он поднял с земли дыню, положил ее на чашку весов.

— Возьмите ее даром, братец! — сказал Умар-ата, снял дыню с весов и протянул покупателю: — Пусть ваши ребятишки полакомятся.

— Спасибо...— смущенно пробормотал покупатель.

— Берите на здоровье, я рад предложить ее вам от души,— попросил Умар-ата.— Дарю и еще одну, не отказывайтесь, не обижайте меня. Я хочу, чтоб все было по-человечески. Считайте, что я загадал желание. Выбирайте любую, какая понравится,— все сладкие!

Покупатель покраснел, поблагодарил, вторую дыню не взял.

— Извините, братец. Хочу спросить...— Умар-ата подбирая слова.— Я держу пост... А тут — под язык... Что же получается?

— Пусть вас это не смущает,— ответил покупатель, подумав.— Лекарство ведь не пища, пост вы не нарушите.

За день сердце несколько раз давало о себе знать болью, трудно становилось дышать, но все же Умар-ата крепился, переживал боль — не клал лекарственную таблетку под язык. Постепенно сердце отпускало. Хорошо еще; что не было жары и духоты.

Умар-ата понимал, что взять в рот таблетку — грех небольшой. Но если позволить себе этот малый грех, тогда можно позволить и бóльший? Так можно дойти и до того, что перестанешь заботиться о внуках,— для чего тогда той, для чего тогда он уже столько времени живет здесь при дынях, вдали от дома, тепла и ухода? Нет, или следовать долгу полностью, или станешь отступником — так понимал Умар-ата.

Он с нетерпением ждал вечера, когда шариатом разрешено прекращать пост. Тогда и таблетку можно будет под язык, тогда и котел можно на огонь.

Но к вечеру сердце вроде перестало колоть.
Наконец стало темнеть, ночь обещала быть холодной.
Пост был завершен.

Старик совершил омовение теплой водой перед вечерним намазом, опустился на молитвенный коврик, повернул голову направо, потом налево; склонившись, коснулся коврика лбом, разогнулся, склонился снова — и уже не поднялся.

СОВПАДЕНИЕ

Здание драмтеатра, построенное четыре года назад, было гордостью города. Все более или менее значительные мероприятия, а особенно с участием руководства, проводились именно здесь. В такие дни воздух вокруг здания наполнялся ароматом внезапно появившихся на клумбах цветов, пересохший фонтан пускал обильную струю, лампы дневного света оказывались все до единой целехоньки и исправно освещали театральную площадь, по которой сновали поливальные машины.

Но завершалось торжественным рапортом мероприятия, и все угасало: вырубался свет, отключался фонтан, перекрывались арыки — словом, начиналась обычная жизнь... до следующего заседания.

Однако с тех пор как год назад в театре поставили комедию «Розыгрыш» и о ней заговорили в городе, у кассы стали возникать очереди. Даже сам товарищ Насыров, назначенный сюда несколько месяцев назад на руководящую высокую должность, лично посетил один из спектаклей. По окончании представления он весьма холодно попрощался с директором театра Саттаровым и молодым главным режиссером Озодом Ниязовым и, хлопнув дверцей служебной машины, отбыл. Чиновники помельче, впервые в жизни попавшие на спектакль, отбыли следом.

Через два дня в зал, где шла репетиция, влетела секретарша, выпалила единым духом:

— Озод-ака, скорей, Адхам Насырович звонили, срочно требуют к себе, оказывается, вам надо ехать!

Озод был озадачен. В театре работал недавно, чуть больше года, направлен был сюда по окончании театрального института и ни разу до сих пор с местными руководителями не встречался. Правда, узнав, что Саттарова в театре нет, он решил, что его вызывают вместо директо-

ра — опять, верно, какое-нибудь совещание грядет. Могли бы и по телефону сообщить, не первый же раз...

Когда секретарша впустила Озода в кабинет Насырова, тот был занят телефонным разговором. Взглянул, жестом указал на стулья перед столом заседаний. Закончив и положив трубку, поднялся, протянул Озоду руку, произнес традиционный узбекский набор приветствий. Пригласил садиться.

Прежде чем начать разговор, отчего-то вздохнул, пригладил волосы, поерзал в кресле.

— Вот что, Озод Ниязович, давно ли идет этот спектакль? — спросил наконец.

— Ровно год. Это моя первая постановка, — несколько встревожившись, объяснил Озод — он помнил, что Ниязов покидал в тот вечер театр явно недовольный. — Конечно, у меня еще мало опыта, Адхам Насырович, в спектакле есть недостатки.

— Да, понятно. Но я не о том. — Насыров почесал веко. — У вас там действует один персонаж, врач и мошенник, отрицательный, в общем, тип. А зовут его Адхам Насыров, то есть точно как меня.

— Но это же случайное совпадение! — невольно улыбнулся Озод. — О чем же беспокоиться, ведь пьеса шла уже по крайней мере полгода до вашего назначения сюда...

— Тем не менее. Я — один из руководителей области, — прервал режиссера Насыров. — Меня знает народ. Некоторые могут не так понять. Всем не объяснишь. Это приходится учитывать.

Озод молчал с чувством неловкости.

Увидев, что собеседник ждет ответа, постарался объяснить как можно мягче:

— Всякие бывают совпадения, стоит ли принимать близко к сердцу? — Понимая, куда клонит Насыров, добавил: — Автор — известный писатель, живет далеко отсюда. В пьесе ведь не конкретный человек выведен, это обобщенный образ, собирательный, к вам он не может иметь отношения.

— Вы, я вижу, меня не понимаете, — недовольно возразил Насыров. — Как зовут проходимца: Адхам Насыров или иначе — разве важно? Для пьесы имеет значение?

— Да в общем-то, конечно...

— А раз так — измените имя афериста. Немедленно. Как прикажете воспринимать, что какой-то прохиндей

потешает публику и где?.. В областном театре, у меня под боком!.. И у него мои имя и фамилия! Я, к вашему сведению,— один из руководителей области! — Насыров не скрывал раздражения.

— Адхам Насырович, уверяю вас, это случайность, совпадение.

— А кто об этом знает?

— Ну, видите ли...

— Вы мне эти увертки, эти «ну» бросьте! — тон Насырова сделался жестким.— Когда старшие говорят, надо слушать, вникать, а не «нукать»!

— Простите...— Озод побледнел.— Вы, вероятно, правы... только без разрешения автора вносить изменения в текст пьесы я не могу.

— Слушайте!..— отрезал Насыров.— Делайте как вам сказали!

— Извините, Адхам Насырович! — после минутного молчания сказал Озод.— Не могу. Просто не имею права. Я отвечаю за режиссуру. Если есть недостатки в моей работе, скажите, я исправлю. Но текст...

— Ах так! — Насыров поднялся, засунул руки в карманы.— Что ж, вы свободны. Идите.

— Но поймите же, Адхам Насырович!..— голос Озода звучал умоляюще.

— Довольно! У меня нет времени! — Насыров сел и углубился в бумаги.

Озод растерянно потоптался и пошел к выходу. У двери он попрощался, но то ли голос прозвучал тихо, то ли Насыров не захотел расслышать — ответа не было.

Через несколько дней Озод зашел к директору театра с репертуарным планом на следующий месяц.

Саттаров посмотрел на него с недовольством:

— Был звонок. План нужно показать управлению культуры. Если одобрят, можно будет повесить афиши.

— Конечно, пусть посмотрят. Но у нас же в этом месяце нет новых постановок,— удивился Озод.— Отчего такое внимание?

Саттаров уехал в управление. Вернувшись, показал план главному режиссеру.

— Что вы на это скажете?

Озод посмотрел: «Розыгрыш» был везде вычеркнут красным карандашом.

— Распорядились временно приостановить. Находят сомнительной идею пьесы.

— Что же тут сомнительного? Да и ставят ее по всей республике.

— Я лишь повторяю вам то, что сказали мне. Остальное меня не касается.

— Жаль,— вздохнул Озод.— Зрители хорошо принимали спектакль, билетов было не достать.— Он вспомнил недавний разговор с Насыровым и сообразил, в чем дело: — Знаете, меня недавно вызывал Адхам Насырович. Помните, каким недовольным он уехал от нас. Оказывается, ему не понравилось, что отрицательного героя зовут так же, как его самого. Буквально требовал, чтобы я изменил имя персонажа. Я не согласился — без разрешения автора не имею права трогать текст.

— Ну и зря! — рассердился Саттаров.— К чему все осложнять! Надо было согласиться.

— И вы туда же! — не выдержал Озод.— Как я могу это сделать, если пьеса уже год идет на нашей сцене! И что скажет автор? А зрители — они же смеяться над нами будут!

— Вам что за дело до автора, а ему что за дело до нашего спектакля! Деньги за пьесу идут — и ладно! — Саттаров покачал головой.— Эх, брат, молод ты еще! Поставил театр в трудное положение. А я-то радовался, что дела наконец пошли, в банке денег поднакопилось, думал, с долгами расплатимся. Теперь точно в трубу вылетим. Да, нечего сказать, удружил родному театру, спасибо тебе!

Озод вышел из кабинета директора с опущенной головой. Конечно, он как главный режиссер обязан был подумать и о финансовом положении театра... Все правильно. А он из-за такой ерунды, как имя персонажа, подвел коллектив. Хотя все же менять текст пьесы — не ерунда, только начни — мало ли что потом попросят... Начальства много, на всех все равно никому не угодишь. Лучше держаться авторского текста... Но все равно ерунда получается...

Озод направлялся в каморку за кулисами, где он жил этот год, пока не было квартиры. У входа столкнулся с Сабирджаном, администратором театра. Тот широко и смущенно улыбался, в руках держал пакеты. Глаза поблескивали — видно было, что несколько навеселе, хотя обычно за ним этого не водилось. Увидев хмурое лицо Озода, попятился:

— Извините, Озод-ака, я, кажется, не вовремя...
— Ничего...— Озод невольно улыбнулся.— Чем обязан?

— Радость у меня...

— Да что случилось, Сабирджан?

— Сын... Понимаете? Сын родился!

— Поздравляю от души!

— Спасибо, Озод-ака! Я вот думал — может, посидим, отметим это дело. Спектакля сегодня нет... Но если помешал — уйду.

У Озода на душе кошки скребли, он обрадовался предложению Сабирджана:

— Что вы! Заходите, пожалуйста,— и отворил дверь в свою каморку.

Незаметно пролетело время, потом Сабирджан отправился с передачей в роддом, а Озод решил прогуляться.

Несмотря на зимнее время, на улице было тепло. Озод прошелся по парку у театра, присел на скамейку. Поднял воротник пальто, чтобы было совсем уж уютно, и задумался. Незаметно задремал.

— Почему вы спите в общественном месте?

Озод открыл глаза. На город опускались сумерки. Перед скамейкой, где он дремал, стояли два милиционера.

— Просто так,— ответил Озод.— Отдыхаю на свежем воздухе.

Лейтенант, тот, что задавал вопрос, кивнул старшине. Тот наклонился к Озоду:

— А ну, дыхни! — и многозначительно посмотрел на лейтенанта.

— Предъявите документы! — потребовал тот.

Озод достал паспорт. Лейтенант перелистал его и спрята- тал в сумку.

— Пройдемте.

— Куда? Зачем? — оторопел Озод.— В чем дело?

— Там узнаете,— бросил лейтенант и кивнул старшине.

Тот взял Озода за локоть.

— Не трогайте, я сам пойду! — отстранился Озод.

У выхода из парка ждал милицейский газик с зарешеченными окнами. Лейтенант сел рядом с водителем, командовал: «В вытрезвитель»,— и машина рванула с места.

Ночь Озод Ниязов провел в вытрезвителе — ни возмущение, ни протесты не помогли.

Утром он стоял в комнате дежурного милиционера, и его трясло от яростного желания разнести все вокруг.

Правда, он отлично понимал, что это привело бы лишь к новым осложнениям, и изо всех сил старался сдержать себя.

Дежурный запер сейф, вернулся к столу.

— Ключ, паспорт, одиннадцать рублей, шариковая ручка, блокнот. Распишитесь в получении.

Озод расписался в журнале.

— Я буду жаловаться,— хрипло выговорил он.

— Ваше дело, жалуйтесь на здоровье,— ухмыльнулся дежурный.— Только запомните — у нас акт. Экспертиза — вещь серьезная, с ней не поспоришь.

— Все равно задерживать меня, приводить сюда не имели права. Ну выпил... Но пьян не был, никого не задевал, не нарушал...

— Если б задевал — пятнадцать суток. Это еще в лучшем случае. А за хулиганство — и срок можно получить. От года до трех. А теперь...— дежурный поднялся за столом.— А теперь катись отсюда, не морочь мне голову. В другой раз не попадайся. Катись, катись, у меня еще целые сутки впереди, много еще вас таких тут выступать будет. Знай свое место! Привет!

Озод посинел от негодования. Однако вновь взял себя в руки:

— Почему столько внимания мне? Я и не пью-то, вчера случайно в рот взял...

— Теперь осторожней будешь.

— На работу, надеюсь, не будете писать?

— Напишем, не беспокойтесь! Обязательно.— Тон у дежурного был откровенно издевательский, торжествующий.— По одежке протягивай ножки! И не только на работу — в другие места тоже...

* * *

Через несколько дней Озода вызвал директор театра.

— Что вы там такое натворили? — спросил, показывая на свой стол, где лежало письмо.— Из вытрезвителя пришла бумага.— Саттаров был явно огорчен.— Что с вами стряслось? Вы ведь непьющий, насколько я знаю?

Озод покраснел. Сел к столу, побарабанил пальцами.

— Да глупость! Почти не пил, так, самую малость. Почему-то захотели ко мне придраться.

— М-да... Худо. Мы должны обсудить происшествие... хотя, конечно, вас в театре уважают, работаете вы хорошо, даже талантливо, я бы сказал. Но не в этом дело. Самое

плохое, что копию письма послали начальнику управления культуры. После обсуждения придется пойти к нему. Вызывает. Мы-то здесь, в театре, вас хорошо знаем. А вот там...— Саттаров показал на потолок и многозначительно покачал головой.

В управлении разговор был короткий.

— Сообщим министру культуры.— В голосе начальника звучал металл.— Пусть отзывает вас. Здесь такие не нужны, которые позорят коллектив.

— Не надо ничего писать...— подавленно ответил Озод.— Я сам подам заявление... После всего, что со мной произошло, я не хочу здесь оставаться. Видеть не могу этот город...

— Скажите пожалуйста! — начальник саркастически усмехнулся.— Город ему не нравится! Наделал тут дел, а город виноват! Да я тебя в такой бараний рог сверну — век не разогнешься! Ты с кем это шутки вздумал шутить!

До вечера Озод бродил по улицам. После вчерашнего спектакля заглянул к себе в каморку, собрал чемодан. «В Ташкент надо ехать, там все расскажу. Должны же меня выслушать, понять...»— билась мысль.

Оставил на столе записку директору Саттарову и вышел на холодную, безлюдную ночную площадь. Оглянулся на театр, где прошел год его жизни, и медленно двинулся в сторону вокзала.

ЯБЛОКИ

Кулдашбай стоял у ворот дома и только было собрался раскланяться с проходившим мимо соседом Шакиром, как со двора послышался звон разбитого стекла и тотчас же — громкий детский вскрик и плач.

Кулдашбай узнал голос своего маленького сынишки, сердце его дрогнуло.

Вымученно улыбаясь, он поздоровался с соседом — нельзя же проявить себя невежливым — и бросился во двор. Не дай бог, порезался малыш, в испуге думал он.

Узенькая дорожка от ворот к дому тянулась среди двух стен кукурузы. В нос ударил жаркий запах коровника.

Прибавив шагу, Кулдашбай вбежал во дворик.

Крошечное это пространство с четырех сторон было стиснуто глинобитными лачугами, кривыми, покосившимися-

ся, разной высоты, с кусками шифера и ржавого железа на крыше, придавленного от ветра кусками кирпича и булыжниками. В углу этого сырого крохотного дворика, похожего на колодец, росла яблоня, закрывавшая большую часть пространства между кукурузой, коровником и домом от солнца.

На щербатых кирпичных ступеньках крыльца сидел сжавшийся в комочек Аскар — всхлипывал, маленькими грязными кулачками тер заплаканные глаза.

Присев возле сына на корточки, Кулдашбай осмотрел его, ощупал со всех сторон — крови нигде не было видно, и тревога отпустила его.

Тетушка Саври, хозяйка дома, сметала в совок осколки стекла и даже не смотрела в сторону Кулдашбая, до того гневалась.

Кулдашбай тихонько отвел ручки сына от замурзанной мордашки, тот обхватил отца за шею, прижался к нему и разрыдался еще отчаяннее.

— Что случилось, малыш? Зачем плачешь? — Кулдашбай тихонько гладил ребенка по голове. — Или обидел тебя кто-нибудь?..

— Я, я обидела? — раздался с веранды пронзительный голос тетушки Саври, ему вторил яростный звон осколков стекла, с силой сошвырнутых с совка в мусорное ведро. — Это я дала ему оплеуху! Виновата, каюсь!

Кулдашбай смолчал, притих и ребенок.

— Дорого дитя, а хорошее воспитание еще дороже! — громко причитала Саври-хола. — Одно всего-то дерево в моем дворе, вот эта яблоня. Берегу пуще глаза, себя на «ты», ее на «вы» называю. А мальчишка ваш — руки ему занять нечем, что ли? — все швыряет камнем и швыряет. Яблочка-то вкусенького каждому хочется, да не про всякого моя яблонька, на черный день берегу, деткам своим даже червивого яблочка не даю...

Кулдашбай то отчаянно ненавидел, то столь же безоглядно жалел эту несчастную женщину, тетушку Саври, хозяйку двора и дома. В жизни у нее была одна цель. Она и сама не знала ни минуты покоя, и домашним не давала сидеть без дела, понукала без конца. Чего только не выдумывала — и все с единственной целью: заработать побольше денег. Весной покупала пару ягнят, осенью продавала. Держала корову, продавала молоко. Как только очередная телка делалась стельной коровой, взрослую корову отгоняла на базар. Весной, пока яблоня еще не давала тени, сажала во дворе редиску и торговала ею — ранней и со-

всем молоденькой, с косточку урюка. Следом за редиской наступала очередь лука. Дети тетушки Саври, вернувшись из школы, спешили на Бешагачский базар, один ташил тележку, другой устанавливал в ведра чайнички заваренного чая. До наступления темноты ребята Саври-хола на этой тележке несколько раз подвозили с базара мятые дыни, арбузные корки, недоеденные и выброшенные яблоки, груши, персики, всяческую зелень. В ведрах — гнилые помидоры, виноград.

Известное дело — легче бьется да портится то, что поспелее... И с утра до самых сумерек все семейство тетушки Саври занято делом. Перед вечером невестка продает на бойком месте нарезанную соломкой морковь для плова. Ночью свекровь с невесткой шьют бумажные пакеты для рынка — утром их берут нарасхват. Еще до рассвета, пока дети спят, Саври-хола снимает сливки с подвешенных на плетенках чашек с молоком. Пока распродает, в подсоленной воде довариваются кукурузные початки. Наскоро проглотив кусочек лепешки и на ходу запив ее пиалой чая, тетушка Саври снова семенит на Бешагач. Сваренная молочная кукуруза — это же деликатес, не успеешь произнести «хаш-паш», как большая, в пятнах оббитой эмали миска уже пуста. У молодого початка и огрызок мягкий, нежный, мелко нарежешь, положишь в пойло — корова вмиг языком слизнет, молоко будет сладкое. Поэтому тетушка Саври глаз не спускает с едоков кукурузы; иной раз смотришь: кто-то не доел, бросил початок — грех оставлять, приходится подбирать.

По всему выходит — тетушка Саври очень практичная и экономная хозяйка. Деньги, пересчитав, прячет в известное только ей место. Тратить их не позволяет.

Чтобы не платить лишнего, водопровод она во дворе не заводит — дети ведрами таскают воду от соседей. И газ тоже не проведен — не дай бог, взорвется, так объясняет всем тетушка Саври. Единственный неизбежный расход — плата за свет.

Три комнатухи во дворике сданы квартирантам: в одной на четырех раскладушках теснятся четыре девушки из техникума, в другой — семья из трех душ, в третьей ютится Кулдашбай со своим шестилетним Аскаром. В их помещении нет окошка, когда закрываешь дверь, становится темно.

С наступлением сумерек Салим, старший сын Саври-хола, прилаживал к счетчику хитрое приспособление: больше всего на свете тетушка Саври ненавидела расходы,

не приносящие хорошей прибыли. Даже в канун праздника она умела с достоинством выйти из положения: присланную от соседей касу с пловом передавала соседям с другой стороны как собственный дар и таким образом участвовала в ритуальном обмене угощениями.

Одно происшествие особенно поразило Кулдашбая.

Дело было весной. Над клетушкой, где держали уголь, поднималось тутовое деревце. Естественно, тетушка Саври увеличивала свои доходы, продавая поспевшие ягоды. И вот как-то в то время, когда ягоды только набухали, на улочку въехал тягач с прицепом. Тягач появлялся здесь раз в году, когда нужно было срезать ветки тутовника на корм шелкопряду. Поскольку на этот счет существовало специальное постановление, никто из владельцев тутовых деревьев и не думал протестовать или выражать неудовольствие. Да и обычно хозяева больше ягод тутовника ценили его тень в жаркие дни. Но тетушке Саври нужна была не тень, ей нужны были рубли, а их приносили ягоды тутовника: многие покупали их для традиционного обряда как самую первую из весенних ягод — дарили близким с пожеланием здоровья на целый год. Поэтому, услышав тарактенье тягача, тетушка Саври спустила с цепи овчарку. Пес набросился на уполномоченного, неосмотрительно шагнувшего во двор, прокусил ему ногу до кости. Раздался вопль, поднялся гвалт на всю улицу; пришел милиционер, забрал и пса, и тетушку Саври. Когда же она вернулась спустя два часа и увидела, что ветки на ее дереве все же обрезаны и она таким образом лишилась ягод, она, осыпая весь мир проклятиями, схватила топор и в ярости принялась кромсать шелковицу, словно та была виновата во всем... потом, выбившись из сил, уселась прямо на земле и, спрятав лицо в подол грязного платья, зарыдала.

Аскар давно уже успокоился, забыл про разбитое стекло и оплеуху; вечерело, его клонило ко сну. Однако сам Кулдашбай не мог успокоиться — горечь обиды не покидала душу. Как могла у Саври подняться рука на малыша? Из-за яблока, из-за стекла? Ведь Аскару и трех лет не было, когда лишился матери, — неужто одного этого мало?

Кулдашбай давно уже испытывал неприязнь ко всему этому забывшему человечность и доброту семейству. Но сегодняшняя обида переполнила чашу терпения. Быстро собрав в чемодан нехитрые пожитки, он вышел во двор,

молча протянул Саври-хола деньги — плату за комнату и три рубля за разбитое стекло. Саври что-то бормотала, пытаясь оправдать свою жестокость и смягчить ситуацию, но Кулдашбай уже не слушал ее. Взяв Аскара за руку, он не оглядываясь вышел с ним из дома, где прожил больше двух лет.

Пока они добирались до трамвайного парка, где работал Кулдашбай, опустились сумерки, повеяло вечерней прохладой. Оставив чемодан в дежурке, Кулдашбай отправился с сыном в город. Они гуляли, смотрели на огни иллюминации, на фонтаны, лакомились мороженым. Когда возвращались в парк, Аскар уже спал у отца на закорках. Закончившие смену трамваи, пуская голубые искры, разыскивали места для ночлега и пронзительно звенели, — Кулдашбай чувствовал, как мальчик вздрагивает от этого во сне.

В дальнем углу парка стояли старые, пришедшие в негодность вагоны — без дуг, без колес, краска облупилась. Туда и направился Кулдашбай, хотя сторож позвал его в дежурку. С чемоданом и одеялом сторож последовал за ним; они постелили одеяло на сиденье в старом вагоне и уложили спящего Аскара.

— Что у тебя стряслось, Кулдашбай? — спрашивал сторож. — Почему остался без дома?

Кулдашбай только рукой махнул, рассказывать не хотелось. Сторож понял и ушел, сказав, что позже принесет чаю.

Кулдашбай вытащил из чемодана пиджак, накрыл им сына, сам присел рядом и, глядя сквозь пустое окно в темноту, стал думать о том, как быть дальше. Нужно искать пристанище, это ясно. Но где? Если он поселится в общежитии, Аскар останется без присмотра. И в детский садик его не возьмут — ему же больше шести. Все же, видно, ошибся он тогда, когда решил поселиться в Ташкенте. Да... А все от того, что остался один, без жены.

Прежде он жил в кишлаке в Мирзачуле, приехал, как и многие другие, осваивать новые земли — осиротел после смерти родителей, не захотел оставаться в родных местах. Работал в колхозе. Там же встретил свою Сахибу, женился, колхоз выделил им типовой домик. Через год Сахиба родила сына, вот этого спящего рядом Аскара, и их маленькая семья зажила счастливо и беззаботно. Когда Аскарчику шел третий год, Сахиба снова забеременела.

Ребенок родился недоношенным, и у матери кровотечение не смогли остановить. В землю их положили рядом.

И снова почернел мир в глазах Кулдашбая, как после смерти родителей, и снова он не смог оставаться на обжитом месте, готов был бежать куда глаза глядят. Вспомнил, что младшая сестра Сахибы замужем в Ташкенте, — родная все же кровь, может, возьмет малыша под свое крыло. Вместе с маленьким Аскарком отправился в Ташкент. Раньше там не бывал и подумать не мог, что это такой огромный город — как здесь найти знакомого человека? Он ведь знал только имя свояченицы да девичью фамилию. Наводил справки, обходил дома — но нет, видимо, взяла сестра Сахибы фамилию мужа. А его фамилию Кулдашбай не помнил, а может, и не слышал никогда.

Устав от бесконечных поисков, от беготни по городу, потеряв надежду, он сидел с опущенной головой на каком-то поваленном столбе. Немолодая худощавая женщина в грязноватой одежде с ведром барды в руке шла мимо. Поставила ведро на землю, стала трясти онемевшей кистью.

— Сынок, видать, ждете кого-то? — спросила участливо. — Я туда шла — вы сидите, обратно иду — сидите... — Это и была тетушка Саври.

— Да вот разыскивал этот двор. Только хозяева оказались не те, что нужно, хоть фамилия сходится... — вежливо объяснил Кулдашбай, тронутый вниманием.

— А кого же ищете?

— Тетушку своего сына ищу. Сил не осталось уже двигаться. Слово за слово, и в ответ на жалостливое участие, с которым незнакомая хозяйка расспрашивала его, Кулдашбай рассказал о том, что выпало на его долю и на долю его малыша.

— А что ж теперь, возвращаться будете в свои края? Кулдашбай пожал плечами:

— Сам не знаю. Тяжело возвращаться.

Саври-хола объявила ему, что у нее есть, сдается свободная комната, и измученный и бездомный Кулдашбай не долго думая согласился — так вот и оказался жителем Ташкента.

Пока он искал по городу свояченицу, ему на глаза попадалось множество объявлений, зовущих устроиться на работу. На второй же день он пошел на курсы водителей трамвая. Так он решил еще до того, как повстречал тетушку Саври. Там и стипендия неплохая, и учиться недолго, и даже общежитие имелось.

Месяцы учебы пролетели быстро — глазом не успел

моргнуть. И вот уже Кулдашбай сделался вагоновожатым, и в кармане у него завелись деньги. Не такие уж и большие, но верные.

Когда он открыл глаза, небо уже начинало светлеть. Пора было на смену.

Рядом на сиденье стояли заваренный чайник и пиала: сторож, видно, принес вечером и ушел, не стал будить.

Зато сейчас пришлось будить Аскара, как ни сладко он спал, как ни хныкал жалобно. Проснувшись, мальчуган еще немножко покапризничал, а потом увязался за отцом.

В своем трамвае Кулдашбай поставил рядом со своим местом водителя скамеечку для сына, и так они целую смену ездили по маршруту.

Весь день Кулдашбай думал — как быть дальше? И наконец придумал.

Вспомнил о Турабеке, дружке своем по армии. Турабек выучился на агронома, работал в совхозе. В письме звал к себе работать и жить.

Сдав смену, Кулдашбай зашел к директору парка и, показав сынишку, попросил отпуск на неделю. Из парка отправился прямо на автостанцию, взял билет до Газалкента, посадил Аскара у окошка и покатил к другу.

* * *

Жена Турабека постелила друзьям на свежем воздухе, на помосте — сури в тени вишневого дерева. После ужина Кулдашбай и Турабек долго сидели тут, разговаривали, вечер был теплый, и оба не захотели спать в доме.

Правда, ночью прохладный ветер со стороны гор иногда заставлял поеживаться. Из ущелья доносился шум горного ручья — сая.

Когда утром Кулдашбай проснулся, Аскар раскачивался на качелях, в руках держал кусок лепешки, щедро намазанный маслом, и вид у него был счастливый. Жена Турабека, повязав голову косынкой, подметала двор. Самого Турабека уже не было, постель его была пуста. На столе рядом с помостом, где спал Кулдашбай, под марлей ждал его завтрак.

Одевшись, Кулдашбай спустился с помоста.

Давно он не спал так сладко и безмятежно, давно не просыпался с таким легким сердцем, чувствуя обновление и силу. Прохладный утренний воздух бодрил, солнце

не могло пробиться сквозь листву на щедро политый двор, на цветах подрагивали капельки воды, празднично взблескивали, если падал солнечный луч.

— Да, проспал я,— чувствуя себя неловко, признался Кулдашбай, вешая на проволоку полотенце.— Даже не слышал, как поднялся и ушел Турабек, спал как убитый.

— Вот и хорошо,— подбодрила его хозяйка.— Воздух в наших местах прекрасный, сам усыпляет, любую бессонницу лечит. А теперь — пожалуйста, завтрак готов! Аскарджан, и вы тоже идите к столу.— Розияхон убрала марлю, разлила чай, разломилась по пиалам лепешку и подвинула поближе к едокам вазочку с медом.— Друг ваш ушел на четвертый участок, вас пожалел будить. Вернется домой обедать. Вы отдыхайте, в доме прохладно, я постелила вам на диване — можете еще подремать. Аскарджан я сейчас возьму с собой в садик, я там работаю воспитательницей.

— Спасибо вам, янчаджан (жена брата), — с чувством поблагодарил Кулдашбай. В отсутствие хозяина он чувствовал себя здесь неловко.

— Вы, пожалуйста, не стесняйтесь, — снова приободрила его Розияхон.— И за Аскарджана не волнуйтесь, он будет со мной. Продукты есть любые, готовьте что душе угодно, вернется ваш друг — вместе и пообедают. Или, если хотите, может, я сама заброшу в казан шурпу?

— Нет, что вы, не беспокойтесь! Неужто я сам не могу приготовить! С удовольствием...

Кулдашбай собрался в Ташкент, не прожив у друга недели, как собирался сначала.

— Решать тебе самому, конечно, но не забывай, что я тебе сказал, — говорил, прощаясь, Турабек.— Аскару здесь будет хорошо, пусть пока ходит в садик. Вернешься — сразу устроим на работу, в убытке не останешься. И жилье выделим. Конечно, если захочешь жить в городе, живи, а когда соскучишься, приезжай за Аскардом. Но решишь обосноваться здесь — от души буду рад.

— Одного боюсь... — в нерешительности говорил Кулдашбай.— Не подведу ли тебя. Я же без специальности. Вдруг придется тебе краснеть из-за меня...

— Да разве есть такая работа, которую не осилит мужчина, — ты ведь джигит хоть куда, в руках сила есть! И в конце концов ты же кишлачный парень, сельскую работу знаешь...

Машина, в которой ехал Кулдашбай, приближалась к городу. Теперь каждый раз, когда приходилось уезжать из кишлака, Кулдашбай скучал по нему, по прекрасным райским местам вблизи гор. Приближающийся город был для него чужим, означал суету и спешку, не дающие пощады, наводящие тоску.

Вот уже больше трех лет, как Кулдашбай переехал в кишлак к Турабеку. Он простой рабочий в совхозе — смотрит за садом, опрыскивает и поливает деревья, собирает урожай.

Ему выделили небольшой однокомнатный домик, долгое время стоявший без хозяина; когда Кулдашбай впервые увидел его, там были сорваны дверь и рамы, облупилась штукатурка, полопался шифер, но стены были добротные, крепкие. В свободное от работы время Кулдашбай с удовольствием занимался домом: убрал мусор, вставил рамы, навесил дверь, штукатурил, белил, красил. Провел во двор воду, протянул электрические провода. Вокруг домика посадил фруктовые деревья, цветы, даже огород устроил. Казалось, времени чуть прошло, а заброшенный домик стал как игрушка.

Турабек как мог помогал другу.

Однажды пришел с особым разговором.

Сидели за чаем, Турабек любовался пышно распустившимися розами, тянущимися вверх саженцами, радовался за друга. Заговорил осторожно, подходя издали:

—Знаешь, друг, есть такая поговорка, что и одной курице и зерно, и вода нужны. Ты мужчина крепкий, видный. Люди тебя уважают. Аскар твой уже в школу ходит. Зарабатываешь достаточно. Вот, вижу, велосипед сыну купил... Однако, скажу тебе, если нет в доме женщины, ни в хозяйстве, ни в семейном бюджете настоящего порядка не жди, в доме уюта не будет, в жизни — интереса, радости. Что ж тебе одному заботиться и о себе, и о мальчике? Конечно, если ты уже приглядел какую-нибудь, скажи, сами твой свадебный той возглавим. Если же нет такого на примете, доверь нам, поищем...

Кулдашбай, чего греха таить, и сам, бывало, подумывал — не покончить ли с одиноким житьем? Однако ни с кем не советовался, именно потому что у самого не созревало твердого решения, а значит, не мог бы серьезно отвечать советующим. Главное, что мешало и сдерживало, — очень уж ясно видел в памяти свою Сахибу,

как она смотрит на него жалобно и с укоризной, будто зная о его помыслах. И тогда он отказывался даже думать о жизни с какой-нибудь другой женщиной. Да и потом, сомневался он, станет ли другая женщина, если введет он ее в свой дом, матерью для Аскара, не будет ли обижать и без того обделенного лаской ребенка? Мальчик-то, пожалуй, забыл, а он, Кулдашбай, помнил оплеуху тетушки Саври. Так что, пугал он себя, не придется ли бедняжке Аскару плакать, забившись в уголок, терпя обиды мачехи...

— Оставим этот разговор, — вздохнув, ответил он Турабеку. — Женщина, сам знаешь, хозяйка в доме, умеет обкрутить мужчину. Аскар в своем же дворе чужим себя станет чувствовать. Нет уж, все, что мне осталось получить от жизни, отдам ребенку, пусть растет, не зная обиды. Да и память о Сахибе не велит мне...

Турабек не стал спорить, молча отправился домой. Жене своей Розияхон поручил заглядывать в дом друга и помогать в житейских хлопотах, присматривать за Аскаром.

Сменяя друг друга, шли месяцы. По временам года отмечал неспешное течение времени Кулдашбай.

Тополя, посаженные им вокруг усадьбы, вытянулись уже выше дома, яблоневые деревья через три года дружно зацвели. Сколько радости приносили деревья Кулдашбаю! По нескольку раз в день обходил он свой небольшой сад, нетерпеливо следил за тем, как появилась завязь, как созревают яблоки.

В тот вечер, когда Кулдашбай, оскорбленный, вышел со двора тетушки Саври, он затаил в уголке души мысль-надежду. Теперь его давнее желание, похоже, близилось к осуществлению. В конце мая в его саду созрел белый налив: урожай с одного дерева заполнил половину машины. И вот, выбрав день, Кулдашбай, заранее договорившийся с водителем, после работы посадил рядом с собой в кабину Аскара и отправился в Ташкент.

Груженная яблоками машина мчалась к городу, в открытое окошко кабины рвался теплый ветер, и сердце Кулдашбая заходило радостью от мыслей о наладившейся жизни. Он даже напевал что-то. Заходящее солнце словно весело подмигивало Кулдашбаю, то выглядывая из-за проносящихся мимо тополей, то прячась, будто играло с Аскаром в прятки, и оба были счастливы.

Лишь одно незначительное событие могло омрачить их настроение. После того как проехали Чирчик, машина ста-

ла, и водитель довольно долго копался в моторе. Начало уже темнеть, когда они увидели огни Ташкента.

На улицах, по которым они ехали, людей уже было немного. Специальные машины поливали мостовые, и далеко слышен был визг трамваев на поворотах.

Грузовик свернул на улицу, по которой Кулдашбай с работы и на работу ежедневно ходил более двух лет. Однако чем ближе к нужному ему кварталу, тем меньше узнавал Кулдашбай знакомые места. Он даже волноваться начал — вдруг ошибся? Заборы разрушены, осели, валяются куски кирпича. На месте, где положено быть двору тетушки Саври, — глубокая котловина, дна не видеть. Рядом вытянулся к черному небу кран, где-то высоко горит лампочка. Да, было от чего оторопеть Кулдашбаю. Спустился из кабины на землю, подошел к сохранившемуся забору. Чей же это двор? Пожалуй, Шакирали? Нет, его дом стоял ниже по улице. Значит, это двор плотника Юсуфа.

Кулдашбай постучал кулаком в калитку — в ответ лишь собака залаяла.

Постучал снова — и через некоторое время послышался встревоженный и сонный старческий голос:

— Кто там? Что нужно?

— Я собирался навестить тетушку Саври, да вот...

— Ну и невежа, ну и болван! — рассердился голос. — Как это тебя надоумило в ночное время в чужие ворота стучаться!

— Простите меня, отец. Вот — я яблоки привез.

— Что, что привез?

— Яблоки, говорю, яблоки!

Тут и старушечий голос послышался во дворе:

— Кто это там? Что он говорит?

— Кто его знает — кто. Яблоки, говорит. Может, пойти открыть?

— Что вы, что вы! — испугалась старуха. — Верно, бродяга какой. Отвяжите скорее собаку.

Кулдашбай повернул прочь.

Во дворе бесновалась спущенная с цепи собака, прыгала на забор.

И в соседних дворах раздался встревоженный лай, похоже, всполошилась вся округа. Все остальные звуки потонули сейчас в остервенелом брехе ночных сторожей.

— Открывай кузов! — сердито и с вызовом закричал водителю Кулдашбай.

Он им всем покажет, этим несчастным! Покажет, что

такое достоинство, забытое ими, и уважающая себя человечность. Шофер вышел из кабины, откинул задний борт. На землю с мягким торопливым стуком посыпались яблоки.

Поднявшись в кузов, Кулдашбай принялся сгребать яблоки, сбрасывать их на землю.

Шофер смотрел с недоумением, не понимая, похоже, испугался. Наконец кузов опустел.

Кулдашбай тяжело спрыгнул на землю, поднял борт и коротко скомандовал водителю:

— Поехали!

Аскар спал на сиденье. Кулдашбай прижал его к себе, устроил поудобнее. Машина тронулась.

Кулдашбай даже не оглянулся на яму, возникшую на месте двора и дома тетушки Саври, на квартал, где яростно лаяли собаки.

Недавно политые улицы города были чисты, свежи и пустынно. Небо над головой усыпали близкие звезды, обещая на завтра ясный солнечный день.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Не ищите меня	4
Авария	75
Дорога к дому	101
Театральная история	129
Мгла	163

РАССКАЗЫ

Родник под чинарой	212
Другая сторона медали	226
Холодные дни	243
Очередное условие	254
Перед тоем	267
Совпадение	277
Яблоки	283

Учкун Эгембердиевич Назаров

ВЕРНОСТЬ

М., «Советский писатель», 1987 г. 296 стр.

План выпуска 1987 г. № 350

Редактор *А. С. Поволоцкая*
Худож. редактор *А. С. Томилин*
Техн. редактор *С. А. Шереметьева*
Корректор *А. В. Муравьева*

ИБ № 5652

Сдано в набор 16.03.87. Подписано к печати 11.08.87. Формат 84 × 108¹/₃₂.
Бумага кн.-журн. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 15,54.
Уч.-изд. л. 16,22. Тираж 30 000 экз. Заказ № 894. Цена 1 р.
Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва,
ул. Воровского, 11

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград. П-136, Чкаловский пр., 15